

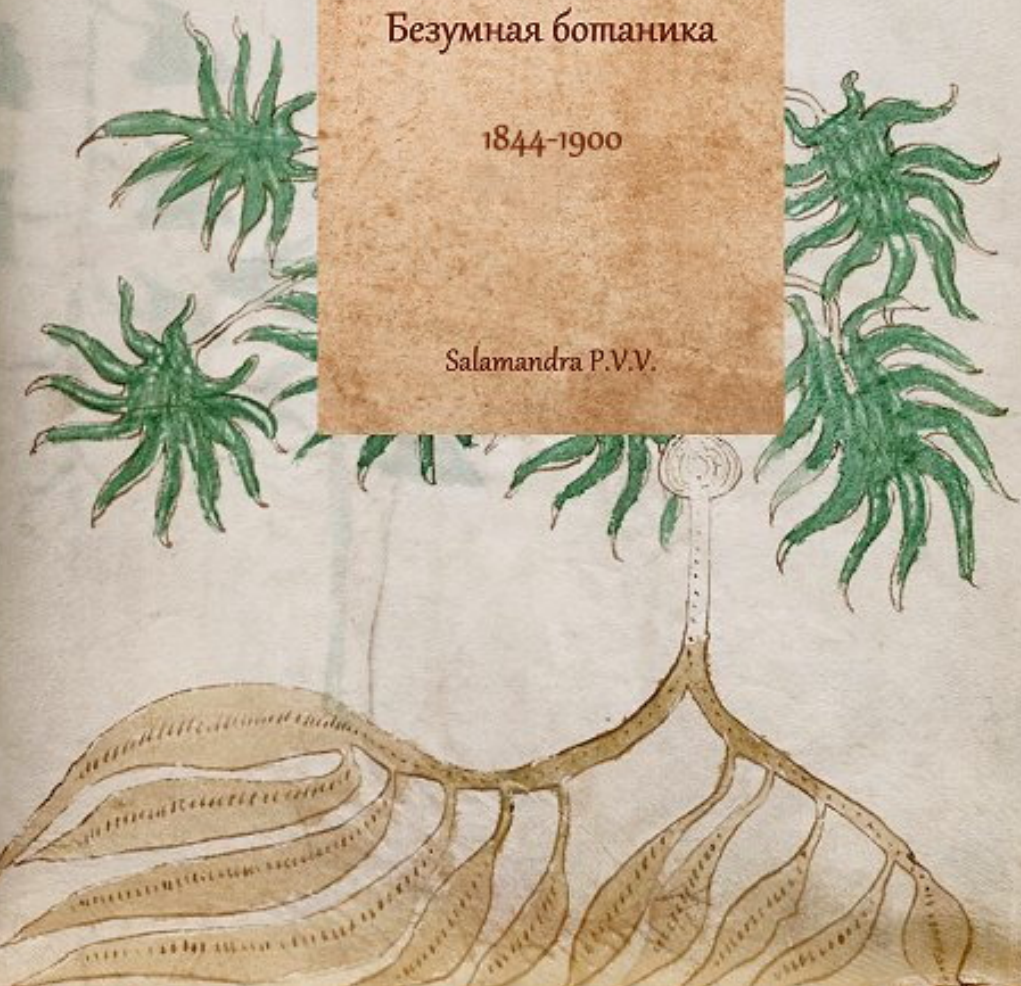
[illegible]

ЦВЕТЫ ЗЛА

Безумная ботаника

1844-1900

Salamandra P.V.V.



POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CDXXI



Salamandra P.V.V.

ЦВЕТЫ ЗЛА

Безумная ботаника

1844-1900

Salamandra P.V.V.

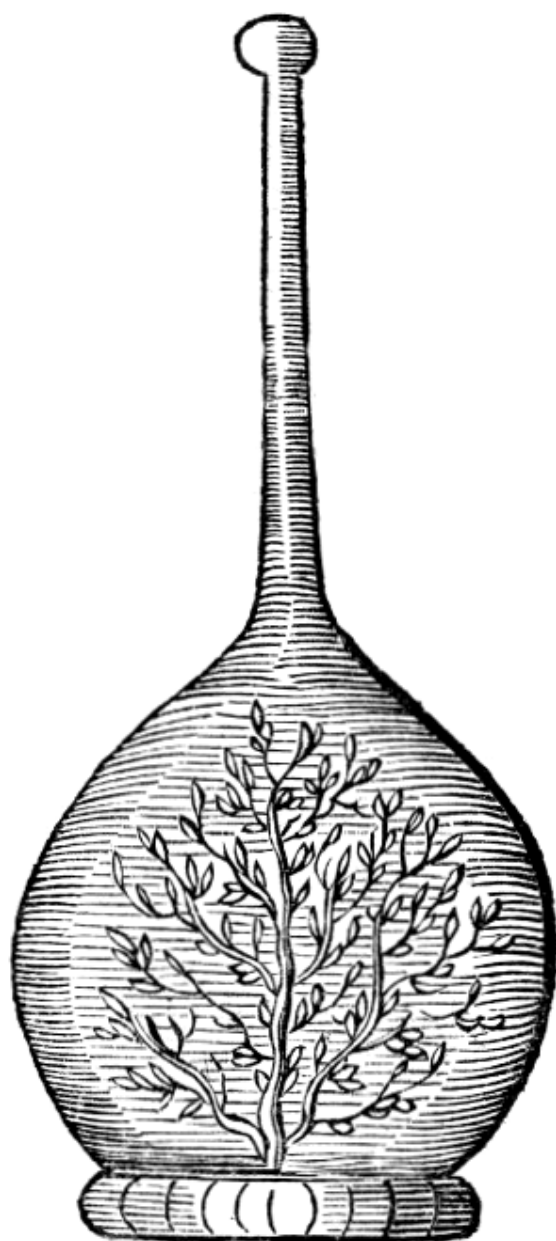
Цветы зла: Безумная ботаника. 1844-1900. Сост. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2023. — 300 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CDXXI).

Деревья-людоеды и деревья-воздушные шары, кровососы с ветками-щупальцами и мистические цветы — таковы «герои» настоящей антологии, посвященной теме растений в фантастической и научно-фантастической литературе. В книгу включены также некоторые примеры литературных растений «натуралистического» и «декадентского» толка.

© Translators, переводы, 2023

© A. Sherman, состав, комментарии, 2023

© Salamandra P.V.V., оформление, 2023



ЦВЕТЫ ЗЛА

Натаниэль Тотори

Догъ Рапагини

Много лет тому назад молодой человек по имени Джованни Гуасконти, уроженец юга Италии, прибыл в Падую, чтобы завершить свое образование в тамошнем университете. Имея в кармане лишь несколько золотых дукатов, он поселился в высокой, мрачной комнате старинного здания, которое вполне могло принадлежать какому-нибудь падуанскому дворянину, да и на самом деле украшено было над входом гербом давно уже угасшего рода. Молодой человек, хорошо знавший великую поэму своей родины, вспомнил, что один из предков этого рода, возможно даже один из владельцев дворца, был изображен Данте терпящим вечные муки в аду среди других грешников. Это воспоминание, усугубленное печалью, вполне естественной в человеке, впервые покинувшем родные места, исторгло из его груди, когда он осматривал эту запущенную, пустую комнату, невольный вздох.

— Святая мадонна, синьор! — воскликнула покоренная редкой красотой юноши старая Лизабетта, пытавшаяся по доброте сердечной придать комнате жилой вид. — Вам ли, такому молодому, вздыхать столь тяжко? Неужели этот старый дом кажется вам таким мрачным? Взгляните, ради бога, в окно, и вы увидите то же яркое солнце, какое оставили в Неаполе.

Гуасконти машинально последовал ее совету, но не нашел солнце Ломбардии таким же радостным, как солнце юга Италии. Впрочем, каким бы оно ни было, сейчас его животворные лучи ярко освещали раскинувшийся за домом сад с множеством растений, за которыми, по-видимому, ухаживали с особой тщательностью.

— Этот сад принадлежит хозяину вашего дома? — спросил Джованни.

— Упаси бог, синьор! Вот если бы в нем росло что другое, а не зелья, которые там разводят, — тогда иное дело, — ответила старая Лизабетта. — Сад возделан собственными руками знаменитого доктора Рапачини, о котором, я уверена, слыхали даже в Неаполе. Говорят, что сок этих растений он перегоняет в лекарства, обладающие той же чудодейственной силой, что и амулеты. Вы сможете часто видеть синьора доктора за работой в саду, а возможно — и синьору, его

дочь, когда она собирает диковинные цветы, которые там растут.

Сделав все возможное, чтобы придать комнате пристойный вид, старуха удалилась, поручив молодого человека покровительству всех святых.

Джованни, не зная, чем бы заняться, вернулся к окну, выходившему в сад доктора. Это был один из тех ботанических садов, которые возникли в Падуе значительно раньше, чем где бы то ни было в Италии, а возможно — и во всем мире. Вероятно, когда-то он служил местом отдыха богатой семьи, ибо в центре его находился мраморный фонтан, скульптурные украшения которого, некогда выполненные с редким искусством, подверглись столь сильному разрушению, что в хаосе обломков невозможно было установить его первоначальный вид. Струи воды, однако, по-прежнему взлетали к небу, весело переливаясь в ярких лучах солнца. Их нежное журчание доносилось до окна комнаты, и молодому человеку чудился в нем голос бессмертного духа, который поет свою бесконечную песнь, равнодушный к свершающимся вокруг него переменам, в то время как одно столетие заключает его в мрамор, а другое превращает эти тленные украшения в груды обломков.

Бассейн, куда изливалась вода, окружали растения, нуждавшиеся, по-видимому, в обильной влаге, чтобы напоить свои гигантские листья, а иногда и цветы необыкновенно яркой окраски и пышности. Особенно замечателен был куст, росший в мраморной вазе, помещенной посередине бассейна; обсыпанный пурпурными цветами, каждый из которых горел и переливался подобно драгоценному камню, он, казалось, зайдя солнце, один способен был осветить весь сад. Каждый клочок земли был покрыт здесь различными растениями и целебными травами, и хотя они не были столь прекрасны, как тот куст, все же видно было, что и за ними тщательно ухаживают, как будто все они обладают особыми свойствами, хорошо известными ученому, лелеявшему их. Одни росли в вазах, украшенных старинными орнаментами, другие — в простых глиняных горшках, третьи, подобно змеям, стелились по земле или взбирались вверх, обвивая все, что

попадалось им на пути. Одно из растений, обвившись вокруг статуи Вертумна, одело ее в зеленый наряд, так искусно драпированный, что он мог бы служить моделью для скульптора.

Чуть заметное колебание зеленой стены и доносившийся оттуда шорох подсказали Джованни, что в саду кто-то работает. Вскоре из-за стены показалась фигура человека, совсем не похожего на обычного садовника. Это был высокий худощавый мужчина болезненного вида, в черном одеянии ученого. Его седые волосы и редкая седая борода говорили о том, что он оставил позади среднюю полосу жизни; а отмеченное печатью ума и долгих размышлений лицо, казалось, даже в юные годы неспособно было выражать сердечность и теплоту.

Ученый садовник с необыкновенным вниманием рассматривал каждый встречавшийся на его пути куст, словно желая проникнуть в сокровенные тайны его природы, понять, почему один лист имеет такую форму, а другой — иную, а цветы отличаются друг от друга окраской и ароматом. Однако, несмотря на необыкновенное внимание, проявляемое ученым к растениям, между ним и ими не возникало близости. Наоборот, он старательно избегал прикасаться к ним или вдыхать их аромат. Его осторожность неприятно поразила Джованни, ибо незнакомец вел себя так, как будто находился среди враждебных ему существ диких зверей, ядовитых змей или злых духов, которые, предоставь он им возможность, причинили бы ему непоправимое зло. Юноше показалось странной и отталкивающей эта боязливость в человеке, занимающемся садоводством занятием простым и невинным, приносящим радости, подобные тем, которые испытывали прародители рода человеческого до своего падения. Уж не был ли этот сад современным Эдемом, а человек, так остро ощущавший зло в растениях, выращенных его собственными руками, — современным Адамом?

Руки недоверчивого садовника, обрывавшего мертвые листья или подрезавшего чересчур разросшиеся кусты, были защищены толстыми перчатками. Но они не были его единственными доспехами. Подойдя к великолепному кусту, ро-

нявшему пурпурные цветы на мрамор бассейна, незнакомец прикрыл рот и ноздри подобием маски, как будто в этом прекрасном растении таилась смертельная угроза. И все же, найдя свою задачу слишком опасной, он отпрянул от куста, снял маску и голосом громким, но дрожащим, как у человека, пораженного скрытым недугом, позвал: «Беатриче, Беатриче!»

— Я здесь, отец, что вам угодно? — ответил молодой голос из окна противоположного дома. Джованни и сам не понимал, почему звуки этого голоса вызвали в нем представление о тропических закатах, о темно-малиновых и пурпурных оттенках цветов, о тяжелых пряных ароматах.

— Вы в саду?

— Да, Беатриче, — отвечал садовник, — и мне нужна твоя помощь.

Вслед за тем в украшенном скульптурами портале показалась фигура молодой девушки в одежде, не уступающей в великолепии самому роскошному из цветов сада, прекрасной как день, с таким ярким и вместе нежным румянцем, что еще одна капля его, и он бы показался чрезмерным. Вся она дышала здоровьем, энергией и радостью жизни. Но, верно, пока Джованни рассматривал сад, им овладела болезненная подозрительность, ибо прелестная незнакомка показала ему сестрой этих растений, еще одним цветком этого сада, только принявшим человеческий облик, таким же прекрасным — нет, даже более прекрасным, чем самый роскошный из них, но цветком, приблизиться к которому можно было лишь с маской на лице, а прикоснуться — лишь рукой в перчатке. Молодой человек заметил, что, проходя по саду, Беатриче вдыхала аромат тех самых растений, прикосновения которых ее отец так старательно избегал.

— Посмотри, Беатриче, — сказал ученый, — как много ухода требует самое драгоценное наше сокровище. А между тем, я так слаб, что если неосторожно приближусь к нему, могу поплатиться жизнью. Боюсь, что впредь оно должно быть полностью представлено твоему попечению.

— Я с радостью возьму это на себя, — воскликнула молодая девушка своим грудным голосом, наклоняясь к вели-

колепному растению, как будто желая заключить его в свои объятия. — Да, моя сестра, мое сокровище, теперь Беатриче будет лелеять и охранять тебя, а ты наградишь ее своими поцелуями и ароматным дыханием, которое для нее подобно жизни.

Затем с такою же нежностью в движениях, какая звучала в ее словах, она занялась растением. Наблюдавший эту сцену Джованни протирал глаза, не в состоянии решить, девушка ли ухаживала за цветами или старшая сестра любовно склонялась над младшей. Но внезапно сцена оборвалась. Окончил ли доктор Рапачини свою работу в саду или его внимательный взгляд обнаружил незнакомого юношу, но он, взяв дочь за руку, удалился. Надвигалась ночь. Растения издавали удушающий аромат, который поднимался к тому окну, где жил юноша. Закрыв его, Джованни опустил на ложе и всю ночь грезил о великолепном цветке и прекрасной девушке. В его грезах цветов и девушка то сливались в единое целое, то становились отличными друг от друга существами, одинаково таящими в себе опасность.

Утренний свет обладает способностью исправлять ошибочные представления, которые поселились в нашей фантазии, и даже неверные суждения наши, возникшие под влиянием сгущающихся сумерек, ночной тени или менее здорового, чем солнечное, сияния луны. Проснувшись на другое утро, Джованни поспешил прежде всего распахнуть окно и взглянуть на сад, представлявшийся таким таинственным в его сновидениях. Он был несколько удивлен и даже смущен при виде обыкновенного сада, освещенного утренними лучами солнца, которые золотили росинки на листьях и лепестках и придавали особое очарование всем редкостным цветам, — но во всем этом не было ничего, что бы выходило за пределы обыденных явлений. Молодой человек обрадовался тому, что, живя в самом центре одетого в камень города, он вместе с тем имеет возможность любоваться клочком земли с такой пышной и ласкающей глаз растительностью. «Этот сад, — сказал он самому себе, — даст мне возможность сохранить общение с природой». Впрочем, в саду не было видно ни истощенного раздумьями болезненного доктора Джако-

мо Рапачини, ни его прекрасной дочери, и Джованни не мог определить, была ли та таинственность, которая окружала эти существа, свойством их собственной натуры или плодом его разыгравшегося воображения. По зрелом размышлении он решил, что в них не было ничего необычного или сверхъестественного.

Днем он отправился засвидетельствовать свое почтение синьору Пьетро Бальони, профессору медицины в Падуанском университете, известному ученому, к которому имел рекомендательное письмо. Профессор оказался человеком преклонного возраста, обладавшим общительным и даже веселым характером. Он пригласил молодого человека к обеду, за которым показал себя весьма приятным собеседником, очаровав Джованни непринужденностью и легкостью разговора, особенно оживившегося после бутылки-другой тосканского вина. Джованни, полагая, что ученые, живущие в одном городе, должны хорошо знать друг друга, воспользовался удобной минутой, чтобы упомянуть о докторе Рапачини. Однако профессор ответил ему без той сердечности, которой можно было от него ожидать.

— Не подобает служителю божественного искусства медицины, — ответил профессор Пьетро Бальони на вопрос Джованни, — отказывать в заслуженной похвале такому выдающемуся ученому, как доктор Рапачини, но вместе с тем я бы погрешил против своей совести, если бы позволил столь достойному юноше, как вы, синьор Джованни, сыну моего старинного друга, проникнуться ложными представлениями о человеке, который, может случиться, будет держать в своих руках вашу жизнь и смерть. Действительно, наш высокочтимый доктор Рапачини, за исключением, пожалуй, одного только человека, обладает большей ученостью, чем все профессора нашего факультета в Падуе или даже во всей Италии. Но характер его деятельности вызывает серьезные возражения.

— Какие же? — спросил молодой человек.

— Уж не страдает ли мой друг Джованни каким-либо телесным или сердечным недугом, что проявляет такое любопытство по отношению к врачам? — спросил, улыбаясь, про-

фессор. — Что касается Рапачини, то утверждают, и я, хорошо знающий этого человека, отвечаю за справедливость этого утверждения, что для него наука важнее всего человечества. Пациенты интересуют его лишь как объекты для все новых и новых опытов. Он не колеблясь пожертвует человеческой жизнью, включая свою собственную и жизнь самого дорогого ему существа, ради того, чтобы прибавить еще хоть одну крупницу к груде приобретенных ранее знаний.

— Поистине, он страшный человек! — воскликнул Джованни, припомнив холодное, испытующее выражение лица Рапачини. — А вместе с тем, достопочтенный профессор, не свидетельствует ли все это о благородстве его души? Многие ли способны на такую возвышенную любовь к науке?

— Избави нас боже от них! — ответил профессор несколько раздраженно. — По крайней мере, до тех пор, пока они не станут придерживаться более здравых взглядов на искусство исцеления, чем те, которым следует Рапачини. Его теория состоит в том, что все лечебные свойства заключены в субстанциях, которые мы именуем растительными ядами. Именно их он и выращивает своими собственными руками и, как говорят, вывел новые виды ядов, во много раз опаснее тех, которыми природа и без помощи этого ученого мужа так досаждала человечеству. Нельзя отрицать, однако, что синьор доктор приносит своими смертоносными ядами значительно меньше вреда, чем можно было от него ожидать. Были случаи, когда он совершил, или казалось, что совершил, чудесные исцеления. Но мое личное мнение, синьор Джованни, состоит в том, что не следует приписывать его заслугам то, что вероятнее всего было лишь делом случая. Что же касается неудач, то они должны быть поставлены ему в вину, ибо, безусловно, являются результатом его собственных действий.

Молодой человек принял бы слова Пьетро Бальони с некоторой долей скептицизма, знай он, что между ним и доктором Рапачини существовало многолетнее соперничество на научном поприще, причем, как все считали, преимущество было на стороне последнего. Желающих лично в этом удостовериться мы отсылаем к старопечатным трактатам обоих

ученых, до сих пор хранящимся в библиотеке медицинского факультета Падуанского университета.

— Мне трудно судить, глубокоуважаемый профессор, — промолвил Джованни спустя несколько минут, в течение которых он размышлял об услышанном, — насколько велика любовь доктора Рапачини к науке, но, несомненно, у него есть предмет, который он любит еще больше. Это его дочь.

— Вот как! — воскликнул, смеясь, профессор. — Наконец-то мой друг Джованни выдал свой секрет! И до вас дошли слухи о его дочери, по которой сходят с ума все молодые люди Падуи, хотя едва ли среди них найдется и полдюжины тех, кому посчастливилось ее видеть. Я почти ничего не знаю о синьоре Беатриче, за исключением разве того, что, как говорят, Рапачини посвятил эту молодую и прекрасную девушку во все тайны своей науки, и она так овладела ею, что способна занять профессорскую кафедру. Возможно, ее отец мечтает, чтобы она заняла мою. Все прочие слухи настолько нелепы, что к ним не стоит ни прислушиваться, ни повторять их. А потому, синьор Джованни, допейте-ка свой стакан лак-рима кристи.

Джованни отправился домой, несколько разгоряченный выпитым вином, воскресившим в его мозгу странные фантазии, связанные с доктором Рапачини и прекрасной Беатриче. По пути, проходя мимо цветочной лавки, он купил букет свежих цветов.

Поднявшись в свою комнату, он тотчас же занял место у открытого окна в тени, отбрасываемой стеной, чтобы иметь возможность наблюдать за садом без риска быть замеченным. Внизу не было ни души. Удивительные растения купались в лучах солнца, время от времени нежно кивая друг другу, как будто это были друзья или родственники. В середине, у полуразрушенного фонтана, возвышался великолепный куст, пурпурные цветы которого, похожие на драгоценные камни, пламенели в лучах солнца и, отражаясь в воде бассейна, наполняли его алым сиянием, которое, казалось, пронизывало воду до самого дна. Сначала, как мы уже сказали, в саду не было ни души. Но вскоре, чего Джованни наполовину боялся, а наполовину трепетно ждал, из портала,

украшенного античной скульптурой, вышла молодая девушка. Проходя по дорожке сада между рядами растений, она вдыхала их разнообразные ароматы, подобно одному из тех созданий древней мифологии, которые питались одним лишь запахом цветов. Увидев вновь Беатриче, молодой человек был поражен, насколько ее красота превосходила его первое впечатление. Девушка блистала красотой столь ослепительной, столь яркой, что блеск ее не затмевался даже солнцем, и Джованни казалось, что покрытые тенью части дорожки светлели при ее приближении. Теперь, когда он смог лучше разглядеть ее лицо, оно удивило его своим выражением детской наивности и простодушием — качествами, которые, по его мнению, никак не могли соответствовать ее образу, каким он его себе представлял; это заставило его еще раз задать себе вопрос: к какому роду смертных существ принадлежит эта девушка? И на сей раз он заметил, или вообразил, необыкновенное сходство между прелестной девушкой и великолепным кустом, сходство, которое Беатриче, казалось, доставляло удовольствие подчеркивать цветом и покроем своего платья.

Подойдя к кусту, она со страстной горячностью обняла его и спрятала на его зеленой груди лицо, смешав сверкающие локоны с пурпурными цветами.

— Напой меня своим дыханием, сестра моя! — воскликнула Беатриче. — Я задыхаюсь от обыкновенного воздуха. И подари мне этот цветок, который я бережно срываю со стебля и помещаю у самого своего сердца.

С этими словами прекрасная дочь Рапачини сорвала один из самых роскошных цветков, росших на кусте, и готова уже была прикрепить его к своему корсажу. Но тут случилось странное происшествие, если только и оно не было плодом фантазии Джованни, одурманенного несколькими бокалами тосканского вина. Маленькое оранжевое пресмыкающееся — ящерица или хамелеон, — проползавшее по тропинке, в эту минуту случайно приблизилось к Беатриче. И Джованни показалось — впрочем, отделявшее его расстояние не позволяло рассмотреть такие мелкие подробности, — Джованни показалось, что капля из сломанного стебля упала на го-

лову ящерице, в то же мгновение забившейся в сильных конвульсиях. Секунду спустя маленькое пресмыкающееся лежало бездыханным на освещенной солнцем тропинке. Беатриче, заметившая это странное явление, печально перекрестилась, но не выказала никакого удивления. Оно не помешало ей приколоть злополучный цветок к своему корсажу. Здесь он алел и переливался, словно драгоценный камень, внося последнюю и единственно необходимую черту, доводящую до совершенства прелесть ее лица и платья. Джованни, наклонившись вперед, показался было из тени, но снова отпрянул назад, задрожал и промолвил:

— Не сплю ли я? Вполне ли я владею своими чувствами? Кто это существо? Прекрасная женщина или чудовище?

Беатриче, беззаботно гулявшая по саду, подошла так близко к окну Джованни, что он не мог удержаться и вышел из своего укрытия, чтобы удовлетворить то мучительное и болезненное любопытство, которое она в нем пробуждала. В эту минуту красивая бабочка перелетела через стену в сад; она вероятно, долго порхала по городу, не находя ни цветов, ни зелени среди старинных каменных домов, пока тяжелый аромат растений доктора Рапачини не привлек ее в сад. Прежде чем опуститься на цветы, крылатое существо, видимо, привлеченное красотой Беатриче, стало медленно кружиться над ее головой. И тут, вероятно, зрение обмануло Джованни, ибо ему показалось, что в то время, как Беатриче с детской радостью следила за насекомым, оно все больше и больше теряло силы, пока наконец не упало к ее ногам. Его яркие крылышки затрепетали — бабочка была мертва! Джованни не мог установить никакой видимой причины ее смерти, кроме разве дыхания самой Беатриче, которая опять перекрестилась и с тяжелым вздохом наклонилась над мертвым насекомым.

Невольное движение Джованни привлекло ее внимание к окну. Она подняла глаза и увидела сверкающую золотом волос голову юноши, безупречная красота которого скорее напоминала древнего грека, нежели итальянца. Джованни, едва сознавая, что он делает, бросил к ее ногам букет цветов.

— Синьора, — сказал он, — эти цветы чисты и безвредны. Примите их как знак уважения к вам Джованни Гуасконти.

— Благодарю вас, синьор, — ответила Беатриче голосом, прозвучавшим, как музыка, с лукавым кокетством полуребенка-полуженщины. — Я с радостью принимаю ваш дар и хотела бы предложить вам взамен этот пурпурный цветок, но боюсь, что не смогу добросить его до вашего окна. Поэтому синьору Гуасконти придется удовольствоваться моей благодарностью.

Она подняла букет, упавший в траву, а затем, как бы удивившись, что, забыв девичью скромность, ответила на любезность незнакомца, быстрыми шагами направилась к дому. Хотя все это свершилось в несколько мгновений, Джованни показалось, что, когда молодая девушка подошла к дверям дома, цветы в ее руках уже увяли. Конечно, это была нелепая мысль, ибо кто может на таком расстоянии отличить увядший цветок от свежего?

В течение нескольких дней после этого Джованни избегал подходить к окну, выходящему в сад доктора Рапачини, как будто бы ожидая в нем увидеть нечто уродливое и страшное. Юноша почувствовал, что, заговорив с Беатриче, он в некотором роде отдал себя во власть какой-то таинственной силы. Самым благоразумным было бы, зная об опасности, грозившей его сердцу, тотчас же покинуть этот дом и даже Падую; менее благоразумным — постараться видеть Беатриче каждый день, чтобы приучить себя, насколько возможно, к ее облику, возвращая его тем самым жестоко и систематически в границы обычного. И, наконец, самым неблагоразумным (а именно так и поступил Джованни) — оставаясь вблизи девушки, избегать встреч с нею и вместе с тем постоянно занимать ею свое воображение, давая ему все новую пищу для фантастических и беспорядочных образов. Глубиной чувства Гуасконти не отличался или, по крайней мере, глубина эта была еще не изведена, но у него было живое воображение и горячий южный темперамент, и от этого лихорадка в его крови усиливалась с каждой минутой. Обладала ли Беатриче ужасными свойствами, которые наблюдал Джованни, — смертоносным дыханием и таинственным средством

с прекрасными, но губительными цветами, — так или иначе, она отравила все его существо неуловимым, но жестоким ядом. Это была не любовь, хотя необыкновенная красота девушки сводила Джованни с ума; не ужас, хотя он и подозревал, что ее душа наполнена такой же губительной отравой, как и ее тело. Это было чадо любви и ужаса, сохранившее в себе свойства каждого из родителей, и сжигавшее, подобно огню, и заставлявшее содрогаться. Джованни не знал, чего ему бояться, и еще меньше — на что ему надеяться; в его душе надежда и страх вели нескончаемую борьбу, попеременно одерживая победу друг над другом. Благословенны простые чувства, будь они мрачными или светлыми! Но смешение их в нашей душе сжигает ее адским огнем.

Иногда, чтобы приглушить лихорадку в крови, он принимал длинные прогулки по улицам Падуи или ее окрестностям. Но, так как шагал он в такт ударам своего сердца, его прогулки зачастую превращались в стремительный бег. Однажды, схваченный за руку каким-то дородным человеком, он вынужден был остановиться: толстяк, проходя мимо, узнал юношу и, бросившись за ним, чуть не задохнулся, пытаясь догнать его.

— Синьор Джованни! Мой юный друг! Остановитесь! — закричал он. — Разве вы не узнаете меня? Право, я бы не удивился этому, если бы изменился так же сильно, как и вы!

Это был Пьетро Бальони, встреч с которым Джованни старательно избегал, опасаясь, что проницательный профессор проникнет в его тайну. Молодой человек, с трудом придя в себя, ответил, словно пробудившись от сна:

— Да, я действительно Джованни, а вы профессор Пьетро Бальони. А теперь позвольте мне удалиться!

— Одну минуту, синьор Джованни Гуасконтти, одну минутку, — промолвил профессор, улыбаясь, но в то же время пытливо разглядывая юношу. — Неужели я, друг детства и юности вашего отца, допущу, чтобы сын его прошел мимо меня как чужой человек на этих старых улицах Падуи? Задержитесь еще немного, синьор Джованни, мне нужно с вами поговорить, прежде чем мы расстанемся.

— Тогда поторопитесь, почтенный профессор, по-

торопитесь! — с лихорадочным нетерпением ответил Джованни. — Разве вы не видите, что я спешу?

Пока он говорил, на улице появился человек в черном — хилый, согбенный, с трудом передвигавший ноги. Его лицо, покрытое мертвенной бледностью, вместе с тем поражало такой силой ума, что видевшие его забывали о физических недостатках этого человека, пораженные энергией его духа. Проходя мимо, он холодно ответил на поклон профессора Бальони, устремив на Джованни настойчивый взгляд, казалось, проникший в самую глубину существа юноши. Однако в этом взгляде было странное спокойствие, как будто юноша вызывал в нем не человеческий, а чисто научный интерес.

— Это доктор Рапачини, — прошептал профессор, когда незнакомец удалился. — Видел ли он вас когда-либо прежде?

— Не знаю, — ответил Джованни, вздрогнув при этом имени.

— Он видел вас, он определенно видел вас прежде, — с живостью возразил Бальони. — Не знаю, для какой цели, но этот ученый сделал вас предметом своего изучения. Мне знаком этот взгляд! Это тот же холодный взгляд, с каким он рассматривает птичку, мышь или бабочку, убитых ради очередного эксперимента запахом его цветов; взгляд такой же глубокий, как сама природа, но лишенный ее теплоты. Готов поклясться жизнью, синьор Джованни, что вы стали предметом одного из опытов доктора Рапачини!

— Не делайте из меня дурака! — вскричал вне себя Джованни. — Это шутка, недостойная вас, синьор профессор.

— Спокойствие, спокойствие! — ответил невозмутимый Бальони. — Я повторяю, мой бедный Джованни, что для Рапачини ты представляешь научный интерес! Ты попал в страшные руки. А синьора Беатриче? Какую роль она играет в этой тайне?

Найдя настойчивость Бальони невыносимой, Гуасконтти вырвался из его рук и исчез прежде, чем тот смог опомниться. Бальони проводил взглядом молодого человека и, покачивая головой, пробормотал: «Я этого не допущу. Юно-

ша — сын моего старого друга, и с ним не должно случиться никакой беды, если ее может отвратить от него искусство медицины. Кроме того, со стороны доктора Рапачини непростительная дерзость — вырвать юношу из моих рук, если так можно выразиться, и использовать его для своих адских опытов. А его дочь? Я должен в это вмешаться! Кто знает, ученейший синьор Рапачини, не оставлю ли я вас с носом, когда вы меньше всего этого ожидаете?»

Между тем, сделав большой круг, Джованни очутился наконец у дверей своего дома. На пороге его встретила старая Лизабетта. Ухмыляясь и гримасничая, она пыталась привлечь к себе внимание молодого человека. Но тщетно, ибо возбуждение юноши сменилось холодным и глухим равнодушием. Он смотрел в упор на морщинистое лицо старухи, но, казалось, не замечал ее.

— Синьор, синьор, — прошептала старуха, схватив его за полу плаща. Лицо ее, сведенное подобием улыбки, походило на лица гротескных деревянных скульптур, потемневших от времени.

— Послушайте, синьор, в саду есть потайная дверь.

— Что ты говоришь? — воскликнул Джованни, очнувшись от своего оцепенения. — Потайная дверь в сад доктора Рапачини?

— Шш-шш, не так громко! — пробормотала Лизабетта, закрыв ему рот рукой. — Да, да, в сад distinguished доктора, где вы сможете любоваться прекрасными цветами. Многие молодые люди Падуи дорого бы заплатили за то, чтобы проникнуть туда.

Джованни сунул ей в руку золотую монету.

— Проведи меня в сад, — приказал он.

В уме его промелькнуло подозрение, вызванное, вероятно, последним разговором с Бальони, не было ли посредничество старой Лизабетты связано с тайными замыслами Рапачини, в которых Джованни предназначалась еще неизвестная ему роль. Эта мысль, хотя и беспокоившая юношу, была не в состоянии удержать его. Как только он узнал о возможности приблизиться к Беатриче, он понял, что именно этого жаждало все его существо. Для него было безраз-

лично, ангел она или демон. Он был безнадежно вовлечен в ее орбиту и должен был подчиниться силе, увлекавшей его по все сужающимся кругам к цели, которую он не пытался предугадать. Вместе с тем, как это ни странно, им вдруг овладело сомнение: не был ли страстный интерес к девушке лишь иллюзией и действительно ли его чувство было так глубоко, чтобы оправдать безрассудство, с каким он бросился навстречу опасности. Уж не было ли все это игрой юношеского воображения, ничего или почти ничего общего не имеющей с истинным чувством?

Он остановился, колеблясь, не повернуть ли назад... но пошел вперед. Старуха провела Джованни по множеству длинных темных коридоров и наконец подвела к двери. Приоткрыв ее, он услышал шорох листвы и увидел зелень деревьев, сквозь которую пробивались лучи солнца.

Джованни сделал шаг вперед и, с трудом раздвинув цепкие побеги растений, плотно обвивавших потайную дверь, очутился в саду доктора Рапачини, как раз под окном своей комнаты.

Как часто, когда невозможное становится возможным и туманные мечты сгущаются в осязаемую действительность, мы неожиданно для себя оказываемся спокойными и хладнокровными среди таких обстоятельств, одна мысль о которых заставила бы нас раньше от радости или страха дойти до безумия. Судьба наслаждается, играя с нами таким образом. Если ей заблагорассудится, страсть способна ворваться на сцену в самый неожиданный момент и, наоборот, неоправданно медлить с выходом как раз тогда, когда благоприятное стечение обстоятельств, казалось бы, должно было вызвать ее появление. Так было и с Джованни. Каждый раз от одной мысли, что он, как бы невероятно это ни было, может встретиться с Беатриче, оказаться с ней лицом к лицу в этом самом саду, греться в сиянии ее восточной красоты и, наконец, прочесть в ее взгляде разгадку тайны, от которой, считал он, зависела вся его жизнь, кровь начинала лихорадочно стучать в его жилах. Сейчас же в его душе царило необыкновенное и не подходящее к случаю спокойствие. Бросив взгляд вокруг себя и не обнаружив ни Беатриче, ни ее

отца, он принялся внимательно разглядывать растения.

Рассматривал ли он каждое из них в отдельности или все вместе, их вид производил на него одинаково отталкивающее впечатление, а их великолепие казалось ему неистовым, чрезмерным и даже неестественным. В саду почти не было куста, который, попадись он одинокому путнику в лесу, не заставил бы его вздрогнуть и изумиться, что такое растение могло встретиться рядом с обыкновенными деревьями, как будто из чащи глянуло на него какое-то неземное существо. Другие оскорбили бы впечатлительную душу своей искусственностью, верным знаком того, что она являлась противоестественным скрещением различных пород и своим появлением обязана не Богу, а извращенной фантазии человека, кощунственно издевающегося над красотой. Они, вероятно, являлись результатом опыта, в котором удалось, соединив растения сами по себе прелестные, создать нечто чудовищное, обладающее загадочными и зловещими свойствами, как и все, что росло в этом саду. Среди всех растений Джованни нашел только два или три знакомых ему, и те, как он знал, были ядовитыми. В то время, как он рассматривал сад, послышался шелест шелкового платья, и, обернувшись, Джованни увидел Беатриче, выходящую из-под сводов старинного портала. Джованни еще не решил, как следует поступить: извиниться ли перед девушкой за непрошеное вторжение в сад, или же сделать вид, что он находится здесь с ведома, если не по желанию, самого доктора Рапачини или его дочери. Но поведение Беатриче позволило ему обрести непринужденный вид, хотя и не избавило от сомнений, — кому он был обязан удовольствием ее видеть. Заметив его у фонтана, она пошла ему навстречу легкой походкой, и хотя на лице ее было написано удивление, его скоро сменило выражение доброты и искренней радости.

— Вы знаток цветов, синьор, — сказала Беатриче с улыбкой, намекая на букет, брошенный им из окна. — Неудивительно поэтому, что вид редкой коллекции растений моего отца побудил вас увидеть их поближе. Будь он здесь, он рассказал бы вам много странного и интересного о свойствах этих растений, изучению которых посвятил всю свою жизнь.

Этот сад — его вселенная.

— Но и вы не отстаёте от него, синьора, — заметил Джованни, — если верить молве, вы обладаете не менее глубокими познаниями о свойствах всех этих великолепных цветов и их пряных ароматов. Если бы вы согласились стать моей наставницей, я, без сомнения, достиг бы ещё больших успехов, чем под руководством самого доктора Рапачини.

— Как, неужели обо мне ходят такие нелепые слухи? — спросила Беатриче, заливаясь звонким смехом. — Меня считают такой же ученой, как мой отец? Какая глупая шутка! Нет, хотя я и выросла среди этих растений, я различаю только их цвет и запах. А иногда, мне кажется, я с удовольствием бы отказалась и от этих скудных знаний. Здесь множество цветов, но среди них есть такие, которые, несмотря на свою красоту, пугают и оскорбляют мой взгляд. Поэтому прошу вас, синьор, не придавайте веры всем рассказам о моей учености. Верьте только тому, что увидите собственными глазами.

— Должен ли я верить всему, что видел? — спросил Джованни, с явной нарочитостью намекая на некоторые сцены, свидетелем которых он был и одно воспоминание о которых заставило его вздрогнуть. — Нет, синьора, вы требуете от меня слишком мало. Прикажите мне верить лишь тому, что произносят ваши уста.

Казалось, Беатриче поняла его. Яркий румянец окрасил ее щеки, но, посмотрев прямо в глаза Джованни, она ответила на его подозрительный взгляд с величием королевы:

— Я приказываю вам это, синьор. Забудьте обо всем, что могли вы вообразить на мой счет. То, что представляется верным нашим чувствам, может оказаться ложным в самом своем существе. Слова же, произнесенные Беатриче Рапачини, — это голос ее сердца, и вы можете ему верить...

Страстная убежденность, прозвучавшая в ее словах, показала Джованни светом самой истины. Но пока она говорила, вокруг нее разлился пряный, упоительный аромат, который молодой человек, вследствие необъяснимого отвращения, не осмеливался вдохнуть. Возможно, это был аромат цветов. А впрочем, и дыхание Беатриче могло напоить арома-

том ее слова, словно они были пропитаны благоуханием ее души. У Джованни закружилась голова, но он тотчас же пришел в себя. Заглянув в ясные глаза прекрасной девушки, он, казалось, увидел в их прозрачной глубине ее душу и больше уже не испытывал ни страха, ни сомнений.

Яркий румянец гнева, окрасивший щеки Беатриче, исчез, она развеселилась. Детская радость, с которой она слушала юношу, напоминала удовольствие, какое могла бы испытывать девушка, живущая на необитаемом острове, от встречи с путешественником, прибывшим из цивилизованного мира. По-видимому, ее жизненный опыт ограничивался пределами ее сада. Она то говорила о предметах таких же простых и ясных, как дневной свет или летние облака, то засыпала Джованни множеством вопросов о Падуе, о его далекой родине, о друзьях, матери, сестрах — вопросов, в которых сквозила такая наивность и неведение жизни, что Джованни отвечал на них так, как отвечают ребенку. Душа ее изливалась перед ним, подобно прозрачному ручейку, который, пробившись из недр земли навстречу солнцу, с удивлением взирает на то, что в его водах отражаются земля и небо. Вместе с тем, из глубин ее существа поднимались мысли, как верные и глубокие, так и порождения фантазии, изумлявшие своим блеском. Можно было подумать, что вместе с пузырьками на поверхность прозрачного потока поднимаются сверкающие алмазы и рубины. Время от времени Джованни не мог удержаться от удивления, что он непринужденно разгуливает с существом, которое так завладело его воображением и которое он наделил столь ужасными и губительными свойствами; что он, Джованни, разговаривает с Беатриче как брат с сестрой и видит в ней столько человеческой доброты и девичьей скромности. Впрочем, эти мысли только мгновение проносились в его мозгу — очарование Беатриче полностью захватило и подчинило его себе.

Разговаривая, они медленно продвигались по саду и, обойдя несколько раз его аллеи, вышли к разрушенному фонтану, вблизи которого рос великолепный куст, покрытый целой россыпью пурпурных цветов. Вокруг него распространялся аромат, точно такой же, какой Джованни приписывал

дыханию Беатриче, но во много раз сильнее. Юноша заметил, что при взгляде на растение Беатриче прижала руку к сердцу, как если бы оно вдруг мучительно забилося.

— Впервые в жизни, — прошептала она, обращаясь к кусту, — я забыла о тебе.

— Синьора, — сказал Джованни, — я не забыл, что вы однажды обещали мне один из этих драгоценных цветков взамен букета, который я имел счастливую дерзость бросить к вашим ногам. Разрешите же мне сорвать один из них в память о нашем свидании.

Протянув руку, он сделал шаг по направлению к кусту, но Беатриче, бросившись вперед с криком, словно лезвие кинжала пронзившим его сердце, схватила его руку и отдернула ее со всей силой, на какую было способно это нежное существо. Джованни затрепетал от ее прикосновения.

— Не приближайся к нему! — воскликнула она голосом, в котором слышались тоска и боль. — Заклинаю тебя твоей жизнью, не тронь его! Оно обладает роковыми свойствами!

Вслед за тем, закрыв лицо руками, она бросилась прочь и исчезла в портале дома. Там Джованни, провожавший ее взглядом, заметил изможденную фигуру и бледное лицо доктора Рапачини, бог знает как долго наблюдавшего эту сцену.

Едва Джованни очутился в своей комнате, как его страстными мечтами снова завладел образ Беатриче, окруженный всеми таинственными чарами, которыми он наделил ее с первого мгновения знакомства с нею, но сейчас полный нежной теплоты и юной женственности. Это была женщина со всеми свойственными ей восхитительными качествами; она была достойна обожания и, со своей стороны, способна в любви на героические подвиги. Все признаки, которые считал он раньше доказательством роковых свойств ее духовной и телесной природы, были либо забыты, либо софистикой страсти превращены в драгоценные качества, делавшие Беатриче тем более достойной восхищения, что она была единственной в своем роде. Все, что раньше казалось ему чудовищным, теперь становилось прекрасным, а то, что неспособно было подвергнуться подобному превращению, ускользнуло и смешалось с толпой бесформенных полумыс-

лей, населяющих сумрачную область, скрытую от яркого света нашего сознания.

В этих размышлениях провел Джованни ночь и заснул, лишь когда заря пробудила цветы в саду доктора Рапачини, где витали мечты юноши. Яркие лучи полуденного солнца, коснувшись сомкнутых век Джованни, нарушили его сон. Джованни проснулся с ощущением жгучей, мучительной боли в руке — в той руке, которой коснулась Беатриче, когда он пытался сорвать драгоценный цветок. На тыльной стороне руки горело пурпурное пятно — отпечаток пяти нежных пальчиков.

О, как упорно любовь — или даже обманчивое подобие ее, возникающее лишь в воображении, но не имеющее корней в сердце, — как упорно любовь цепляется за веру до тех пор, пока не наступит мгновение, когда сама она исчезнет, как редющий туман. Обернув руку платком, Джованни решил, что его укусило какое-то насекомое, и, вернувшись к мечтам о Беатриче, забыл о боли.

За первым свиданием роковым образом последовало второе, затем третье, четвертое, и вскоре встречи с Беатриче сделались не случайными событиями в его жизни, а самой жизнью. Ими были поглощены все его мысли: ожидание свидания, а потом воспоминание о нем заполняли все его существование. То же происходило и с дочерью Рапачини. Едва завидев юношу, она бросалась к нему с такой непосредственной доверчивостью, как если бы они с детства были товарищами игр и продолжали оставаться ими и по сей день. Если же по какой-либо непредвиденной причине он не появлялся в условленное время, она становилась под его окном, и до его слуха долетали нежные звуки ее голоса, на которые эхом отзывалось его сердце:

«Джованни, Джованни, почему ты медлишь? Спустись вниз...» И он торопливо спускался в этот Эдем, наполненный ядовитыми цветами.

Несмотря на нежность и простоту их отношений, в поведении Беатриче было столько суровой сдержанности и достоинства, что Джованни и в голову не могла прийти мысль нарушить их какой-либо вольностью. Все говорило о том,

что они любили друг друга: любовь сквозила в их взглядах, безмолвно обменивавшихся сокровенными тайнами двух сердец, слишком священными, чтобы поведать их даже шепотом, любовь звучала в их речах, в их дыхании, в этих взрывах страсти, когда души их устремлялись наружу, подобно языкам вырвавшегося на свободу пламени, — но ни одного поцелуя, ни пожатия рук, ни одной нежной ласки, ничего, что любовь требует и освящает. Он ни разу не коснулся ее сверкающих локонов и даже одежды — так сильна была невидимая преграда между ними; никогда платье Беатриче, развеваемое ветерком, не коснулось Джованни. В те редкие мгновения, когда он, забывшись, пытался преступить эту грань, лицо Беатриче становилось таким печальным и строгим, на нем появлялось выражение такого горестного одиночества, что не нужны были слова, чтобы юноша опомнился. В эти мгновения темные подозрения, словно чудовища, выползали из пещер его сердца и дерзко смотрели ему в лицо. Любовь его слабела и рассеивалась, как утренний туман. И по мере того, как исчезала любовь, сомнения приобретали все большую и большую реальность. Но стоило лицу Беатриче проясниться после этой мгновенной, набежавшей на него тени, и она из таинственного, внушавшего тревогу существа, за которым он следил с отвращением и ужасом, вновь превращалась в прекрасную и наивную девушку, в которую он верил всей душой, что бы ни говорил ему рассудок.

Между тем, прошло уже достаточно времени с тех пор, как Джованни встретил Пьетро Бальони. Однажды утром молодой человек был неприятно удивлен посещением профессора, о котором он ни разу не вспомнил в течение этих недель и охотно бы забыл вовсе. Отдавшись всепоглощающей страсти, Джованни не выносил общества людей, за исключением тех, кто мог бы понять его и проявить сочувствие к состоянию его души. Ничего подобного, разумеется, не мог он ожидать от профессора Бальони.

После нескольких минут непринужденного разговора о событиях, происшедших в городе и университете, посетитель резко переменял тему.

— Недавно мне довелось, — сказал он, — прочесть у од-

ного из классиков древности историю, которая меня чрезвычайно заинтересовала. Возможно, вы даже ее помните. Это история об индийском принце, пославшем в дар Александру Македонскому прекрасную женщину. Она была свежа, как утренняя заря, и прекрасна, как закатное небо. Но что особенно отличало ее — это аромат ее дыхания, еще более упоительный, чем запах персидских роз. Александр, как и следовало ожидать от юного завоевателя, влюбился в нее с первого взгляда. Но ученый врач, находившийся случайно подле них, сумел разгадать роковую тайну прекрасной женщины.

— И что же это была за тайна? — спросил Джованни, старательно избегая пытливого взгляда профессора.

— Эта прекрасная женщина, — продолжал Бальони многозначительно, — со дня своего рождения питалась ядами, так что в конце концов они пропитали ее всю и она стала самым смертоносным существом на свете. Яд был ее стихией. Ее ароматное дыхание отравляло воздух, ее любовь была ядовитой, ее объятия несли смерть. Не правда ли, удивительная история?

— Сказка, пригодная разве для детей! — воскликнул Джованни, торопливо поднимаясь со своего места. — Я удивляюсь, как ваша милость находит время читать подобную чепуху.

— Однако, что это? — сказал профессор, с беспокойством озираясь вокруг. — Какими странными духами пропитан воздух вашей комнаты! Не запах ли это ваших перчаток? Он слабый, но восхитительный, и в то же время в нем есть что-то неприятное. Случись мне продолжительное время вдыхать этот аромат, я, кажется, заболел бы... Он напоминает запах какого-то цветка, но я не вижу цветов в вашей комнате.

— Их здесь нет, — ответил Джованни, лицо которого в то время, как говорил профессор, покрылось мертвенной бледностью, — как нет и запаха, который лишь почудился вашей милости. Обоняние — одно из тех чувств, которые зависят одинаково как от нашей физической, так и духовной сущности, и часто мы заблуждаемся, принимая мысли о запахе или воспоминание о нем за самый запах.

— Все это так, — промолвил Бальони, — но мой трезвый ум вряд ли способен сыграть со мной такую шутку. И уж ес-

ли бы мне почудился запах, то это был бы запах одного из зловонных аптекарских зелий, которые приготавливал я сегодня своими руками. Наш почтенный доктор Рапачини, как говорят, сообщает своим лекарствам аромат более тонкий, чем благовония Аравии. Без сомнения, прекрасная и ученая синьора Беатриче также готова была бы лечить своих пациентов лекарствами, благоухающими, как ее дыхание. Но горе тому, кто прикоснется к ним.

Пока он говорил, на лице Джованни отражались противоречивые чувства, боровшиеся в его душе. Тон, которым профессор говорил о чистой и прекрасной дочери Рапачини, был истинной пыткой для его души, но намек Бальони на скрытые стороны ее характера внезапно пробудил в нем тысячи неясных подозрений, которые вновь отчетливо встали перед его глазами, оскалась подобно дьяволам. Но он приложил все старания, чтобы подавить их и ответить Бальони так, как подобает преданному своей даме влюбленному:

— Синьор профессор, вы были другом моего отца и, быть может, хотите быть другом и его сыну. И мне бы хотелось сохранить к вам чувство любви и уважения. Но, как вы уже заметили, существует предмет, которого мы не должны касаться. Вы не знаете синьору Беатриче и потому не можете понять, какое зло — нет, святотатство! — совершают те, кто легкомысленно или оскорбительно отзывается о ней.

— Джованни! Мой бедный Джованни! — промолвил профессор голосом, полным сочувствия. — Я знаю эту несчастную девушку лучше, чем вы. Вы должны выслушать правду об этом отравителе Рапачини и его ядовитой дочери — да, столь же ядовитой, сколь и прекрасной. Слушайте же, и даже если вы станете оскорблять мои седины, это не заставит меня замолчать. Старинная история об индийской женщине стала действительностью благодаря глубоким и смертоносным познаниям Рапачини.

Джованни застонал и закрыл лицо руками.

— Отец Беатриче, — продолжал Бальони, — поправил естественные чувства любви к своему ребенку и, как это ни чудовищно, пожертвовал дочерью ради своей безумной страсти к науке. Надо отдать ему справедливость — он настоящий

ученый и настолько предан науке, что способен был бы и сердце свое поместить в реторту. Какая же участь ожидает вас? Нет сомнения — он избрал вас объектом своего нового опыта, результатом которого, быть может, будет смерть или нечто еще более страшное. Ради того, что он называет интересами науки, Рапачини не останавливается ни перед чем!

— Это сон... — простонал Джованни. — Только сон!

— Не падайте духом, сын моего друга! Еще не поздно спасти вас. Быть может, нам даже удастся вернуть несчастную девушку к естественной жизни, которой ее лишило безумие отца. Взгляните на этот серебряный флакон! Это работа прославленного Бенвенуто Челлини — он достоин быть даром возлюбленного самой прекрасной женщине Италии. Его содержимое бесценно. Одна капля этой жидкости была способна обезвредить самые быстродействующие и стойкие яды Борджа. Не сомневайтесь же в ее действии на яды Рапачини. Отдайте этот флакон с бесценной жидкостью Беатриче и с надеждой ждите результатов.

С этими словами Бальони положил на стол маленький флакончик удивительной работы и удалился, уверенный, что его слова произведут желаемое действие на ум молодого человека.

«Мы расстроим планы Рапачини, — думал он, спускаясь по лестнице и усмехаясь про себя. — Но будем беспристрастны! Рапачини — удивительный человек... поистине удивительный! Хоть и неизменный эмпирик и потому не может быть терпим теми, кто чтит добрые старые правила искусства медицины».

Как мы уже говорили, на протяжении своего знакомства с Беатриче Джованни иногда терзался мрачными подозрениями: та ли она, какой он ее видит? Но образ чистой, искренней и любящей девушки так утвердился в его сердце, что портрет, нарисованный профессором Бальони, казался ему странным и неверным, столь разительно он не совпадал с тем первоначальным образом Беатриче, который юноша создал в своем воображении. Правда, в его памяти шевелились неприятные воспоминания, связанные с первыми впечатлениями от прекрасной девушки. Он никак не мог вы-

теснить из памяти букет цветов, увядший в ее руках, бабочку, непонятно от чего погибшую в воздухе, напоенном лишь солнечным светом, если не считать дыхания Беатриче. Все эти роковые случайности затмил чистый образ девушки, они не имели более силы фактов и рассматривались Джованни как обманчивая игра фантазии, как бы ни свидетельствовали против этого его органы чувств. Существуют доказательства более верные и правдивые, чем наши ощущения. На них-то и опиралась вера юноши в Беатриче, хотя она и питалась скорее достоинствами самой Беатриче, нежели глубиной и благородством его чувства. Но по уходе профессора Джованни был не в состоянии удержаться на той высоте, на какую вознес его восторг первой любви. Он пал так низко, что решил себе черными подозрениями осквернить чистоту образа Беатриче. Не в силах отказаться от Беатриче, он стал не доверять ей! И вот он решил произвести опыт, который раз и навсегда смог бы дать ему доказательства того, что эти ужасные свойства существовали в ее природе, а следовательно, — и в ее душе, поскольку нельзя было предположить, что одно не связано с другим. Зрение могло обмануть его на большом расстоянии в случае с ящерицей, насекомым и букетом. Но если бы ему удалось, стоя рядом с Беатриче, заметить, что хотя бы один свежий и здоровый цветок увянет внезапно в ее руках, для сомнений не оставалось бы больше места. С этими мыслями он бросился в цветочную лавку и купил букет цветов, на лепестках которых еще дрожали алмазные капельки росы.

Наступил час его обычных свиданий с Беатриче. Прежде, чем спуститься в сад, он не удержался, чтобы не взглянуть на себя в зеркало. Тщеславие, вполне естественное в красивом молодом человеке, проявленное в такой критический момент, невольно свидетельствовало о некоторой черствости сердца и непостоянстве натуры. Увидев себя в зеркале, он нашел, что никогда еще черты лица его не казались столь привлекательными, глаза не сверкали подобным блеском, а щеки не были окрашены так ярко.

«По крайней мере, — подумал он, — ее яд еще не успел проникнуть в меня. Я не похож на цветок, который вянет

от ее прикосновения».

Он машинально взглянул на букет, который все это время держал в руках. Дрожь неизъяснимого ужаса пронзила все его существо, когда он увидел, что цветы, еще недавно свежие и яркие, блестящие капельками росы, сникли и стали увядать, как будто сорванные накануне. Бледный как мел, он застыл перед зеркалом, с ужасом уставясь на свое изображение, как если бы перед ним предстало чудовище. Вспомнив слова Бальони о странном аромате, наполнявшем комнату, который не мог быть не чем иным, как его собственным ядовитым дыханием, Джованни содрогнулся — содрогнулся от ужаса перед самим собою. Очнувшись от оцепенения, он увидел паука, усердно ткавшего свою паутину, затянувшую весь угол древнего карниза. Трудолюбивый ткач энергично и деловито сновал взад и вперед по искусно переплетенным нитям. Джованни приблизился к насекомому и, набрав побольше воздуха, выдохнул его на паука. Тот внезапно прекратил свою работу. Тонкие нити задрожали, сотрясаемые судорогами крохотного тельца. Джованни вторичнодохнул на него, послав более сильную струю воздуха, на этот раз отравленного и ядом его сердца. Он сам не знал, какие чувства бушуют в нем — злоба или только отчаяние. Паук судорожно дернул лапками и повис мертвым в собственной паутине.

— Проклят! Проклят! — со стоном вырвалось у Джованни. — Неужели ты уже сделался так ядовит, что твое дыхание смертельно даже для этого ядовитого существа?

В это мгновение из сада послышался мелодичный голос, полный нежности:

— Джованни, Джованни! Час нашей встречи наступил, а ты медлишь! Спустись вниз — я жду тебя.

— Да, — произнес вполголоса Джованни, — она единственное существо, которое мое дыхание неспособно убить. Хотел бы я, чтобы это было иначе.

Он поспешил вниз и спустя мгновение смотрел уже в ясные и любящие глаза Беатриче. Еще минуту назад его гнев и отчаяние были так велики, что, казалось, он не желал ничего другого, кроме возможности умертвить ее одним своим

взглядом. Но в ее присутствии он поддавался влияниям слишком сильным, чтобы от них можно было отделаться в одно мгновение. Это были воспоминания о ее нежности и доброте, которые наполняли его душу каким-то неземным покоем; воспоминания о святых и страстных порывах ее чувства, когда чистый родник любви забил из глубин ее сердца, воочию являя умственному взору Джованни всю свою хрустальную прозрачность, — воспоминания, которые, умей он их только ценить, показали бы ему, что все уродливые проявления тайны, окутывавшей девушку, были химерами и какая бы завеса зла ни окружала ее, Беатриче оставалась ангелом. И все же, хотя и неспособный на такую возвышенную веру, он невольно подчинялся магическому влиянию ее присутствия.

Бешенство Джованни утихло и уступило место глухому бесчувствию. Беатриче со свойственной ей душевной чуткостью сразу поняла, что их разделяет мрачная, непроходимая бездна. Они долго бродили по саду, грустные, молчаливые, и наконец подошли к фонтану, посреди которого рос великолепный куст с пурпурными цветами. Джованни испугался той чувственной радости и даже жадности, с какой он начал вдыхать его пряный аромат.

— Беатриче, — резко спросил он, — откуда появилось это растение?

— Его создал мой отец, — спокойно ответила она.

— Создал! Создал! — повторил Джованни. — Что ты хочешь этим сказать, Беатриче?

— Моему отцу известны многие тайны природы, — отвечала девушка. — В тот час, когда я появилась на свет, из земли родилось и это растение, произведение его искусства, дитя его ума, в то время как я — лишь его земное дитя. Не приближайся к нему! — воскликнула она с ужасом, заметив, что Джованни сделал движение к кусту. — Оно обладает свойствами, о которых ты даже не подозреваешь! Я же, дорогой Джованни, росла и расцветала вместе с ним и была вскормлена его дыханием. Это была моя сестра, и я любила ее как человека, ибо — неужели ты не заметил этого? — надо мной тяготеет рок!

Тут Джованни бросил на нее такой мрачный взгляд, что Беатриче, задрожав, умолкла. Но, веря в его нежность, она покраснела от того, что на мгновение позволила себе усомниться в нем, и продолжала:

— Моя участь — результат роковой любви моего отца к науке. Она отделила меня от общества мне подобных. До той поры, пока небо не послало мне тебя, любимый, о, как одинока была твоя Беатриче!

— Такой ли ужасной была эта участь? — спросил Джованни, устремив на нее пристальный взгляд.

— Только недавно я поняла, какой ужасной она была, — ответила она с нежностью. — До сей поры сердце мое было в оцепенении и потому спокойно.

Долго сдерживаемая ярость прорвалась сквозь мрачное молчание Джованни, подобно молнии, сверкнувшей на покрытом тучами небе.

— Проклятая богом, — вскричал он с ядовитым презрением, — найдя свое одиночество тягостным, ты отторгла меня от жизни и вовлекла в свой адский круг?

— Джованни... — только и смогла вымолвить Беатриче, устремив на него взгляд своих больших и ясных глаз. Она еще не осознала всего значения его слов, но тон, которым он произнес их, как громом поразил ее.

— Да, да, ядовитая гадина! — продолжал он вне себя от гнева. — Ты добила своего и заклеила меня проклятием. Ты влила яд в мои жилы, отравила мне кровь и сделала из меня такое же ненавистное, уродливое и смертоносное существо, как ты сама, отвратительное чудовище! А теперь, если наше дыхание одинаково смертельно для нас, как и для всех других, — соединим наши уста в поцелуе ненависти и умрем.

— Что со мной? — со стоном прошептала Беатриче. — Святая мадонна, сжался над моим разбитым сердцем!

— И ты еще молишься? — продолжал Джованни все с тем же дьявольским презрением. — Разве молитвы, срывающиеся с твоих уст, не отравляют воздух дыханием смерти? Что ж, хорошо, помолимся, пойдем в храм и опустим свои пальцы в чашу со святой водой у входа! Те, кто придет пос-

ле нас, падут мертвыми, как от чумы. Мы можем еще осе-
нить воздух крестным знамением, изображая рукой своей
священный символ, мы посеем вокруг себя смерть!

— Джованни, — ровным голосом произнесла Беатриче,
скорбь которой приглушила ее гнев. — Зачем соединяешь
ты меня и себя в этих ужасных проклятиях? Ты прав, я чудо-
вище, но ты? Что тебя держит здесь, почему, содрогнувшись
от ужаса при мысли о моей судьбе, не оставляешь ты этот
сад, чтобы смешаться с себе подобными и навсегда забыть,
что по земле ползает такое чудовище, как бедная Беатриче?

— И ты еще притворяешься, что ничего не знаешь? —
грозно спросил Джованни. — Взгляни — вот какой силой на-
градила меня чистая дочь Рапачини!

Рой мошек носился в воздухе в поисках пищи, обещан-
ной им ароматом цветов рокового сада. Они вились и вокруг
головы Джованни, по-видимому, привлеченные тем же арома-
том, какой влек их к кустам. Ондохнул на них и горько
улыбнулся Беатриче, увидев, что по меньшей мере дюжина
маленьких насекомых мертвыми упала на землю.

— Теперь я вижу, вижу! — воскликнула Беатриче. — Это
все плоды страшной науки моего отца. Я непричастна к это-
му, нет, нет! Я хотела только одного — любить тебя, мечтала
побыть с тобой хоть недолго, а потом отпустить тебя, сохра-
нив твой образ в сердце. Верь, мне Джованни, хотя тело мое
питалось ядами, душа — создание бога, и ее пища — любовь.
Мой отец соединил нас страшными узами. Презирай меня,
Джованни, растопчи, убей... Что мне смерть после твоих про-
клятий? Но не считай меня виновной! Даже ради вечного
блаженства не совершила бы я этого!

Гнев Джованни, излившись в словах, стих. Печально, но
без теплоты вспомнил он о том, как нежны были их столь
странные и своеобразные отношения. Они стояли друг против
друга в своем глубоком одиночестве, которое неспособна бы-
ла нарушить даже кипящая вокруг них жизнь. Отторгнутые
от человечества, не должны ли были они сблизиться? Если
они будут жестоки друг к другу, кто же проявит доброту к
ним? К тому же, думал Джованни, разве нет у него надеж-
ды вернуть девушку к естественной жизни и вести ее, эту спа-

сенную Беатриче, за собой! О, слабый, эгоистичный, недостойный человек! Как смел он мечтать о возможности земного союза и земного счастья с Беатриче, разрушив так жестоко ее чистую любовь? Нет, не это было ей суждено. С разбитым сердцем должна была она преступить границы этого мира, и только омыв свои раны в райском источнике, найти успокоение в бессмертии.

Но Джованни не знал этого.

— Дорогая Беатриче, — сказал он, приблизившись к девушке, которая отстранилась от него, как она это делала и раньше, но только движимая теперь другими побуждениями. — Дорогая Беатриче, судьба наша не так уж безнадежна. Взгляни сюда! В этом флаконе заключено, как уверил меня ученый доктор, противоядие, обладающее могущественной, почти божественной силой. Оно составлено из веществ, совершенно противоположных по своим свойствам тем, с помощью которых твой отец навлек столько горя на тебя и меня. Оно настояно на освященных травах. Выпьем его вместе и таким образом очистимся от зла.

— Дай мне его, — сказала Беатриче, протягивая руку к серебряному флакончику, который Джованни хранил на своей груди. И добавила странным тоном: — Я выпью его, но ты подожди последствий!

В то мгновение, когда она поднесла флакон Бальони к губам, в портале появилась фигура Рапачини, который медленно направился к мраморному фонтану. При взгляде на юношу и девушку на бледном лице его появилось торжествующее выражение, какое могло появиться на лице художника или скульптора, всю жизнь посвятившего созданию произведения искусства и наконец удовлетворенного достигнутым. Он остановился, его согбенная фигура выпрямилась от сознания своего могущества, он протянул руки вперед и простер их над молодыми людьми, как будто испрашивая для них небесное благословение. Это были те же руки, что отравили чистый родник их жизни. Джованни затрепетал, Беатриче содрогнулась от ужаса и прижала руки к сердцу.

— Дочь моя! — произнес Рапачини. — Ты более не одинока в этом мире. Сорви один из драгоценных цветов с ку-

ста, который ты называешь своей сестрой, и вручи его твоему жениху. Цветок неспособен больше причинить ему вред. Моя наука и ваша обоюдная любовь переродили его, и он так же отличается от всех прочих мужчин, как ты, дочь моей гордости и торжества, от обыкновенных женщин. Ступайте же в этот мир, опасные для всех, кто осмелится к вам приблизиться, но любящие друг друга.

— Отец мой, — произнесла Беатриче слабым голосом, все еще прижимая руку к своему сердцу, — зачем навлекли вы на свою дочь такую чудовищную кару? Зачем вы сделали меня такой несчастной?

— Несчастной? — воскликнул Рапачини. — Что ты хочешь этим сказать, глупое дитя? Разве быть наделенной чудесным даром, перед которым бессильно любое зло, значит быть несчастной? Несчастье — быть способной одним дыханием сразить самых могущественных? Несчастье — быть столь же грозной, сколь и прекрасной? Неужели ты предпочла бы участь слабой женщины, беззащитной перед злом?

— Я предпочла бы, чтоб меня любили, а не боялись, — пролепетала Беатриче, опускаясь на землю, — но теперь мне все равно. Я уйду, отец, туда, где зло, которым ты напитал мое существо, исчезнет, как сон, как аромат этих ядовитых цветов, которые в садах Эдема уже не осквернят моего дыхания. Прощай, Джованни! Твои слова, рожденные ненавистью, свинцом лежат у меня на сердце, но я забуду их там, куда иду. О, не было ли с самого начала в твоей природе больше яда, чем в моей!

Как яд был жизнью для Беатриче, чья телесная природа была изменена искусством Рапачини, так и противоядие стало для нее смертью. И несчастная жертва дерзновенного ума, посягнувшего на законы бытия и злого рока, который всегда преследует замыслы извращенной мудрости, погибла у ног своего отца и своего возлюбленного.

В эту минуту профессор Пьетро Бальони выглянул из окна и голосом, в котором звучали торжество и ужас, воззвал к убитому горем ученому:

— Рапачини, Рапачини, этого ли ты ожидал от своего опыта?

Ханс Кристиан Андерсен

*Открытие райского
растения*



Высоко-высоко, в светлом, прозрачном воздушном пространстве, летел ангел с цветком из Райского сада. Ангел поцеловал цветок, и от него оторвался крошечный лепесток и упал на землю. Упал он на рыхлую, влажную лесную почву и сейчас же пустил корни. Скоро между лесными растениями появилось новое.

— Что это за чудной росток? — говорили те, и никто — даже чертополох и крапива — не хотел знаться с ним.

— Это какое-то садовое растение! — говорили они и подымали его на смех.

Но оно все росло да росло, пышно раскидывая побеги во все стороны.

— Куда ты лезешь? — говорил высокий чертополох, весь усеянный колючками. — Ишь ты, распыжился! У нас так не водится! Мы тебе не подпорки!

Пришла зима, растение покрылось снегом, но от его ветвей исходил такой блеск, что блестел и снег, словно освещенный снизу солнечными лучами. Весною растение зацвело; прелестнее его не было во всем лесу!

И вот явился раз профессор ботаники, — так он и по бумагам значился. Он осмотрел растение, даже попробовал, каково оно на вкус. Нет, положительно оно не значилось в ботанике, и профессор так и не мог отнести его ни к какому классу.

— Это какая-нибудь разновидность! — сказал он. — Я не знаю его, оно не внесено в таблицы.

— Не внесено в таблицы! — подхватили чертополох и крапива.

Большие деревья, росшие кругом, слышали сказанное и тоже видели, что растение было не из их породы, но не проронили ни одного слова: ни дурного, ни хорошего. Да оно и вернее промолчать, если не отличаешься умом.

Через лес проходила одна бедная невинная девушка.

Сердце ее было чисто, ум возвышен верою; все ее достояние заключалось в старой Библии, но со страниц ее говорил с девушкой сам Господь:

«Станут обижать тебя, вспомни историю об Иосифе; ему тоже хотели сделать зло, но Бог повернул злое на доброе. Если же будут преследовать тебя, глумиться над тобою, вспомни о Нем, невиннейшем, лучшем из всех, над которым надругались, которого пригвоздили ко кресту и который все-таки молился: “Отче, прости им, ибо не знают, что делают!”»

Девушка остановилась перед чудесным растением; зеленые листья его дышали таким сладким, живительным ароматом, цветы блестели на солнце радужными переливами, а из чашечек их лилась дивная мелодия, словно в каждой был неисчерпаемый родник чарующих созвучий. С благоговением смотрела девушка на дивное растение Божье, потом пригнула одну из веток, чтобы поближе рассмотреть цветы, поглубже вдохнуть в себя их аромат,— и душа ее просветлела, на сердце стало так легко! Как ей хотелось сорвать хоть один цветочек, но она не посмела, — он ведь так скоро завял бы у нее. И она взяла себе лишь один зеленый листик, принесла его домой и положила в Библию. Там он и лежал, все такой же свежий, благоухающий, неувядаемый.

Да, он лежал в Библии, а сама Библия лежала под головою молодой девушки в гробу, — несколько недель спустя

девушка умерла. На лице ее застыло выражение торжественной, благоговейной серьезности, только оно и могло отпечататься на брэнной земной оболочке девушки, в то время как душа ее стояла перед престолом Всевышнего.

А чудесное растение по-прежнему благоухало в лесу; скоро оно разрослось и стало словно дерево; перелетные птицы слетались к нему стаями и низко преклонялись перед ним, в особенности — ласточка и аист.

— Иностраннне кривляки! — говорили чертополох и крапива. — У нас это не принято! Такое ломанье нам не к лицу!

И черные лесные улитки плевали на чудесное растение.

Наконец пришел в лес свинопас надергать чертополоху и других растений, которые он сжигал, чтобы добыть себе золы, и выдернул в том числе со всеми корнями и чудесное растение. Оно тоже попало в его вязанку!

— Пригодится и оно! — сказал свинопас, и дело было сделано.

Между тем, король той страны давно уже страдал глубокою меланхолией. Он прилежно работал — толку не было; ему читали самые ученые, мудреные книги, читали и самые легкие, веселые — тоже напрасно. Тогда явился посол от одного из первейших мудрецов на свете; к нему обращались за советом, и он отвечал через посланного, что есть одно верное средство облегчить и даже совсем исцелить больного.

«В собственном государстве короля есть в лесу растение небесного происхождения, такого-то и такого-то вида, — ошибиться нельзя». Затем следовал точный рисунок растения, по которому его нетрудно было узнать. «Оно зеленеет и зиму и лето; поэтому пусть берут от него каждый вечер по свежему листочку и кладут на лоб короля; тогда мысли его прояснятся и чудесный сон подкрепит его к следующему дню!»

Яснее изложить дело было нельзя, и вот все ученые доктора, с профессором ботаники во главе, отправились в лес. Но... куда же девалось растение?

— Должно быть, попало ко мне в вязанку, — сказал свинопас, — и давным-давно стало золою. Мне и невдомек было, что оно может понадобиться!

— Невдомек! — сказали все. — О невежество, невежество, нет тебе границ!

Свинопас должен был намотать эти слова себе на ус; свинопас, и никто больше, — думали остальные.

Не нашлось даже ни единого листика небесного растения: уцелел ведь только один, да и тот лежал в гробу, и никто и не знал о нем.

Сам король пришел в лес на то место, где росло небесное растение.

— Вот где оно росло! — меланхолично сказал он. — Священное место!

И место огородили вызолоченною решеткою и приставили сюда стражу; часовые ходили и день и ночь.

Профессор ботаники написал целое исследование о небесном растении, и его за это всего озолотили — к большому его удовольствию.

Позолота очень шла и к нему и ко всему его семейству, и вот это-то и есть самое радостное во всей истории: от небесного растения не осталось ведь и следа, и король по-прежнему ходил, повесив голову.

— Ну, да он и прежде был таким! — сказала стража.



Луиза Мэй Олкотт

*Заблудившиеся в пирамиде,
или Проклятие мумии*

I

— А это что, Поль? — спросила Эвелин, открывая шкатулочку из потемневшего золота и с любопытством рассматривая содержимое.

— Семена какого-то неизвестного египетского растения, — ответил Форсайт, глядя три багряных зернышка в поднятой к нему белой ручке. Внезапная тень набежала на его загорелое лицо.

— Откуда они у тебя? — спросила девушка.

— История жутковатая. Лучше ее не рассказывать, не то она будет тебе сниться, — с рассеянным видом сказал Форсайт.

Девушка сгорала от любопытства.

— Пожалуйста, расскажи. Мне нравятся жуткие истории, и после я совсем не боюсь. Расскажи, прошу тебя — ты всегда так интересно рассказываешь, — воскликнула она. Повелительность на прелестном личике девушки мило сменялась мольбой, и отказать ей было невыносимо.

— Ты пожалеешь об этом, да и я, возможно. Заранее предупреждаю, что эти таинственные семена приносят своему владельцу несчастье, — с улыбкой произнес Форсайт, но тут же сдвинул черные брови и посмотрел на сидевшее перед ним цветущее создание нежно и обеспокоенно.

— Говори же, мне не страшны твои драгоценные крупинки, — приказала она и властно кивнула.

— Слушаю и повинуюсь. Позволь мне припомнить все подробности, и тогда я начну рассказ, — отозвался Форсайт и стал расхаживать взад и вперед с задумчивой миной человека, переворачивающего страницы прошлого.

Эвелин с минуту смотрела на него, а затем вернулась к своему рукоделью — или забаве, ибо труд этот как нельзя лучше подходил для жизнерадостной крошки, полу-ребенка, полу-женщины.

— Путешествуя по Египту, — медленно заговорил Форсайт, — я однажды отправился со своим гидом и профессором Нильсом исследовать пирамиду Хеопса. Нильс просто

помешан на всяческих древностях и в приступе своей страсти забыл о времени, опасности и усталости. Мы без конца блуждали по узким коридорам, задыхаясь от пыли и сперттого воздуха, спотыкались о разбитые футляры, где лежали когда-то мумии, или сталкивались лицом к лицу с каким-нибудь сморщенным образчиком, разлегшимся, как домовой, на узкой каменной полке, куда веками складывали мертвецов. Через несколько часов я отчаянно устал и принялся просить Нильса повернуть обратно. Но профессору непременно нужно было побывать еще в десятке коридоров, и он даже не слушал. С нами был лишь один проводник, и мне волей-неволей пришлось тащиться дальше. К счастью, Джумаль заметил, что я утомился. Он предложил нам остановиться на отдых в одном из более просторных коридоров и подождать, пока он будет искать для Нильса другого проводника. Мы согласились. Джумаль сказал, что мы будем в полной безопасности, если не вздумаем покинуть наш бивуак, и ушел, пообещав вернуться как можно скорее. Профессор уселся и начал записывать в книжку свои наблюдения. Я растянулся на мягком песке и задремал.

Я проснулся от необъяснимого волнения, которое подсознательно предупреждает нас о близкой опасности. Вскочив на ноги, я увидел, что остался один. В щели между камнями догорал факел Джумалья; Нильс и второй факел исчезли. Пугающее чувство одиночества на миг охватило меня. Я взял себя в руки и внимательно огляделся вокруг. К моему пробковому шлему, лежавшему рядом, был прикреплен листок бумаги, исписанный рукой профессора. Я прочитал:

Собираюсь вернуться немного назад и освежить свою память, так как по пути кое-что позабыл. Не стоит следовать за мной, пока не вернется Джумаль. Я сумею найти вас по путеводной нити. Спите спокойно, и пусть вам приснятся фараоны.

Н. Н.

Сперва я рассмеялся, прочитав записку престарелого энтузиаста науки, затем почувствовал беспокойство, после тре-

вогу и наконец решил отправиться на поиски. Я нашел веревку, обвязанную вокруг упавшего камня, и понял, что это и была «путеводная нить», о которой писал профессор. Черкнув несколько слов для Джумалия, я взял факел и двинулся по нашим следам, следя за веревкой, которая убегала в темные извилистые проходы. Я то и дело звал профессора, но не слышал ответа и продолжал путь. За каждым поворотом я надеялся увидеть старика, занятого изучением какой-нибудь заплесневелой древней реликвии. Внезапно я увидел, что дошел до конца веревки, но следы профессора уходили дальше.

«Ну и безрассудство, он наверняка заблудится», — подумал я, по-настоящему встревожившись.

Пока я размышлял, что делать, послышался отдаленный крик. Я ответил, подождал, крикнул снова и услышал совсем далекий отклик.

Нильс, как видно, пошел вперед, обманувшись капризными раскатами эха в узких коридорах. Нельзя было терять ни минуты. Я глубоко воткнул факел в песок, чтобы свет указывал мне дорогу назад, и помчался по прямому переходу, завывая как безумец. Я не хотел терять из виду факел, но так торопился найти Нильса, что свернул в боковой коридор. Услышав его голос, я побежал дальше. Вскоре я с радостью разглядел впереди огонек его факела. Профессор так и вцепился в меня дрожащими руками — сразу было видно, какие муки страха он пережил.

— Нужно сейчас же выбраться из этого ужасного места, — сказал он, вытирая со лба большие капли пота.

— Пойдемте. Ваша «путеводная нить» недалеко. Доберемся до нее и быстро найдем обратный путь, — сказал я.

Я еще не договорил, как меня пробрал холодок: перед нами простирался целый лабиринт узких галерей.

Вглядываясь в следы на песке, я повел профессора за собой, стараясь вспомнить замеченные на бегу приметы. Так мы подошли совсем близко к месту, где я оставил факел. Но отсвета огня не было видно, и я склонился над следами. К своему ужасу, я понял, что совершил ошибку: отпечатки бо-

тинок перемежались следами босых ног. Проводника с нами не было, а Джумаль носил сандалии.

Выпрямившись и указывая на коварный песок и догорающий факел, я в отчаянии бросил Нильсу одно лишь слово: «Заблудились!»

Я думал, что старик будет потрясен. Но он, как ни удивительно, буквально на глазах успокоился, овладел собой и негромко сказал:

— Другие проходили здесь до нас; пойдем по их следам. Если только я не безнадежно ошибаюсь, они выведут нас в галереи пошире, а там уже будет легко найти дорогу.

Мы смело тронулись в путь, однако через некоторое время профессор неловко шагнул и грохнулся на землю со сломанной ногой, едва не погасив факел. Нас постигла ужасная беда. Я оставил всякую надежду и молча сидел рядом с несчастным, изнуренным болью и ознобом. Вдобавок, профессор терзался угрызениями совести — я не соглашался оставить его.

— Поль, — вдруг произнес он, — раз уж вы не хотите уйти, мы можем попробовать еще одно средство. Помнится, я слышал рассказ о путешественниках, которые заблудились, как и мы. Они спаслись, разведя костер. Дым распространялся быстрее и дальше звука или света факелов; догадливый проводник сообразил, что к чему, нашел источник дыма и вывел весь отряд. Разведем костер и будем надеяться на Джумалья.

— Костер без дров? — начал я, но профессор указал на каменную полку за моей спиной. Вначале я не заметил ее в темноте; на полке я увидел узкий футляр для мумии. И тогда я понял, что имел в виду Нильс — эти гробы из высохшего дерева повсюду валяются сотнями и часто идут на дрова. Я потянулся к футляру и сдернул его вниз, полагая, что он пуст; но футляр упал на пол, раскрылся, и из него выкатилась мумия. Хотя я давно привык к таким зрелищам, нервы были напряжены, и я вздрогнул. Отодвинув в сторону маленькую коричневую куколку, я разломал футляр и поднес факел к горке дощечек. Вскоре легкие облака дыма поплыли по трем коридорам, расходявшимся от похожего на

залу помещения, где мы находились.

Пока я возился с костром, Нильс, позабыв о боли и опасности, подтащил мумию поближе и начал осматривать ее с любопытством человека, чью главную страсть не смогла унять даже смертельная опасность.

— Идите сюда и помогите мне развернуть мумию. Всегда мечтал первым увидеть и взять в руки сокровища, спрятанные в складках этих таинственных покрывал. Мумия женская, и нас могут ждать редкостные и ценные находки, — сказал он и принялся разворачивать первый слой бинтов. Мумия издавала странный ароматический запах.

Я неохотно подчинился — кости этой неизвестной женщины казались мне чем-то священным. Чтобы убить время и развлечь бедного профессора, я стал помогать, гадая при этом, действительно ли темный и уродливый забинтованный предмет был когда-то прекрасной египтянкой с глазами газели.

Пористые складки покровов источали драгоценные смолы и благовония, опьянявшие нас своим дыханием. На песок упали древние монеты и одно-два любопытных украшения; Нильс подобрал их и жадно осмотрел.

Все бинты, кроме последнего, были наконец срезаны. Показалась головка, увитая косами когда-то роскошных волос. Высохшие руки были сложены на груди и сжимали вот эту золотую шкатулочку.

— Ах! — воскликнула Эвелин и выронила шкатулку из розовой ладошки.

— Нет, не отвергайте сокровище маленькой мумии. Никогда не могу простить себя за то, что похитил шкатулку — и сжег бедняжку, — сказал Форсайт. Его кисть быстрее задвигалась по холсту, как будто воспоминание придало руке новую силу.

— Сжег! Ах, Поль, что ты имеешь в виду? — в волнении спросила девушка.

— Сейчас расскажу. В то время, как мы занимались мадам Мумией, костер почти погас: сухое дерево горело, как трут. Мы с волнением различили далекий, еле слышный зов, и Нильс закричал: «Подбросьте дров! Джумаль ищет нас. Ну-

жен дым, не то мы пропали!»

— Дров больше нет. Футляр был очень маленьким и весь сгорел, — ответил я, срывая с себя способные быстро загораться предметы одежды и бросая их на угли.

Нильс последовал моему примеру. Увы, тонкая ткань сразу же занялась и сгорела без дыма.

— Жгите ее! — приказал профессор, указывая на мумию.

Я медлил. Вновь донеслось далекое эхо. Я не хотел умирать. Несколько сухих костей могли нас спасти. Я молча подчинился.

Взметнулось неяркое пламя, тяжелый дым поднялся над горящей мумией, расползаясь по низким галереям и грозя задушить нас в облаке благоуханного тумана. Голова моя закружилась, огонь затанцевал перед глазами, толпы неведомых призраков, казалось, замелькали вокруг. Я как раз спрашивал у Нильса, отчего он побледнел и хватается ртом воздух, когда потерял сознание.

Эвелин глубоко вздохнула и отодвинула подальше надутую шкатулку: аромат коробочки словно утнетал ее.

Загорелое лицо Форсайта оживилось от воспоминаний, черные глаза блестели. С коротким смешком он добавил:

— Вот и все. Джумаль нашел нас и вытащил, и мы оба поклялись до конца своих дней никогда больше и близко не подходить к пирамидам.

— Но шкатулка... как она досталась тебе? — спросила Эвелин, искоса глядя на древнее изделие, сверкнувшее в солнечном луче.

— Я привез ее в качестве сувенира, а Нильс оставил у себя прочие безделушки.

— Да, но ты говорил, что владельца этих семян ожидает несчастье, — настаивала девушка. Рассказ Форсайта воспламенил ее воображение; и воображение подсказывало ей, что еще не все было рассказано.

— Среди трофеев Нильса оказался обрывок пергамента. Его расшифровали; в надписи говорилось, что мумия, которую мы так невежливо сожгли, принадлежала знаменитой колдунье и что эта колдунья наложила проклятье на всякого, кто потревожит ее прах. Конечно, я не верю, что дело в

проклятии — однако, говоря по правде, Нильс с тех пор так и не оправился. Он утверждает, что виной всему перелом и испуг. Думаю, так и есть. Но иногда я задумываюсь, не постигнет ли и меня проклятие; я немного суеверен, к тому же злосчастная мумия все еще посещает мои сны.

Последовало долгое молчание. Поль механически клал краски, Эвелин задумчиво глядела на него. Но мрачные мысли были ей чужды, как тени полудню; она весело рассмеялась и взяла в руки шкатулку.

— Почему бы не посадить их? Посмотрим, какие чудесные цветы вырастут из этих семян!

— Сомневаюсь, что из них что-либо вырастет после того, как они много веков пролежали в пальцах у мумии, — угрюмо ответил Форсайт.

— Я хочу попробовать. Ты ведь знаешь, что удалось прорастить пшеничные зерна, взятые из гроба мумии — так почему же не эти миленькие семена? Мне так хотелось бы наблюдать, как они растут; ну пожалуйста, Поль!

— Нет-нет, лучше не будем ставить этот эксперимент. У меня какое-то странное чувство — не хочу, чтобы я или кто-то, кого я люблю, имели с ними хоть что-либо общее. В семенах может содержаться ужасный яд, они могут обладать какой-то зловещей силой. Очевидно, колдунья считала их очень ценными, потому что и в могиле продолжала прижимать их к груди.

— Что за глупые суеверия! Ты просто смешон. Ну же, покажи свою щедрость и дай мне одно семечко; посмотрим, прорастет ли оно. Обещаю, я тебя отблагодарю, — сказала Эвелин, подошла к Форсайту и с самым неотразимым видом запечатлела на его лбу поцелуй.

Но Форсайт остался непреклонен. Он улыбнулся, горячо обнял ее — и бросил семена в камин. Возвращая Эвелин золотую шкатулочку, он нежно сказал:

— Дорогая, я наполню ее бриллиантами или бонбоньерками, если захочешь, но я не позволю тебе шутить с заклятием этой ведьмы. Забудь о «милых семенах» — ты ведь сама премиленная; погляди-ка, я изобразил тебя в образе светоча гарема!

Эвелин нахмурилась, потом улыбнулась, и вскоре влюбленные уже прогуливались под весенним солнцем, наслаждаясь счастливыми мечтаниями и не помышляя ни о каких грозных предсказаниях и несчастьях.

II

— У меня для тебя маленький сюрприз, любимая, — сказал спустя три месяца Форсайт, приветствуя кузину в утро знаменательного дня свадьбы.

— И у меня, — ответила она со слабой улыбкой.

— Ты так бледна и так похудела! Все эти предсвадебные хлопоты утомили тебя, Эвелин, — сказал он с ласковой заботой, глядя на ее странно побледневшее лицо и завладевая ее худенькой ручкой.

— Я так устала, — сказала она и преклонила голову на грудь возлюбленного. — Ни сон, ни еда, ни свежий воздух не помогают, а в голове иногда словно какой-то туман. Мама винит жару, но я даже на солнце дрожу, а по ночам вся горю в лихорадке. Поль, дорогой, я так рада, что ты увезешь меня отсюда и мы с тобой будем жить тихо и счастливо; боюсь только, что жизнь эта окажется короткой.

— Ах, женушка, какая же ты фантазерка! Ты устала, ты нервничаешь и беспокоишься, но несколько недель отдыха в деревне вернут нам прежнюю цветущую Ив. Но разве тебе не любопытно узнать, какой я приготовил сюрприз?

Безучастное лицо девушки оживилось, но все-таки могло показаться, что она с трудом воспринимает слова Форсайта.

— Помнишь, как мы разбирали старый комод?

— Да, — ответила она, и мимолетная улыбка тронула ее губы.

— И как тебе захотелось посадить те странные семена, которые я похитил у мумии?

— Помню, — и ее глаза зажглись внезапным огнем.

— Я отдал тебе шкатулку и думал, что сжег все семена в

камине. Но когда я вернулся, чтобы накрыть картину, я нашел на ковре одно из семян, и мне вдруг захотелось исполнить твой каприз. Я отправил его Нильсу, попросив посадить и извещать меня, как идут дела. Сегодня я получил от него первое письмо. Он пишет, что растение прекрасно развивается и выпустило почки. Нильс собирается привезти первый цветок, если тот распустится вовремя, на собрание знаменитых ученых, а после этого обещает прислать растение и сообщить его точное название. По описанию Нильса, оно выглядит очень любопытно, и мне не терпится его увидеть.

— Тебе не придется ждать. Могу показать тебе и растение, и цветы, — сказала она с дразнящей улыбкой, так давно не появлявшейся на ее лице.

В крайнем удивлении Форсайт проследовал за нею в маленький будуар. Здесь, купаясь в солнечных лучах, стояло неведомое растение. Пышность ярко-зеленых листьев на тонких пурпурных ветках казалась почти отталкивающей; из гущи их поднимался единственный призрачно-белый цветок в форме змеиного капюшона с алыми тычинками, похожими на раздвоенные языки. На лепестках, подобно росе, поблескивали капельки.

— Станный, таинственный цветок! Он пахнет? — спросил Форсайт, наклоняясь к растению. Любопытство его было настолько велико, что он забыл даже спросить, как оказался цветок в будуаре Эвелин.

— Совсем не пахнет. Я так разочарована! Мне очень нравятся ароматы, — отвечала девушка, поглаживая зеленые листья. Те дрожали от ее прикосновений, а пурпурный цвет веточек, казалось, приобрел более густой оттенок.

— А теперь рассказывай, — помолчав несколько минут, сказал Форсайт.

— Я успела раньше тебя и спрятала одно семечко — ты уронил на ковер два. Посадила под стекло, в самую плодородную почву, какую смогла найти, и щедро поливала. После того, как росток показался над землей, цветок начал расти с удивительной быстротой. Я никому не рассказала, так как хотела сделать тебе сюрприз; но цветок очень долго рас-

пускался, и пришлось ждать. Сегодня он распустился — это добрый знак. И он почти белый, так что я собираюсь украсить им подвенечное платье; за это время я привязалась к цветку и теперь это мой домашний любимец.

— Я бы не советовал: цвет-то невинный, но растение выглядит зловещим. Посмотри только на его раздвоенный, словно у гадюки, язык и эти отталкивающие капли! Посмотрим сперва, что сообщит нам Нильс, а после можешь пестовать цветок, сколько угодно. Не исключаю, что моя колдунья ценила в нем некую символическую красоту — в жизни древних египтян было полно суеверий. Ловко ты меня провела! Но я прощаю тебя, ведь через несколько часов эта маленькая загадочная ручка навсегда станет моей. Как она холодна! Пойдем в сад, любимая, тебе нужно погреться на солнце и подышать воздухом перед свадьбой.

Но когда наступил вечер, никто не мог попрекнуть девушку бледностью: она сияла, как цвет граната, глаза горели, губы розовели. Казалось, к ней вернулась прежняя жизнерадостность. Никогда еще невеста прекрасней не краснела стыдливо под туманной фатой; и когда возлюбленный увидал ее, он был поражен и восхищен почти неземной прелестью, превратившей давешнее бледное и истомленное создание в эту лучезарную женщину.

Их обвенчали, и если любовь, многочисленные пожелания счастья и обильные дары, принесенные им от чистого сердца, могли служить гарантией счастья, молодые были воистину благословенны. Но и в минуту упоения, когда Эвелин стала его женой, Форсайт не мог не почувствовать ледяной холод ее маленькой ручки, не заметить лихорадочный румянец на мягкой щечке, к которой он прикоснулся губами, не различить в глубине глаз, так задумчиво глядевших на него, странный огонек.

Беспечная и прекрасная, как дух, улыбающаяся юная невеста исполнила подобающую ей роль во всех праздничных событиях этого долгого вечера; когда же наконец свет и цвета начали тускнеть, а оживление угасать, жениху, следившему за ней влюбленными глазами, подумалось, что она просто устала. Последний гость распрощался и ушел; к Форсай-

ту подбежал слуга с письмом, помеченным «срочно». Форсайт распечатал конверт и прочел строки, написанные другом профессора:

Дорогой сэр,

бедняга Нильс скончался два дня назад в Научном клубе; перед смертью он произнес: «Передайте Полю Форсайту, чтобы он опасался Проклятия Мумии, ибо этот роковой цветок погубил меня». Обстоятельства смерти Нильса были настолько необычными, что я счел нужным прибавить их описание к его последним словам. На протяжении нескольких месяцев, как он рассказал нам, он наблюдал за неизвестным растением; в тот вечер он показал нам цветок. Мы допоздна обсуждали другие насущные вопросы и забыли о цветке. Профессор вдел его в петлицу — странный белый цветок в форме змеиной головы, усеянный маленькими блестящими капельками, которые постепенно приобрели алую окраску, отчего листья казались запятнанными кровью. Мы заметили, что профессор, выглядевший в последнее время изможденным и бледным, был необычайно оживлен; в его воодушевлении чудилось даже нечто искусственное. Заседание близилось к концу, когда, в самом разгаре научного спора, профессор вдруг упал, будто сраженный апоплексическим ударом. Его повезли домой; он был без сознания и только на краткое мгновение пришел в себя и передал мне послание для вас, которое я привел выше. Умер он в страшных мучениях и в бреду не переставая говорил о мумиях, пирамидах, змеях и каком-то настигшем его страшном проклятии.

После смерти на его коже выступили яркие алые пятна, похожие на те, что усеивали лепестки цветка; все тело ссохлось, как опавший лист. По моей просьбе цветок исследовали; виднейший ученый нашел, что цветок служил одним из самых ядовитых и смертоносных орудий египетских колдуний. Растение незаметно поглощает жизненные силы владельца, а цветок, если украсить им одежду на два или три часа, вызывает безумие либо смерть.

Письмо упало на пол из рук Форсайта; он бросился в комнату, где оставил молодую жену. Она, будто утомившись, прилегла на кушетку и оставалась недвижна. Ее лицо было наполовину скрыто легкими складками фаты.

— Эвелин, дорогая моя! Проснись, ответь мне! На тебе был сегодня тот странный цветок?

Ответ не понадобился: на ее груди сверкал красками зловещий цветок; его белые лепестки были теперь усыпаны алыми крапинками, яркими, словно пятна только что пролитой крови.

Но несчастный жених едва их заметил, ибо лицо невесты ужаснуло его полнейшей пустотой взгляда. Исхудавшее и мертвенно-бледное, как после тяжелой болезни, это юное лицо, еще час назад такое прекрасное, выглядело старым, уничтоженным зловещим влиянием цветка, выпившего ее жизнь. Она смотрела на Форсайта, не узнавая, с губ не сорвалось ни слова, руки лежали неподвижно — и только еле слышное дыхание, трепетное биение пульса и широко раскрытые глаза говорили о том, что она еще жива.

Увы, юная невеста погибла! Сверхъестественный ужас, над которым она посмеивалась, достоверно существовал; проклятие, веками ждавшее своего часа, наконец исполнилось. Собственной рукой она разбила свое счастье. Смерть при жизни ждала ее. Долгие годы Форсайт, ставший затворником, с трогательной преданностью ухаживал за бледным призраком, который ни словом, ни взглядом не мог поблагодарить его за любовь, пережившую даже такую жестокую судьбу.

Эмиль Золя

Из романа «Добьига»

Вокруг нее в походяжей на храм теплице с тонкими железными колонками, которые, уходя ввысь, поддерживали стеклянный свод, разметалась буйная растительность, широкой пеленой раскидывалась сочная листва, цветущая зеленая поросль.

Посередине, в овальном бассейне, вровень с землей, жили своей таинственной жизнью тускло-зеленые водоросли, вся подводная флора солнечных стран. Высокие зеленые султаны циклантусов величественно опоясывали струю фонтана, напоминавшую обломанную капитель какой-то циклопической колонны. Над бассейном с двух сторон поднимались кусты огромной торнелии, их странные сухие и голые ветви извивались, как больные змеи, а воздушные корни спадали, точно рыбацьи сети, развешенные для просушки. У края бассейна распускались листья явской пандани, зеленые, с белыми полосками, узкие, словно шпаги, колючие и зубчатые, как малайские кинжалы. А на сонной глади тепловатой, чуть подогретой воды раскрывались розовые звезды кувшинок, плавали пупырчатые круглые листья медуз, похожие на спины отвратительных жаб, покрытые бородавками.

Вместо газона бассейн окружала широкая полоса плаунов. Эти карликовые папоротники ложились нежно-зеленым пушистым ковром. А по другую сторону широкой круговой аллеи мощным порывом вздымались четыре огромных массива: грациозные пальмы, слегка склонившись, распускали свои веера, раскидывали кроны, опуская листья, точно весла, уставшие от вечного скитания в голубом эфире; прямые высокие индийские бамбуки, твердые и ломкие, роняли сверху легкий дождь листьев; дерево путников, равенала, поднималось ввысь огромным букетом китайских экранов, а в углу вытянутый плодами банан вытягивал во все стороны длинные горизонтальные листья, где свободно могли улечься двое влюбленных, тесно прижавшись друг к другу. В углах были абиссинские молочаи — колючие свечи, обезображенные отвратительными наростами, источающими яд. Под деревьями тонким нежным кружевом стелились по земле низкорослые папоротники. Ветви древолюбов, поро-

да более высоких папоротников, возвышались этажами; их симметрические шестигранные листья были такой правильной формы, что они казались большими фаянсовыми вазами, в которых уместились бы гигантские фрукты для десерта великанов. Массивы опоясывал бордюр из бегоний и красностистника; у бегоний были искривленные листья, красиво испещренные зелеными и красными пятнами; красностистник с копьевидными листьями, с зелеными жилками, напоминал широкие крылья бабочки. То были причудливые растения, чья листва живет своеобразной тусклой и бледной жизнью вредоносных цветов.

Позади массивов вокруг оранжереи шла вторая, более узкая аллея. Там, на ступеньках, прикрывая трубы отопления, цвели нежные, словно бархат, арророуты, глоксинии с фиолетовыми колокольчиками, драцены, похожие на пластинки старинного лакированного дерева.

Особое очарование этому зимнему саду придавали расположенные в углах зеленые гроты, глубокие беседки, скрытые густыми завесами лиан. Здесь были уголки девственного леса, воздвигавшие целые стены листвы, непроницаемую чашу стеблей; гибкие ползучие растения цеплялись за ветви, смелым взлетом пересекали пространство, свешивались с потолка, точно кисти богатых штофных драпировок. Стебель ванили взбирался по круглому портику, убранному мхом, от спелых стручков его веяло пряным запахом; круглые листья левантийской павилики обвивали колонки; красные гроздья баугинии, цветы мохночашника, свисающие, как стеклянные бусы, извивались, скользили, переплетались, словно тонкие ужи, без конца играющие и растягивающиеся в темной зелени.

А под арками, между древесными массивами, были повешены на железных цепочках корзины с орхидеями, причудливыми цветами, пускающими во все стороны ростки — кражистые, искривленные и узловатые, точно искалеченные пальцы. Были здесь и башмачки Венеры, цветок, похожий на волшебную туфельку с каблуком, украшенным крыльями стрекозы; и аэриды с таким нежным благоуханием, и станопея с бледными, пестрыми цветами, от которых даже из-

дали веет сильным и терпким запахом, точно горьким дыханием выздоравливающего больного.

Но больше всего поражал взгляд видимый со всех аллеек китайский гибиск, покрывавший широкой пеленой зелени и цветов ту стену особняка, к которой примыкала оранжерея. Большие пурпурные цветы этой гигантской мальвы, непрестанно обновляющиеся, живут лишь несколько часов. Они раскрываются, словно чувственные женские уста, словно красные, мягкие, влажные губы какой-то исполинской Мессалины, чьи поцелуи убивают, постоянно возрождаясь в жадной кровавой улыбке.

Рене, дрожа, стояла у бассейна, среди этих роскошных растений. Позади вытянулся на гранитном постаменте, лицом к аквариуму, черный мраморный сфинкс с блестящими бедрами, и он смотрел на Рене с кошачьей улыбкой, жестокостью и загадочной; то был словно мрачный кумир этой огненной земли. Матовые стеклянные шары проливали молочно-белый свет на листву. Статуи, женские головки, запрокинутые от безумного смеха, белели среди деревьев, и темные пятна искажали их лица. В густой стоячей воде бассейна играли причудливые лучи, освещая неясные, бесформенные массы, подобные зачаткам чудовищ. Потоки белых отблесков пробегали по гладким листьям равеналы, по лоснящимся веерам латаний, капли света мелким дождем рассыпались на кружеве папоротников. Наверху, меж кронами высоких темных пальм, поблескивали стекла, а вокруг сгущался мрак; беседки с занавесами из лиан тонули в потемках, точно гнезда спящих змей.

И, освещенная ярким светом, Рене задумалась, глядя издали на Луизу и Максима. То были уже не безотчетные грезы, не смутное искушение в сумерках прохладных аллей Булонского леса; ее мечты не укачивала и не усыпляла мерная рысь лошадей, бежавших вдоль излюбленных светским обществом газонов, вдоль густых рощ, где по воскресеньям обедают буржуазные семьи. Теперь ею овладело желание, острое и отчетливое.

Необъятная страсть, жажда наслаждений витали под этими замкнутыми сводами, где кипели пламенные соки тро-

пиков. Молодую женщину захватили могучие браки земли, порождавшие вокруг нее эту темную листву, эти громадные стебли; жгучие роды этого огненного моря, буйный расцвет леса, нагромождение зелени, пылающей от жара недр, вскормивших их, веяли ей в лицо своим пьянящим дыханием. У ног ее дымилась теплая вода бассейна, сгущенная соком пловучих корней, окутывала ее плечи плащом тяжелых испарений, которые согревали ее тело, как прикосновение руки, влажной от сладострастия. Над головой ее простирались побеги молодых пальм, высоко растущая листва обвевала ее своим ароматом. Но она чувствовала себя разбитой — не столько от духоты, от яркого света и ослепительно ярких, огромных цветов, мелькавших в листве, словно смеющиеся или искаженные гримасой лица, сколько от запахов. В воздухе носился непостижимый запах, сильный, возбуждающий, будто созданный из запахов человеческого пота, женского дыхания, аромата волос; в сладкое и приторное до обморока дуновение врывались тлетворные, резкие, ядовитые веяния. Но в этой необычайной музыке запахов звучала как лейтмотив одна мелодическая фраза, заглушавшая нежное благоухание ванили, резкий аромат орхидей: то был волнующий, чувственный запах человеческого тела, запах любви, который вырывается утром из запертой комнаты новобрачных.

Рене медленно прислонилась к гранитной глыбе. В зеленом атласном платье, с пылающими щеками и грудью, осыпанной светлыми каплями бриллиантов, она сама была похожа на большой зелено-розовый цветок, на кувшинку из бассейна, истомленную жарой.

В этот миг прозрения все ее добрые намерения рассеялись навсегда; хмель праздника и жаркий воздух теплицы властно, победоносно захватили ее, вскружили ей голову. Она больше не думала об успокоительной ночной прохладе, о тенях парка, чьи голоса шептали ей о счастливой, мирной жизни. В ней пробудились все страсти пылкой натуры, все причуды пресыщенной женщины. А позади нее черный мраморный сфинкс смеялся загадочным смехом, как будто прочел осознанное, наконец, желание, оживившее, словно

электрический ток, ее застывшее сердце; желание, столь долго ускользавшее от нее, то «другое», что Рене тщетно искала под укачивающее движение коляски, в мелком пепле наступающих сумерек, внезапно открылось ей в ярком свете этого пылающего сада при виде Луизы и Максима, которые смеялись, взявшись за руки.

* * *

Но существовал один уголок, которого Максим почти боялся; туда Рене увлекала его в те дни, когда у нее бывало мрачное настроение, когда она испытывала потребность в более остром опьянении. То была оранжерея. Здесь они полнее наслаждались кровосмешением.

Как-то ночью Рене, томясь скукой, потребовала, чтобы ее возлюбленный принес из спальни медвежью шкуру. Они улеглись на этой черной шкуре у края бассейна, в большой круговой аллее. Ночь стояла ясная, лунная; морозило. Максим пришел озябший, с ледяными руками и ушами. На звериной шкуре в жарко натопленной оранжерее ему стало дурно. Очутившись после колючего мороза в душной, раскаленной оранжерее, он чувствовал, как у него горит все тело и кожу саднит, точно его избили розгами. Когда он пришел в себя, то увидел, что Рене стоит на коленях и, наклонившись, пристально смотрит на него; ее грубая поза испугала его. Волосы ее рассыпались по обнаженным плечам, руки упирались в пол, спина вытянулась, и вся она напоминала большую кошку с фосфоресцирующими глазами. Лежа на спине, Максим заметил над плечами красивого влюбленного зверя, смотревшего на него, голову мраморного сфинкса с освещенными луной лоснящимися боками. Позой и улыбкой Рене походила на чудовище с головой женщины и, казалось, была белой сестрой черного божества.

Максим лежал в полуобморочном состоянии. В оранжерее стояла удушливая, тяжелая жара, не та жара, что огненным дождем падает с неба, а та, что стелется по земле по-

добно тлетворным испарениям и поднимается ввысь насыщенными грозой облаками. Горячая влага осыпала любовников каплями жгучей росы. Долго оставались они без движения и слов в этой пылающей ванне. Максим бессильно растянулся на земле, Рене, сжав кулачки, вся трепещущая, гибкая, опиралась на вытянутые руки. Сквозь мелкие стекла оранжереи виднелись просветы парка Монсо, ветви деревьев вырисовывались в небе тонкими черными линиями, лужайки белели, точно застывшие озера, мертвый пейзаж напоминал своими четкими контурами и светлыми однотонными красками японские картинки. Среди скованной холодом природы странно кипел этот полыхающий уголок земли, это пламенное ложе влюбленных.

Они провели безумную ночь. Рене проявила страстную, действенную волю, подчинившую Максима. Это красивое белокурое и безвольное существо, с детства лишенное мужественности, напоминавшее безусым лицом и грациозной худобой римского эфеба, превращалось в ее пытливых объятиях в истую куртизанку. Казалось, он родился и вырос для извращенного сладострастия. Рене наслаждалась своим господством над этим существом с вечно колеблющимся полом, подавляла его своей страстью. Ее желанье, ее чувства постоянно встречались с неожиданностями, и она испытывала странное ощущение неловкости и острого наслаждения. Она терялась, вновь и вновь с сомнением созерцала его нежную кожу, полную шею, задумывалась над его беспомощностью, его обмороками. Она переживала тогда полное удовлетворение. Открыв ей неизведанный дотоле трепет, Максим явился как бы дополнением к ее безумным туалетам, чрезмерной роскоши, ко всей ее безрассудной жизни. С этой страстью в ее чувственность вошла та нота безудержной оргии, что уже звучала вокруг нее; он был любовником, созданным модой, безумствами своего времени; этот красивый юноша, причесанный на прямой пробор, носивший фрак, обрисовывавший его хрупкую фигуру, прогуливавшийся со скучающей улыбкой по бульварам, оказался в руках Рене орудием того разврата, который в определенную эпоху упадка истощает плоть и разрушает умственные способности прогни-

шей нации. Именно в оранжерее Рене становилась женщиной. За пылкой ночью, проведенной там, последовало несколько подобных ей. Оранжерея горела, любила вместе с ними. В отяжелевшем воздухе, в белесом лунном свете любовники видели, как окружающий их странный мир растений как бы смутно движется, смыкается в объятиях. Шкура черного медведя занимала всю аллею. У ног Рене и Максима дымился бассейн, где кишели и густо переплетались корни; розовые звезды кувшинок раскрывались на водной глади, точно девичий корсаж, кусты торнелий свисали подобно волосам истомленных русалок. Вокруг них возвышались пальмы и индийский бамбук, устремляясь к своду, где листва их смешивалась и они склонялись друг к другу, слегка пошатываясь, точно усталые любовники. Папоротники, птериды, альзофилы напоминали зеленых дам в пышных юбках с ровными воланами, немых и неподвижных на краю аллеи, словно ожидавших, когда пробьет их час любви. Рядом тянулись искривленные, в красных брызгах, листья бегоний и белые копьевидные листья каладиев, загадочно мелькавшие бледными пятнами; порой любовники улавливали в них контуры бедер и колен, поверженных на землю грубыми, ранящими ласками. Бананы, сгибаясь под гроздьями плодов, говорили им о плодородии тучной земли, а иглистые свечи абиссинского молочая, изуродованные, в отвратительных шишках, казалось, источали соки неудержимым потоком огненных зарождений.

Но по мере того, как взоры Максима и Рене проникали в темноту оранжереи, вся эта оргия листьев и стеблей становилась еще безудержней; они уже не различали на ступеньках мягких, как бархат, арророутов, лиловых колокольчиков глоксиний, драцен, похожих на лакированные дощечки красного дерева, — то был хоровод оживших трав, гонящихся друг за другом с ненасытной страстью. По углам, там, где за завесами лиан скрывались беседки, чувственные грезы Рене и Максима претворялись в еще более исступленные образы; гибкие стебли ванили, кукольвана, мохночашника, бегоний простирались, точно бесконечные руки невидимых любовников, неудержимо тянувшиеся к рассеянными

вокруг них уладам. Эти непомерно длинные руки то повисали в изнеможении, то сплетались в любовных спазмах, обвивали, ловили друг друга, точно обуреваемые похотью живые существа. Это было буйное вожделение девственно-го леса, где пылали цветы и зелень тропиков.

Во власти своей извращенной чувственности Рене и Максим ощущали, как их захватывают могучие браки земли. Сквозь медвежью шкуру земля обжигала им спину, высокие пальмы роняли на них каплями зной. В них проникали соки земли, струившиеся в деревьях, рождающие буйную жажду произрастания, гигантского размножения. Они приобщались к страстному неистовству оранжереи; в ее бледном сиянии их томили видения и кошмары, в которых они становились свидетелями лобзаний пальм и папоротников; неясные, странные очертания листьев воплощались в чувственные образы, им слышались шепот, томные голоса, иступленные вздохи, приглушенный крик боли, отдаленный смех: то эхо вторило их поцелуям. Порой им казалось, что под ними колеблется почва, как будто сама земля в пароксизме утоленного желания разражалась сладострастными рыданиями.

Если бы даже они закрыли глаза, если бы удушливая жара и бледный свет не извратили их чувств, то одних запахов было бы достаточно для того, чтобы вызвать в них необычайное нервное возбуждение. Бассейн обволакивал их облаком крепкого запаха, в котором сливались тысячи благоуханий цветов и зелени; порой, как воркованье дикого голубя, разливался аромат ванили, но его заглушал резкой ноткой запах станопеи, чьи пестрые уста разносят горькое дыхание, как у выздоравливающего больного. Орхидеи в корзинках, подвешенных на цепочках, струили тяжелые ароматы, подобно живым кадилам. Но надо всем царил, растворя в себе все эти смутные дуновения, человеческий запах, запах любви, столь знакомый Максиму, когда он целовал затылок Рене или зарывался лицом в ее распущенные волосы. Их пьянил этот запах влюбленной женщины, веявший в оранжерее, точно в алькове, где рождала земля.

Обычно любовники лежали под мадагаскарским тангингом — ядовитым деревцом, лист которого когда-то надку-

сила Рене. Вокруг них смеялись белые статуи, созерцая мощные объятия растений. Луна, передвигаясь в небе, перемещала тени, оживляла сцену своим изменчивым светом. И любовники уносились за тысячу лье от Парижа, далеко от легкомысленной жизни Булонского леса и официальных салонов, в какой-то уголок леса в Индии или в чудовищный храм, кумиром которого был черный мраморный сфинкс. Они катились по наклонной плоскости к преступлению, к чудовищной любви, звериным ласкам. Вся эта копошившаяся вокруг них, кишевшая в бассейне жизнь, обнаженное бесстыдство листвы повергали их в самую гущу страстей дантова ада. И тогда-то, в этой стеклянной клетке, бурлившей пламенным летним зноем среди прозрачной декабрьской стужи, они вкушали кровосмешение, точно преступный плод горячей земли, испытывая затаенный ужас перед своим страшным ложем. На черной медвежьей шкуре белело застывшее в нервном напряжении тело Рене, и своей позой она напоминала припавшую к земле огромную кошку, которая лежит, вытянув гибкую спину, готовясь к прыжку. Вся она была насыщена сладострастием, и чистые линии ее плеч и бедер с кошачьей грацией выделялись на черном пятне медвежьей шкуры, разостланной среди желтого песка аллеи. Она подстерегала Максима, как добычу, покорно отдававшуюся ей, всецело ей принадлежавшую. По временам она вдруг наклонялась и целовала его злобными поцелуями. Ее рот раскрывался алчным кровавым оскалом, подобно цветку китайского гибиска, покрывавшего одну из стен дома. Она становилась тогда огненной дочерью оранжереи. Ее поцелуи распускались и увядали, как красные цветы этой огромной мальвы, которые живут лишь несколько часов и беспрерывно возрождаются, подобно смертоносным и ненасытным устам гигантской Мессалины.

Эмиль Золя

*Из романа «Проступок
аббата Мура»*

В этот час Альбина все еще бродила по Параду в немой агонии, словно раненное насмерть животное. Она больше не плакала. Лицо у нее совсем побелело, глубокая морщина прорезала ее лоб. За что должна она терпеть такую муку? В каком она повинна грехе, что сад внезапно перестал исполнять обещания, которые давал ей с самого ее детства? Вопрошая его, она все шагала вперед и вперед, даже не замечая аллей, мало-помалу погружавшихся в тень. А ведь она всегда была покорна деревьям! Она не помнила, чтобы ей когда-нибудь довелось сломать хоть один цветок. Она по-прежнему оставалась любимой дочерью всех этих зеленых растений, она слушалась их, повиновалась их велениям, вся отдавалась их власти, всем существом своим доверялась тому счастью, которое они ей сулили. Когда в последний день Параду крикнул ей, чтобы она легла под гигантским деревом, она легла и раскрыла объятия, лишь повторяя урок, подданный ей травами. Но если ей не в чем упрекнуть себя, значит, это сад предал ее и теперь терзал только ради удовольствия видеть ее страдания.

Альбина остановилась и поглядела кругом. В огромных темных кущах листвы таилось сосредоточенное молчание. Тропинки, вдоль которых высились темные стены, стали непроходимыми тупиками мрака. Вдалеке ровная пелена газона усыпляла пролетающий над нею ветер. И Альбина в отчаянии, с негодующим криком, простирала руки. Не может же это так закончиться! Но голос ее заглох в молчаливых чащах. Трижды заклинала она Параду дать ей ответ, но высокие ветви ничего ей не объяснили, ни один листок не пожалел о ней. Тогда она снова принялась бродить и тут почувствовала, что вокруг нее с роковой неизбежностью надвигается на землю зима. Теперь она больше не вопрошала землю голосом взбунтовавшегося создания; теперь ей слышался шепот, доносившийся с самой земли, прощальный шепот растений, желавших друг другу блаженной смерти. Упиваться солнцем всю теплую пору, всегда жить в цвету, всегда благоухать, а потом, при первом же страдании, уснуть с надеждою процвести где-нибудь в другом месте, — разве это не достаточно долгая, разве это не наполненная до краев жизнь? Упорст-

воват в желании продлить ее — значит только испортить прожитое! Ах, как сладко, должно быть, умереть, зная, что тебя ждет впереди лишь одна бесконечная ночь, во время которой можно грезить о кратком ушедшем дне, навеки закрепляя отошедшие мимолетные радости!

Альбина опять остановилась в великой, благоговейной сосредоточенности Параду; но на этот раз она уже не испытывала гнева. Ей казалось, что теперь она все поняла. Сомнения нет: сад уготовил ей смерть, как высшее наслаждение. Именно к смерти вел он ее таким нежным путем. После любви возможна одна лишь смерть. Никогда еще сад не любил ее так сильно! Обвиняя и упрекая его, она выказывала черствую неблагодарность. Она и теперь оставалась любимой дочерью сада. Молчаливая листва, затопленные мраком тропы, лужайки, где дремал ветерок, — все это затихло только для того, чтобы призвать ее вкусить радость долгого безмолвия. Они хотели, чтобы и она погрузилась вместе с ними в холодный покой. Они мечтали завернуть ее в сухие свои листья и так унести с оледеневшими, как вода источников, глазами, с окоченевшими, словно голые ветки, конечностями, с уснувшею, будто растительные соки, кровью. Она станет жить их жизнью до самого конца, до самой их смерти. Быть может, они уже решили, что будущим летом она станет розовым кустом в цветнике, или бледной ивой на лугу, или молодой березкой в лесу... Ей должно умереть: таков великий закон жизни.

И тогда, в последний раз, она принялась бегать по саду в поисках смерти. Какому душистому растению нужны ее волосы, чтобы усилить аромат его листьев? Какой цветок попросит у нее в дар атласную ее кожу, белоснежную чистоту ее рук, нежный оттенок ее груди? Какому больному кусту могла бы она отдать свою юную кровь? Она хотела быть полезной травам, прозябавшим на краю аллеи, она хотела бы убить себя так, чтобы из нее проросла великолепная, пышная, жирная зелень, куда в мае слетались бы птицы, а солнце дарило бы ей пылкие ласки свои! Но Параду долго еще оставался безмолвным, не решаясь сообщить ей, в каком прощальном лобзании он унесет ее с собой. Ей пришлось еще

раз обойти весь сад, еще раз проделать свое паломничество. Наступила почти полная тьма. Казалось, ночь постепенно вращалась в самую землю. Альбина вскарабкалась на большие скалы, расспрашивая их, помогаясь, не на их ли каменных ложах следует ей испустить свой дух. Замедляя шаг от страстного желания смерти, она обошла весь лес, поджидая, не обрушится ли какой-нибудь дуб, чтобы похоронить ее в своем величавом падении. Она обежала луга и, идя вдоль рек, наклонялась почти на каждом шагу, заглядывая в глубину вод — не приготовлено ли ей ложе среди водяных лилий? Но нигде смерть не обращала к ней своего призыва, не протягивала ей холодных своих рук. И все же Альбина не ошибалась! Именно он, Параду, должен был научить ее, как умереть. Ведь не даром же он научил ее любить! Она вновь стала пробираться сквозь кусты, сильно поредевшие по сравнению с тем, какими они были в те теплые утра, когда она еще только шла навстречу своей любви. И вдруг, в то самое мгновение, когда Альбина входила в цветник, она ощутила смерть в вечернем его аромате. И она побежала, смеясь радостным смехом: она должна умереть вместе с цветами!

Сначала Альбина устремилась к роще роз. Там, при последнем свете сумерек, она принялась раздвигать листву и срывать все цветы, томившиеся в предчувствии зимы. Она срывала их вместе со стеблями, не обращая внимания на шипы, она обрывала их прямо перед собой обеими руками, а чтобы достать те, которые росли выше ее, становилась на цыпочки или пригибала кусты к земле. Все это она делала с такой торопливостью, что ломала даже ветки, а ведь прежде она с уважением останавливалась перед самой малой былинкой. Вскоре она набрала полные охапки роз и даже зашаталась под тяжестью своей ноши. Она вернулась в павильон лишь после того, как опустошила всю рощу, захватила все, вплоть до упавших лепестков. Свалив свое цветочное бремя на пол комнаты с голубым потолком, Альбина снова поспешила в цветник.

Теперь она стала собирать фиалки. Она составляла из них огромные букеты, которые прижимала один за другим к груди... Потом набросилась на гвоздику и стала рвать и рас-

пустившиеся цветы, и бутоны, связывая гигантские снопы белой гвоздики, напоминавшей чашки с молоком, и красной гвоздики, походившей на сосуды с кровью. Потом Альбина совершила набег на левкой, ночные фиалки, гелиотропы, лилии. Она захватывала пучками последние стебли распутившихся левкоев, безжалостно уминая атласные оборочки цветов. Она опустошила клумбы ночных фиалок, полураскрывшихся к вечеру; сжала, точно серпом, целое поле гелиотропов и собрала в кучу всю свою жатву. Под мышками у нее были связки лилий, огромные, словно вязанки тростника. И, нагрузившись с ног до головы цветами, она поднялась в павильон и свалила возле роз все эти фиалки, гвоздики, левкой, ночные фиалки, гелиотропы, лилии. И, не успев перевести дух, опять сбежала вниз.

На этот раз Альбина направилась в тот печальный уголок сада, который служил как бы кладбищем цветника. Осень была жаркая, и на этом месте вновь выросли весенние цветы. Особенно жадно набросилась она на гряды с туберозами и гиацинтами. Она опустилась среди них на колени и рвала их с алчностью скупца. Туберозы были в ее глазах какими-то особенно драгоценными цветами, словно они капля за каплей источали золото и другие роскошные, необычайные блага. Гиацинты в жемчуге своих цветущих зерен походили на ожерелья, и каждый их перл должен был пролить на нее радости, неведомые прочим людям. И хотя Альбина вся исчезла в груде сорванных ею гиацинтов и тубероз, она все-таки добралась до поля маков, а затем ухитрилась опустошить поле с ноготками. Маки и ноготки она нагромодила поверх тубероз и гиацинтов и бегом вернулась с цветами в комнату с голубым потолком, оберегая свою драгоценную ношу от ветра, не давая ему похитить ни одного лепестка. А потом вновь сбежала вниз.

Что же теперь ей было срывать? Она собрала жатву со всего цветника. Встав на цыпочки и вглядываясь в еще не совсем сгустившуюся тьму, Альбина видела лишь мертвый цветник, лишенный нежных очей роз, красного смеха гвоздики, благовонных волос гелиотропа. Но не могла же она возвратиться наверх с пустыми руками. И она накинута

на травы, на зелень, она поползла по земле, точно желала в сладострастном объятии прижать к груди и унести с собою и самую землю. Она наполнила подол юбки пахучими растениями — мятой, вербеной, чебрецом. Встретила грядку калужера и не оставила на ней ни листка. Два огромных пучка укропа она перекинула через плечо, точно два деревца. Если бы это только было в ее силах, она зубами потащила бы за собой всю зеленую скатерть дерна. На пороге павильона Альбина повернулась и бросила последний взгляд на Парад. Уже совсем стемнело, ночь полностью вступила в свои права и набросила черное покрывало на землю. Тогда Альбина поднялась наверх и больше не возвращалась.

Вскоре большая комната сделалась очень нарядной. Альбина поставила на столик зажженную лампу и стала разбирать сваленные на пол цветы, связывая их большими охапками, которые она затем разложила по всем углам. Сначала позади лампы на столике она поставила лилии — высокий кружевной орнамент, смягчавший яркий свет белоснежной своей чистотой. Потом отнесла связки гвоздик и левкоев на старый диван. Его обивка и без того была испещрена красными букетами, увядшими и полинявшими еще сто лет назад. Теперь обивка эта исчезла под цветами, и весь диван превратился в груды левкоев, меж которыми пестрела гвоздика. После этого Альбина придвинула к алькову четыре кресла. Первое из них она нагроутила доверху ноготками, второе — маком, третье — ночными фиалками, четвертое — гелиотропом. Кресла потонули под цветами и казались огромными цветочными вазами; только кончики ручек выдавали их настоящее назначение. Наконец Альбина позаботилась и о кровати. Она подтащила к изголовью небольшой столик и навалила на него огромную охапку фиалок. А затем засыпала постель всеми сорванными ею туберозами и гиацинтами так густо, что цветы гроздьями свисали со всех сторон: возле изголовья, у ног, в промежутке от кровати до стены, повсюду. Вся кровать превратилась в огромную цветочную груды. Между тем, оставались еще розы. Альбина набросала их куда попало, не глядя: на столик, на диван, на кресла. Особенно густо завален был розами угол

постели. Несколько минут розы так и сыпались дождем, целыми букетами. Ливень тяжелых, как гроззовые струйки, цветов образовал целые озера в расщелинах между плитками пола. Но, так как куча роз почти не уменьшилась, Альбина стала плести гирлянды и развешивать их вдоль стен. Гипсовые амуры, резвившиеся над альковым, были теперь украшены гирляндами роз; венки повисли у них на шее, на бедрах, на руках. Голенькие их животики и ягодички оделись розами. Голубой потолок, овальное панно, обрамленные гипсовыми лентами телесного цвета, источенные временем эротические картины — все это скрылось под розовым покрывалом, под роскошным плащом из роз. Большая комната была красиво убрана. Теперь Альбина могла умереть в ней.

Девушка с минуту постояла, оглядываясь кругом. Она думала и доискивалась: найдет ли она здесь смерть? И она собрала пахучие травы — калуфер, мяту, вербену, чебрец, укроп, она стала мять и рвать их, скрутила жгутами и заткнула ими все самые незаметные щелочки и скважинки в дверях и окнах. Потом задернула грубо подрубленные белые коленкоровые занавеси. И ни слова не говоря, не издав ни вздоха, легла на кровать, на цветочное ложе из гиацинтов и тюбероз.

И тогда наступила последняя нега. Лежа с широко раскрытыми глазами, Альбина улыбалась комнате. Как она любила здесь, в этой комнате! И какой счастливою умирала в ней! В этот час ничто нечистое не исходило больше от гипсовых амуров, ничем соблазнительным не веяло от картин с раскинувшимися женскими телами. Под голубым потолком не было ничего, кроме удушающего аромата цветов. И аромат этот был, казалось, не что иное, как запах былой любви, теплота которой все время сохранялась в алькове, но запах, усилившийся во сто крат, покрепчавший почти до духоты. Не было ли это дыхание той дамы, что умерла здесь сто лет назад? А теперь то же самое дыхание уносило в царство восторгов и Альбину. Не двигаясь, положив руки на самое сердце, девушка продолжала улыбаться: она прислушивалась к шепоту ароматов в своей отяжелевшей голове. Все

кругом жужжало и шумело. Альбине чудилась какая-то странная мелодия ароматов, и эта мелодия медленно, очень нежно убаюкивала ее. Сначала шла детская веселая прелюдия. Руки Альбины, только что мяввшие пахучую зелень, выдыхали едкий запах раздавленных трав и рассказывали девушке о ее шаловливых прогулках посреди запущенного Парадю. Потом слышалось пение флейты: быстрые, душистые ноты вылетали из лежавшей на столике возле ее изголовья груды фиалок; эта флейта, казалось, выводила под мерный аккомпанемент благоухавших возле лампы лилий мелодию благовоний, она пела о первых восторгах любви, о первом признании, о первом поцелуе под высокими сводами рощи. Но тут Альбина стала задыхаться все больше и больше, точно страсть хлынула на нее вместе с внезапным вступлением пряного, острого запаха гвоздики, чьи трубные звуки покрыли на время все остальное. Когда слышались болезненные музыкальные фразы маков и ноготков, когда они мучительно напомнили ей о терзаниях страсти, Альбине показалось, что уже наступает последняя агония. И вдруг все утихло. Она стала дышать свободнее и погрузилась в сладостное спокойствие: ее убаюкивала нисходящая гамма левкоев, которая замедлялась и тонула, переходя в восхитительное песнопение гелиотропа, пахнувшего ванилью и возвещавшего близость свадьбы. Время от времени едва слышной трелью звенели ночные фиалки. Потом ненадолго воцарилось молчание. И вот уже в оркестр вступили дышащие истомою розы. С потолка полились звуки отдаленного хора. То был мощный ансамбль, и сначала Альбина прислушивалась к нему с легким трепетом. Хор пел все громче, и Альбина затрепетала от чудесных звуков, раздававшихся вокруг. Вот началась свадьба, фанфары роз возвещали приближение грозной минуты. Все крепче прижимая руки к сердцу, изнемогая, судорожно задыхаясь, Альбина умирала. Она раскрыла рот, ища поцелуя, которому суждено было задушить ее, — и тогда задышали гиацинты и туберозы, они обволокли ее своим дурманящим дыханием, таким шумным, что оно покрыло собою даже хор роз. И Альбина умерла вместе с последним вздохом увядших цветов.

Артур Джонан Дойль

Рассказ американца

— Чудно, конечно, — произнес наш янки в тот момент, когда я отворил дверь и вошел в комнату, в которой собралось наше небольшое полулитературное общество, — да, чудно, но я бы мог рассказать вам кое-что поинтереснее. Из книг, дорогие сэры, всего не узнаешь, нет. Я вам вот что скажу: в такие места, в каких мне довелось побывать, всякие там образованные, из тех, знаете, которые слова, как бисер, нанизывают, сроду не попадут. Там ребята простые, неотесанные, они и говорить-то толком не умеют, не то что пером по бумаге царапать; но вот если бы умели, они бы такое могли рассказать, что вам, европейцам, и во сне не приснится, это я вам точно говорю.

Звали его, по-моему, Джефферсон Эдамс; во всяком случае, инициалы его были Д. Э. Они и сейчас красуются на двери, ведущей в курилку, справа, вверх. Он вырезал их еще тогда и оставил нам в наследство вместе с узорами, артистически выполненными табачной жвачкой на нашем турецком ковре. Правда, если не считать этих сувениров, Д. Э. испарился из нашего сознания почти бесследно. Он сверкнул на тихом небосклоне нашей компании, как яркий метеор, и затерялся где-то во тьме окружающего мира. В тот вечер, однако, наш приятель из Невады был в ударе, и я тихонько, чтобы не прерывать его рассказ, закурил трубку и опустился на ближайший стул.

— Вы не думайте, — продолжал он, — я против этих ваших ученых ничего не имею. Если парень каждому зверю, каждому растению, от медведя до черники, может подобрать название, да еще такое, что на трезвую голову и не выговорить, — я к нему с дорогой душой, со всем моим уважением. Но если вам охота послушать что-нибудь эдакое, из ряда вон, идите к китобоям или поселенцам Дальнего Запада, к следопытам или ребятам из компании Хадсон-Бэй — одним словом, к людям, которые даже имя свое, и то с трудом могут накарывать.

Наступила пауза. Мистер Джефферсон Эдамс вытащил длинную сигару и закурил. Мы сохраняли полное молчание, так как знали, что стоит его перебить — и наш янки тотчас замкнется в себе. Он огляделся вокруг, с самодовольной

улыбкой отметил, что мы терпеливо ждем, и продолжал сквозь кольца сигарного дыма:

— Вот взять хотя бы вас, джентльмены, — кто из вас когда-нибудь был в Аризоне? Ручаюсь, что никто. Вообще из всех этих англичан и американцев, которые умеют водить пером по бумаге, — сколько их побывало в Аризоне? Раз-два — и обчелся! А я там был, джентльмены, я жил там, и как вспомню, чего я там насмотрелся, мне и самому не верится, что все это вправду было.

Да, вот это страна, доложу я вам! Я был одним из флибустеров Уокера, как нас тогда называли, когда же наше дело накрылось и шефа подстрелили, некоторые дали деру и обосновались в Аризоне. Настоящая англо-американская колония, вот как мы жили, вместе с женами, детьми и всякой всячиной. Наверное, там и сейчас есть кое-кто из наших стариков. Бьюсь об заклад, что они не забыли того случая, о котором я собираюсь вам рассказать. Не забыли и не забудут — до гробовой доски.

Так вот, об Аризоне. Я думаю, если бы я вообще больше ни о чем удивительном не рассказывал, вам бы и этого хватило под самую завязку. И подумать только, что такой край создан Господом для горсточки мексикашек и каких-то полукровок! Просто обидно, ей-Богу! Трава, например, едешь верхом, а она у тебя над головой смыкается, а леса такие, что неба сквозь деревья не видно на мили и мили вокруг, и орхидеи, как зонтики! А то еще такое растение — может, кто из вас видел, — его кое-где в Штатах мухоловкой называют?

— Дианеа мусципула, — пробормотал Доусон, самый ученый из нас.

— Вот-вот. «Диана мне всыпала», она самая! Сядет какая-нибудь муха на эту Диану, а лист — цап! — и складывается пополам. Все. Муха попалась. Лист ее расплющивает, перемалывает — точь-в-точь как осьминог своим клювом, и, если вы через несколько часов развернете лист, вы увидите, что муха растерзана в клочья и уже наполовину переварена. Так вот, в Аризоне я видел мухоловки, у которых листья достигали восьми, а то и десяти футов в длину, а шипы были с целый фут, а то и больше, представляете? Ведь такая

штука вообще может... А, черт, это я забегаю наперед!

Я хотел вам рассказать, как умер Джо Хоукинс. Ничего подобного вы в жизни не слыхали. Джо Хоукинса (его там прозвали Джо Алабама) в Аризоне каждая собака знала. Настоящий проходимец, другого такого подонка свет не видал. Причем заметьте: пока вы гладили его по шерстке, он был вполне приличным парнем, но стоило его чуть-чуть задеть, он сразу превращался в дикую кошку, даже еще хуже. Я видел, как он разрядил свою шестизарядную пушку в толпу людей только потому, что кто-то его толкнул в баре Симпсона, когда там были танцы; он пырнул ножом Тома Хупера за то, что тот нечаянно пролил виски ему на жилетку. Нет, он запросто мог укокошить кого угодно, этот Джо, и доверять ему никак нельзя было.

Так вот, в то время, о котором я рассказываю, когда Джо Хоукинс почем зря бахвалился своими шестизарядными игрушками и устанавливал в поселке свои законы, был там один англичанин по имени Скотт — Том Скотт, если не ошибаюсь. Этот парень, Том, был самый что ни на есть чистопородный британец (прошу прощения у присутствующих). Тем не менее, он не очень-то водился с тамошними англичанами — или, может, это они с ним не водились. Был он человек тихий, простой, этот Скотт, даже, пожалуй, слишком тихий для такой необузданной компании. Они его прозвали тихоней, только тихоней он не был, вот уж нет. Держался он в основном в сторонке и ни к кому не лез, пока его не трогали. Кое-кто говорил, что дома с ним не очень хорошо обошлись: он не то чартистом был, не то еще чем-то в этом роде — одним словом, ему пришлось уносить оттуда ноги; но сам он об этом никогда не рассказывал и никогда ни на что не жаловался. Везло или не везло, этот парень не падал духом.

Там, в Аризоне, все над ним за глаза потешались из-за того, что он такой тихий и вроде простоватый. Никто не разделял его забот, потому что, как я уже сказал, англичане его не считали за своего и часто подстраивали парню всякие шуточки. Он никогда не огрызался, со всеми был веж-

лив. Я думаю, эти ребята считали, что у него кишка тонка, пока он не доказал им, что они ошибаются.



В тот раз сыр-бор разгорелся в баре у Симпсона — с этого все и началось. Джо Алабама и с ним еще один или два буяна здорово взъелись на англичан и высказывали свое мнение, ничуть не стесняясь, хотя я их предупреждал, что это добром не кончится. Джо в ту ночь был пьян в стельку и слонялся повсюду со своим револьвером, ища, с кем бы затеять ссору. Потом он завернул к Симпсону, зная, что там наверняка будут англичане, так же, как и он, готовые к доброй драке. Так оно и вышло: их там околачивалось с полдюжины, а Том Скотт стоял один у печки. Джо подсел к столу и выложил перед собой нож и револьвер. «Вот мои аргументы, Джефф, — сказал он мне, — на тот случай, если какой-нибудь дохлый британец попробует со мной поспорить или меня надуть». Я пытался унять его, джентльмены, но Джо был не из тех, кого легко уговорить. Он понес такое, чего просто никто бы не стерпел. Да что там — самый паршивый мексикашка и тот взвился бы, если бы кто позволил себе такое сказать о его Мексикании. Натурально, в баре заварилась каша, все стали хвататься за оружие, но никто не успел еще вытащить пистолет, как вдруг от печки раздался спокойный голос: «Ты бы помолился напоследок, Джо, потому что, клянусь Небом, ты уже мертвец». Джо обернулся с таким видом, будто собирался пустить в ход все свои

железки, но не тут-то было: Том Скотт уже поднимался, держа его на прицеле своего «дерринджера». Бледное лицо Тома улыбалось, но что-то дьявольское светилось в его глазах. «Не скажу, чтобы старушка Англия очень мило со мной обошлась, — говорит, — но тот, кто посмеет в моем присутствии так о ней отзываться, может прощаться с жизнью». Я видел, как на секунду или две напрягся на спусковом крючке его палец, но потом Скотт рассмеялся и швырнул пистолет на пол. «Нет, — говорит, — не могу я пристрелить пьяного. Так и быть, уноси свою грязную жизнь, Джо, и постарайся употребить ее лучше, чем до сих пор. Сегодня ты стоял ближе к смерти, чем когда-либо был или будешь, пока не придет твой последний час. А теперь, я думаю, тебе лучше убраться отсюда подобру-поздорову. И не оглядывайся на меня, я не боюсь твоей пушки. Ведь наглец и задира всегда трус». Он с презрением отвернулся и раскурил от печки свою погасшую трубку, в то время как Алабама вышмыгнул из бара под громовой хохот англичан. Я видел его лицо, когда он проходил мимо: это было лицо убийцы, джентльмены. Убийство — вот что было написано яснее ясного на его лице.

Я остался в баре и видел, как Том Скотт, прощаясь, пожал руки всем, кто был рядом. Удивительно, но он улыбался и даже вроде был весел. Я знал характер Джо и понимал, что у этого англичанина мало шансов увидеть завтрашний день. Дело в том, что жил он в глухом углу, в стороне от дороги, и, чтобы добраться до дому, ему надо было пройти через Ущелье Мухоловок. Это мрачное, болотистое место, безлюдное даже днем; его избегали, потому что каждому становилось не по себе при виде того, как эти восьми- и десятифутовые листочки захлопываются, если их коснется какая-нибудь живность. Ну, а ночью там и подавно не было ни души. Кроме того, на болоте попадались трясины и топи: брось туда тело — и к утру его не будет. Я представлял себе, как Джо Алабама с револьвером в руке и со злобной гримасой ждет, затаившись под листьями Большой Мухоловки в самом темном месте ущелья; клянусь, джентльмены, я так живо себе это представлял, словно видел своими глазами.

Симпсон обычно закрывал бар около полуночи, так что нам пора уже было выметаться. Том Скотт, попрощавшись, быстро зашагал прочь — ему предстояло шагать целых три мили. Однако я успел ему сказать, когда он проходил мимо: «Держите свой “дерринджер” наготове, сэр, он может вам понадобиться». Том невозмутимо улыбнулся и исчез в темноте. Честно говоря, я уже не надеялся увидеть его снова. Он только ушел, а тут Симпсон подходит ко мне и говорит: «Хорошенькое дельце будет сегодня ночью в Ущелье Мухоловок, Джефф. Ребята говорят, что Хоукинс ушел туда с полчаса назад, чтобы дожидаться Скотта и подстрелить его. Как пить дать, завтра тут понадобится коронер».

Что же произошло в ущелье в ту ночь? На следующее утро этот вопрос вертелся у каждого на языке. Один метис прибежал в лавку Фергюсона, как только рассвело. Он сказал, что ему довелось быть неподалеку от ущелья около часу ночи; при этом он был так напуган, что едва можно было понять, что он лопочет. В конце концов, однако, мы разобрались — там в тишине ночи он слышал страшные крики. Никаких, говорит, выстрелов, но крики, один за другим, дикие, какие-то придушенные — вроде человеку серапе на голову накинули, и вроде у него боль — ну прямо смертельная! Эбнер Брэндон, я и еще несколько человек, которые как раз были в лавке в это время, сели на лошадей и поехали через ущелье к дому Скотта. На дороге ничего особенного — ни там крови, ни следов драки — ровным счетом ничего. А когда мы подъехали к дому, Скотт вышел нам навстречу, свеженький, как огурчик. «Привет, Джефф, — говорит. — Чего это вы все с пистолетами? Заходите, ребята, и пропустите стаканчик». Ну, я его спрашиваю: «Ты тут вчера ничего не слышал, а может, видел что, когда пришел домой?» — «Да нет, — говорит, — все было тихо. Вроде сыч кричал в ущелье, а так больше ничего. Давайте, ребята, слезайте с лошадей и промочите горло». — «Спасибо», — говорит Эбнер. Ну, мы спешили, а потом Том поехал с нами обратно в поселок.

Въехали мы на главную улицу, а там — страшный суд! Все американцы поселка прямо рехнулись: Джо Алабама про-

пал, ни слуху ни духу! Никто его не видел с той минуты, как он поехал в ущелье. Когда мы спешили перед баром, там уже набралась целая куча народу, и на Тома смотрят, прямо скажем, не по-хорошему. Защелкали курки, и Том, я вижу, тоже сунул руку за пазуху. И ни одного англичанина рядом. «Ну-ка, посторонись, Джефф Эдамс, — говорит мне Зебб Хамфри, негодяй, каких мало. — В этой игре твоей ставки нет. Скажите, ребята, неужели мы позволим, чтобы нас, свободных американцев, убивал какой-то паршивый англичанин?» Раздался треск, бросок, я и оглянуться не успел, как Зебб свалился с пулей в бедре, но сам Скотт тоже оказался на земле, и на него навалился добрый десяток американцев. Сопротивляться не было никакого смысла, так что он лежал спокойно. Сначала они вроде бы не знали, что с ним делать, но потом один из закадычных дружков Алабамы им выдал: «Джо пропал — это ясно как день, и вон лежит человек, который его ухлопал. Некоторые тут знают: вчера вечером Джо поехал в ущелье по делу; он так и не вернулся. Вот этот англичанин шел по ущелью после Алабамы, а перед тем они поссорились. Потом там, среди больших мухоловок, слышали отчаянные крики. Говорю вам, этот тип сыграл с бедным Джо подлую штуку: он его ухлопал и бросил в болото. Неудивительно, что тела нигде нет. А мы будем стоять в сторонке и смотреть, как англичане убивают наших товарищей? Черта с два! Пусть его судит судья Линч, вот что я вам скажу!» — «Линчевать его!» — заорала целая сотня злобных голосов — к тому времени вокруг нас уже собралась вся эта братия. «Тащите веревку, вздернем его на дверях бара!» — «Да нет, — говорит другой, — давайте повесим его в ущелье — у Большой Мухоловки. Пусть Джо видит, что мы за него отомстили. Это будет все равно, как мы его похоронили честь по чести». На том и порешили: ехать в ущелье и там беднягу Тома повесить. Привязали парня к седлу на его же мустанге; сзади и по бокам конвой, верхом, с револьверами наготове; мы ведь знали, что человек двадцать англичан суда Линча не признают.

Я поехал с ними, и сердце у меня прямо кровью обливалось за Тома, хотя сам он, похоже, ничуть не волновался —

вот что интересно! Вроде бы странно, джентльмены, — повесить человека на мухоловке, но она у нас была как настоящее дерево, а уж листья и шипы — так вообще...

Мы доехали по ущелью до того места, где она росла, тут мы ее и увидели, со всеми ее листьями — некоторые открыты, некоторые закрыты. Да только мы еще кое-что увидели, малость похуже: вокруг этого дерева стояли англичане, человек тридцать, и все вооруженные до зубов. Похоже было, что они нас поджидают, и вид у них был деловой — не просто так собрались. Ну, вижу, тут будет теплый разговор, теплей не бывает. Только мы подъехали, один шотландец, здоровый такой, с рыжей бородой — Камерон его звали, — выступил вперед, револьвер в руке и курок взведен. «Слушайте, ребята, — говорит, — вы ни одного волоска на голове этого человека не тронете. Вы еще не доказали, что Джо убит, а если бы и да, так вы еще не доказали, что это Скотт его убил. И вообще, это была самозащита — все вы знаете, что Алабама тут устроил засаду, он хотел пристрелить Тома, когда он будет возвращаться домой. Так что я повторяю, вы этого человека не тронете, и, кроме того, у меня здесь тридцать шестизарядных доводов против». — «Это интересная точка зрения, ее стоит обсудить», — говорит закадычный дружок Алабамы. Ну, тут заблестели ножи, защелкали курки, обе компании стали сближаться — и было очень похоже, что в Аризоне ожидается повышение уровня смертности. Скотт стоял позади всех, к уху его был приставлен пистолет, на тот случай, если он надумает пошевелиться, но парень выглядел совершенно спокойным, будто его денег на кону нет, и все это его ничуть не касается. И вдруг он как заорет — прямо как труба архангела в судный день. «Джо, — кричит, — Джо! Смотрите — в мухоловке!». Мы все обернулись туда, куда он показывал. Конец света! Этой картинке, наверное, никто из нас не забудет! Один большой лист, который лежал закрытым на земле, стал медленно раскрываться, разгибаясь на своих шарнирах, а там, в выемке, как младенец в колыбели, лежал Джо Алабама. Когда этот чертов лист открывался, огромные шипы медленно пронзили его сердце. Видно было, что Джо пытался вырваться: в руке у него тор-



чал нож, и мясистый лист был в нескольких местах рас-
сечен, но Алабама не успел освободиться: растение его за-
душило. Наверное, когда он поджидал Тома, он решил под-
стелить этот лист, чтобы не ложиться на сырую, болотис-
тую почву, а лист захлопнулся и поймал парня, как ваши
тепличные мухоловки ловят мух в оранжереях. Так мы и на-
шли его, размозженного, изжеванного гигантскими зубами
растения-людоеда. Вот, джентльмены, надеюсь, вы не стане-
те отрицать, что это удивительная история.

— А что же было с Томом? — спросил Джек Синклер.

— Ну, уж его-то мы обратно на плечах несли до самого бара — и он всем нам поставил выпивку. Еще и речь произнес, влез на стойку и произнес шикарную речь. Что-то о том, как британский лев и американский орел будут вечно идти рука об руку. А теперь, дорогие сэры, история была длинная, и сигаре моей пришел конец, так что, пожалуй, и мне пора восвояси. Спокойной ночи!

С этими словами он вышел из комнаты.

— Чрезвычайно интересно! — сказал Доусон. — Кто бы подумал, что дианеа может обладать такой силой!

— Экая дурацкая фантазия! — сказал юный Синклер.

— По всей видимости, это в высшей степени обстоятельный, правдивый человек, — сказал доктор.

— Или самый беспардонный лгун, — сказал я.

Интересно, кто из нас был прав.

Уил Робинсон

Дерево-людоед

Прежде, чем предать эти бумаги издевкам Великой Заурядности — ибо многие, боюсь, склонны будут счесть эту историю неправдоподобной — осмелюсь высказать свое мнение в отношении доверчивости, подобного которому мне прежде встречать не доводилось. Оно заключается в следующем. Представим себе высшую Мудрость и высшую Глупость как две противоположности, а меня самого как срединную величину между ними. В этом положении я с удивлением обнаруживаю, что по мере приближения к одному из полюсов доверительность моих близких увеличивается. Как ни парадоксально, *будь человек глупее или мудрее меня, он более доверчив*. Я привожу это наблюдение во благо тех представителей Великой Заурядности, каковые могли не заметить, что доверчивость сама по себе не является постыдной или достойной презрения; все зависит от характера, а не предмета веры, пусть верующий и тяготеет к мудрости или наоборот. В соответствии со своим восприятием невероятности сказанного ниже читатель, таким образом, может оценивать свою мудрость или глупость.

3. Ориэль

Перегрин Ориэль, мой дядя по матери, был великим путешественником, что и предрекали ему крестные у купели. И действительно, он более чем усердно обшаривал все уголки и закоулки земли. Но в рассказах о своих странствиях он, к сожалению, не придерживался благоразумных взглядов Ксенофонта, разделявшего «виденное» и «услышанное». Потому-то городские советники Брюнсбюттеля (каковым он показал утконоса, пойманного им живьем в Австралии, заработав славу «импортера искусственно выведенных зловердных хищников»), не были одиноки в своем скептицизме по поводу рассказов старика.

Кто, к примеру, поверит в историю о высасывающем людей досуха дереве, едва не лишившем дядюшку жизни? Сам он говорил, что оно «страшнее, чем анчар».

— Это ужасное дерево простирает свою величественную смертную тень в дебрях густых зарослей центральной Нубии; в соседстве с ним, страшись его отвратительных испарений, не произрастают никакие другие растения, питается же оно дикими животными, которые, спасаясь от погони

или полуденного зноя, ищут убежище под его толстыми ветвями; птицами, которые, порхая над поляной, оказываются в заколдованном кольце его власти и, ничего не подозревая, пытаются освежить себя нектаром из чаш его огромных воскоподобных цветков; и даже людьми, когда редкий заблудший дикарь ищет укрытия в бурю или, исколов ноги о колючую серебряную траву поляны, бросается к чудесным плодам, висящим среди удивительной листвы. Какие же у него плоды! Великолепные золотистые овалы, подобные громадным медовым каплям, вытянутые под собственным весом в форме полупрозрачных груш! Листва поблескивает от странной росы, что целыми днями капает на землю, орошая влажной траву; местами напоенные кровью, ярко-зеленые травянистые острия вздымаются так высоко, что теряются среди густой листвы чудовищного дерева и, словно ревностные стражи, хранят страшную тайну сокрытого в нем склепа, обвивая черные корни убийственного дерева непроницаемой и живой зеленой завесой.

Так он описывал растение. Заглянув позже в ботанический словарь, я узнал, что натуралистам и впрямь известно семейство «плотоядных» растений, но большинство из них очень малы и питаются лишь мелкими насекомыми. Мой дядюшка, однако, ничего об этом не знал, так как умер еще до открытия росянки и растений-ловушек. Его познания основывались на лично пережитом им жутком столкновении с деревом-кровососом. Существование его дядя объяснял оригинальными теориями. Он отрицал неизменность всех законов природы, кроме одного: сильные всегда будут стремиться съесть слабых. «Считая и эту неизменность саму по себе только средством более существенных общих изменений», он уверждал, что — поскольку любой изъян в способности к самозащите предполагал бы недостойную пристрастность Творца и поскольку инстинкты зверей и растений без сомнения аналогичны — «весь мир должен обладать одинаковыми ощущениями и восприятием». Развивая эту теорию (ибо для него она была чем-то большим, нежели «гипотезой») и продвигаясь на шаг или два далее, он начал верить, что «при наличии неотвратимой опасности или необходимости выжить

любое животное или растение способно в конечном итоге революционизировать свою природу; тогда волк станет питаться травой или гнездиться на деревьях, а фиалка вооружится шипами или будет ловить насекомых».

— Как можем мы, — спрашивал он, — приписывая человеку осознанное восприятие ощущений, одновременно отрицать, что звери, которые слышат, видят, осязают, обоняют и различают вкус, обладают принципом восприятия, соответствующим их чувствам? И если вся сфера «одушевленного» мира наделена даром защищать себя от истребления и нападать на слабого, почему «неодушевленный» мир, ведущий такую же ожесточенную борьбу за существование, должен оставаться беззащитным и безоружным? И я отрицаю это. Бразильский эпифит душил дерево и высасывал из него соки. Дерево же, пытаясь умиротворить паразитического вампира голодом, направляет свои соки в корни, пронзает почву в другом месте и питает течением соков новые побеги. Эпифит оставляет мертвые ветви и набрасывается на свежие зеленые побеги, прорастающие из земли под ним — и борьба продолжается. Взгляните на индийский фикус: чем ожесточенная устремленность его корней к далекому водоему отличается от вызывающих жалость усилия верблюда добираться до оазиса или армии Синаххериба — до спасительного Нила?

Лишены ли сознания мимозы? Я исходил много миль по их полям, наблюдая за ними, пока не начал опасаться, что растения наберутся смелости и восстанут против меня. Под моими стопами зеленый ковер бледнел и съеживался, становясь серебристо-серым. Я ощущал такое повсеместное отвращение к себе, что готов был воззвать к растениям; но все было напрасно. Даже тень протянутой руки ужасала растения до бесчувствия; при первом звуке моей речи листья сворачивались, а большие, пышные кусты, на чью крепость я по глупости надеялся, увядали в беспомощной мольбе, заслышав мои шаги. Ни единый лист не желал оставаться со мной. Мое дыхание отравляло саму жизнь. Мое присутствие парализовало их, и я был рад наконец оказаться среди менее боязливых растений и почувствовать, как злопамятная колкая тра-

ва мстит мне, неосторожно придавившему ее. Да, растительный мир способен на месть. Можно держать в клетке морскую свинку, но как приручить василиска? Небольшая мозаика в вашем саду может развлечь детей (которые находят удовольствие и в разглядывании корчащихся на булавках майских жуков), но как вы отнесетесь к растению, способному схватить бегущую антилопу или высасывать соки из человека, пока его плоть не станет такой же размякшей, как разум, так что все качества «одушевленного» существа не помогут ему вырваться из ужасных объятий — Господи упаси! — «неодушевленного» дерева?

— Много лет назад, — продолжал дядюшка, — я, не имея привычки сидеть на месте, отправился в Центральную Африку. Мое путешествие началось там, где река Сенегал впадает в Атлантический океан; я достиг Нила, обогнул Великую пустыню и по пути к восточному берегу добрался до Нубии. Со мной были трое туземцев-проводников: двое из них были братьями, а третий, Отона — молодой дикарь с Габонской возвышенности, еще мальчишка. Однажды я оставил мула с двумя мужчинами, занятыми установкой палатки, взял ружье и вместе с мальчиком пошел в заросли, которые заметил в отдалении. Подойдя ближе, я обнаружил, что лес разделен надвое широкой поляной. На ней паслось в тени небольшое стадо антилоп — лучшей дичи на ужин и пожелать нельзя. Я стал подбираться к ним. Стадо не замечало настоящей опасности, но держалось настороже. Антилопы неторопливо перебегали с места на место и я не меньше мили следовал за ними вдоль зарослей. Неожиданно я увидел посреди поляны одинокое дерево — одно-единственное. Я сразу же с удивлением понял, что никогда не встречал такие деревья; но я был поглощен добыванием дичи на ужин и потому лишь бросил на него беглый взгляд, чтобы удовлетворить свое любопытство: странно было видеть одинокое дерево с роскошной листвой в этом месте, где не росло, казалось, ничего, кроме колючего кустарника и древовидных папоротников.

Тем временем антилопы были уже на полпути между мной и деревом. Глядя на них, я понял, что они собираются

пересечь поляну. Прямо напротив в лес уходила прогалина, где я непременно потерял бы свой ужин. Я выстрелил в середину стада, двигавшегося вереницей, и угодил в молодого теленка. Остальная часть стада в порыве ужаса кинулась в сторону дерева, оставив теленка дергаться на земле. По моему приказу Отона побежал за подранком, но маленькое создание, увидев его, попыталось последовать за своими собратьями и довольно быстро побежало в их направлении. Стадо успело достигнуть дерева, но вдруг, вместо того, чтобы пробежать под ним, на бегу резко свернуло и пронеслось в нескольких ярдах от дерева.

Не то я сошел с ума, не то растение действительно пыталось поймать антилопу! Краем глаза я увидел — или вообразил, что увидел — как растение пришло в бурное волнение. Кусты вокруг недвижно стояли в вечернем воздухе, не было ни ветерка, но ветви дерева в каком-то внезапном порыве потянулись к стаду и в этом резком движении склонились почти до земли. Я потер глаза, на секунду закрыл их и снова посмотрел на дерево. Оно было неподвижно, как и я.

К нему приближался мальчик, увлеченный погоней за маленькой антилопой. Он протянул руки, надеясь поймать ее, но она выскользнула из хватки пылкого преследователя. Он вновь потянулся к ней, и снова она увернулась. Еще один прыжок, и в следующее мгновение мальчик и антилопа очутились под деревом.

Теперь я уже не сомневался в том, что увидел.

Дерево конвульсивно содрогнулось, наклонилось вперед, опустило до земли свои толстые, покрытые листвой ветви и скрыло от моего взгляда преследователя и добычу! Я был меньше чем в сотне ярдов от дерева, и из глубины листвы до меня отчетливо донесся страдальческий крик Отоны. Всего один сдавленный, приглушенный крик, и больше никаких признаков жизни — только листья волновались там, где ветви сомкнулись над мальчиком.

— Отона! — позвал я. Ответа не было. Я попытался позвать снова, но сумел лишь издать хрип, похожий на хрипение зверя, внезапно получившего смертельную рану. Я замер,

утратив всякое сходство с человеческим существом. Все ужасы мира вместе взятые не заставили бы меня оторвать взгляд от чудовищного растения. Ноги будто прилипли к земле. Я простоял так, вероятно, не менее часа: тени, выползшие из леса, наполовину скрыли поляну, прежде чем жуткий приступ страха отпустил меня. Мне хотелось убежать подальше, незаметно скрыться, но вернувшийся рассудок заставил меня подойти к нему. Мальчик мог попасть в логово хищного зверя; возможно, страшное подергивание листьев вызвала крупная змея, притаившаяся среди ветвей. Готовый к любой неожиданности, я приблизился к безмолвному дереву. Под ногами непривычно громко хрустела жесткая трава, цикады в лесу пронзительно пели, и воздух вокруг словно пульсировал звуковыми волнами. Вскоре мне открылась небывалая и ужасная правда.

Растение ощутило мое присутствие на расстоянии ярдов пятидесяти. Я заметил, что листья с широкими краями укордкой заволновались, напоминая дикого зверя, медленно просыпающегося после долгого сна или громадный, беспокойно извивающийся клубок змей. Приходилось ли вам видеть пчелиный улей на ветке? Пчелы льнут друг к другу, но достаточно потрясти ветку или рассеять рукой воздух, и все это скопление живых существ начинает угрюмо рассеиваться, и каждое насекомое обретает право двигаться. Ни одна пчела еще не покинула висящий улей, но целое постепенно наполняется мрачной жизнью, становясь ужасающим шевелящимся множеством...

Я остановился в двадцати футах от дерева. Все ветви дрожали от жажды крови и тянулись ко мне, беспомощно пригвожденные к месту корнями. Так «ужас глубин», которого страшатся моряки северных фьордов, укорененный на какой-нибудь подводной скале, тянет в пустое воздушное пространство свои изголодавшиеся щупальца, прозрачные и идущие волнами, как само море — раненый Полифем, на ощупь ищущий своих жертв.

Каждый листок трепетал и был голоден. Они соприкасались, как руки, их мясистые ладони обвивались друг вокруг друга, снова разворачивались, сжимались и вновь разжима-

лись, толстые, беспомощные, беспалые руки — точнее, даже губы или язычки, тесно усеянные маленькими чашеобразными впадинами. Шаг за шагом я подходил ближе, пока не увидел, что все эти мягкие жуткие рты находились в движении, непрерывно открываясь и закрываясь.

Я уже в десяти ярдах от протянувшейся дальше других ветви. Вся она истерически дергалась от возбуждения, волнение проходило по всей ее длине — зрелище мерзкое, но завораживающее. В голодном экстазе, мечтая добраться до находившейся так близко пищи, листья набросились друг на друга. Сталкиваясь лицом к лицу, они впивались один в другой с такой силой, что общая их толщина утончалась до половины, превращая два листа в один. Они завивались, как двойная раковина, корчились, как зеленый червь и наконец, ослабев от ярости конвульсий, медленно расцеплялись, словно отпадающие от тела, раздутые от крови пиявки. В ямках блестела липкая роса, перетекала через края и капала вниз с листьев. Звуки перетекавших с листа на лист капель походили на бормотание. Листья хватали висящие тут и там прекрасные золотистые плоды, на миг сжимали их, скрывая из виду, и так же внезапно выпускали. Большой лист, как вампир, высосал соки листа поменьше. Тот повис, вялый и обескровленный, как содранная с пушного зверька шкура.

Я пристально наблюдал за ужасной борьбой, пока напряженные, неверящие глаза не начали мне изменять. Я едва ли смогу описать, что увидел дальше. Дерево словно превратилось в живого хищника. Надо мной дрожала, ощущая добычу, большая ветка, и каждая из ее клейких рук тянулась ко мне, ощупывая воздух. Дерево билось, трепетало, качалось, вздымалось и отчаянно дергалось. Ветви, до безумия измученные близостью плоти, метались из стороны в сторону в агонии иступленного желания. Листья смыкались и выворачивались: так заламывает руки человек, потерявший рассудок от внезапного несчастья. Я чувствовал, как на меня падала из набухших вен тошнотворная роса. Одежда пропиталась странным запахом. Земля вокруг поблескивала животными соками.

Ошеломил ли меня ужас? Покинули ли меня чувства в час нужды? Не знаю — но дерево, казалось, пришло в движение. Наклонившись ко мне, оно будто выдергивало корни из увлажненной земли. Оно приближалось, нападало, это колоссальное чудовище с мириадами шепчущих хором губ, жаждущими моей крови!

В отчаянной попытке защитить себя от неминуемой смерти я выстрелил из ружья в надвигающийся ужас. Мои притупившиеся чувства восприняли звук выстрела как далекий, но благодаря удару от отдачи я сумел несколько прийти в себя. Отступив, я перезарядил ружье. Пули вошли в мягкое тело громадного существа. Раненый ствол содрогнулся, и по всему дереву пробежала внезапная дрожь. Упал плод, скользя по листьям — ставшим теперь жесткими и словно резными, со вздутыми венами. Затем одна из огромных рук медленно склонилась, беззвучно оторвалась от налитого соком ствола и мягко, бесшумно полетела вниз сквозь блестящую листву. Я выстрелил снова, и еще одна ветвь бессильно повисла — она была *мертва*. С каждым выстрелом ужасное растение лишалось крупницы жизни. Я расстреливал его по частям, убивая то лист, то ветвь. По мере расправы моя ярость росла; наконец патроны кончились, а величественный гигант, словно сметенный ураганом, превратился в руины. На земле, корчась, приподнимаясь и падая, задыхаясь, горой лежали сбитые пулями конечности. Одна из ветвей уронила в предсмертной агонии несколько раненых плодов. Посреди этой груды, испуская сок из всех сочленений, высился блестящий ствол.

Услышав стрельбу, один из моих людей прискакал на муле. После он рассказал, что не осмелился приблизиться ко мне, решив, что я обезумел. А я вытащил охотничий нож и начал сражаться — сражаться *с листьями*. Да, каждый лист был напоен чудовищной жизнью, и не раз я чувствовал, как они хватали меня за руку и будто впивались в нее острыми зубами. Не подозревая, что мой проводник рядом, я рванулся вперед по опавшим листьям и в последнем пароксизме ярости по рукоятку вонзил нож в мягкий ствол. Затем, скользявшись на быстро свернувшемся соке, я упал без соз-

нания и сил среди испускающих дух листьев.

Мои спутники отнесли меня в лагерь и после напрасных поисков Отоны стали дожидаться, пока я не приду в сознание. Прошло два или три часа, прежде чем я сумел заговорить, и лишь несколько дней спустя я заставил себя вернуться к ужасному существу. Без меня мои люди отказывались к нему подходить. Мы нашли его мертвым; когда мы вышли на поляну, яркая птица с большим клювом, спокойно клевавшая полуразложившийся плод, взлетела над остовом. Мы разворошили гниющую листву, и там, в глубине, среди мертвых листьев, все еще влажных от сока, обнаружили у корней груды ужасных останков многочисленных пиршеств и труп последней жертвы — маленького Отоны. Мы не могли задерживаться, готовя тело к погребению, и похоронили его, как нашли, с сотней вцепившихся в него листьев-вампиров.

Таков был, насколько мне помнится, рассказ моего дяди о дереве-людоеде.

Эдвард Пейдж Митчелл

Перелетное дерево

I

Полковник сказал:

— Несколько часов мы ехали верхом прямо от берега, направляясь к сердцу острова. Солнце стояло низко на западе, когда мы покинули корабль. Ни на воде, ни на суше не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. Все было залито сиянием. Над невысокой грядой холмов в глубине острова, в нескольких милях от нас, нависали облачка цвета меди. «Ветер», — сказал Брайери. Килуа покачал головой.

Растительность свидетельствовала о последствиях долгой засухи. Взгляд, не в силах на чем-либо остановиться, блуждал между болезненным красноватым подлеском, местами таким сухим, что листья и стебли хрустели под копытами лошадей, и желтовато-коричневыми, изнывающими от жажды деревьями, окаймлявшими верховую тропу. Ничто не зеленело, кроме колокольчатых кактусов, способных выжить и в кратере действующего вулкана.

Килуа наклонился в седле и сорвал с одного из этих растений налитую соком верхушку величиной с калифорнийскую грушу. Он раздавил колокольчик в кулаке и, повернувшись, плеснул в наши разгоряченные лица несколько благословенных капель воды.

После проводник быстро заговорил на своем языке, плавно произнося гласные. Брайери перевел мне его слова.

Бог Лалала полюбил женщину с острова. Он пришел в виде огня. Она, привычная к обычным температурам здешнего климата, только вздрагивала при его приближении. Тогда Лалала обрушился на нее проливным дождем и завоевал ее сердце. Какаль был гораздо более могущественным, но донельзя злобным божеством. Он также возжелал эту женщину, которая была очень красива. Настойчивые ухаживания Какаля были напрасны. В гневе он превратил женщину в кактус и погрузил ее корни в землю под палящим солнцем. Бог Лалала был бессилен предотвратить месть Какаля; но он стал жить с женщиной-кактусом в виде ливня, как и раньше, и никогда не покидал ее даже в самые засушливые

сезоны. И поэтому колокольчатый кактус служит неиссякаемым источником чистой прохладной воды.

Задолго до наступления темноты мы добрались до исчезнувшего ручья. Килуа вел нас несколько миль по его высохшему руслу. Наконец, когда мы совсем устали, он объявил остановку. Привязав запыхавшихся лошадей, Килуа углубился в густые заросли на берегу. Пройдя с сотню ярдов, мы добрались до бедной соломенной хижины. Дикарь поднял обе руки над головой и издал музыкальный фальцет, мало чем отличающийся от йодля, характерного для швейцарского кантона Вале. На этот крик из хижины вышла обитательница, и Брайери направил на нее свет своего фонаря. Это была отвратительная старуха, какая и больному дизентерией не привидится в самом страшном сне.

— Оманана гелаал! — воскликнул Килуа.

— Приветствую тебя, святая женщина, — перевел Брайери.

Между Килуа и святой ведьмой завязалась долгая беседа, уважительная с его стороны, нравоучительная и нетерпеливая с ее. Брайери слушал с жадным вниманием. Несколько раз он хватал меня за руку, словно был не в состоянии подавить свое волнение. Женщину, похоже на то, убедили доводы Килуа или смягчили его мольбы. Она указала на юго-восток и медленно произнесла несколько слов, которые, по-видимому, удовлетворили моих спутников.

Судя по направлению, указанному святой женщиной, наш путь по-прежнему лежал к холмам, но отклонялся градусов на двадцать или тридцать влево от первоначального курса.

— Вперед! Вперед! — вскричал Брайери. — Мы не можем позволить себе терять время.

II

Мы скакали всю ночь. На рассвете остановились едва ли на десять минут, позавтракав скудными припасами из наших рюкзаков. Затем снова вскочили в седла и вскоре очутились

в чаще, которая становилась все более и более густой; солнце палило все жарче.

— Возможно, — заметил я наконец своему неразговорчивому другу, — вы будете не против объяснить мне сейчас, почему два цивилизованных человека и один дружелюбный дикарь должны продираться сквозь эти джунгли, как будто речь идет о жизни и смерти?

— Да, — сказал он, — вам будет лучше узнать.

Брайери достал из внутреннего кармана письмо, истертое на сгибах от частого чтения и перечитывания.

— От профессора Квакверзуха из университета Упсалы, — продолжал он. — Получил его в Вальпараисо.

Он опасливо огляделся по сторонам, точно страшась, что каждый древовидный папоротник в этой тропической глуши может шпионить за нами или что похожие на капюшоны листья гигантских каладиумов над головой — это уши, готовые подслушать какую-нибудь важную научную тайну. Затем Брайери вполголоса прочитал отрывок из письма знаменитого шведского ботаника.

«На этих островах, — писал профессор, — вам представится редкая возможность проверить некоторые необычные сообщения, полученные мною много лет назад от миссионера-иезуита Буте, касательно Перелетного Дерева, *cereus ragrans* Янсениуса и других умозрительных физиологов.

Путешественник Шпор утверждает, что видел это дерево; но, как вы знаете, есть основания с осторожностью относиться ко всем заявлениям Шпора.

Иное дело — утверждения моего покойного уважаемого корреспондента, миссионера-иезуита. Отец Буте был ученым ботаником, точным наблюдателем и в высшей степени набожным и добросовестным человеком. Он никогда не видел Перелетное Дерево, но в ходе долгих трудов в этой части света собрал из самых разных источников массу свидетельств о его существовании и свойствах.

Неужели совершенно немыслимо, мой дорогой Брайери, что где-то в природе существует растение, которое по сложности своей организации и потенциальным возможностям настолько же превосходит, скажем, капусту, насколько

ко обезьяна превосходит полип? Природа непрерывна. Во всех ее замыслах мы не находим ни пропастей, ни пробелов. В наших книгах, классификациях и музейных шкафах могут иметься недостающие звенья, но в органическом мире их нет. Разве вся низшая природа не стремится вверх, чтобы достичь точки самосознания и волеизъявления? Почему же, в непрерывном процессе эволюции, дифференциации, совершенствования специальных функций растение не может достичь этой точки и чувствовать, желать, действовать, короче говоря, обладать характеристиками истинного животного и проявлять их?»

Голос Брайери задрожал от энтузиазма.

«Я не сомневаюсь, — продолжал профессор Квакверзух, — что, если вам посчастливится встретить экземпляр Перелетного Дерева, описанного Буте, вы обнаружите у него четко выраженную систему настоящих нервов и ганглиев, составляющих, по сути, вместилище растительного разума. Я заклинаю вас быть очень скрупулезным при его препарировании.

Согласно указаниям, предоставленным мне иезуитом, это необыкновенное дерево принадлежит к семейству кактусовых. Оно произрастает лишь в условиях сильной жары и сухости. Его корни, видимо, не более чем рудиментарны и не слишком надежно закреплены в земле. Дерево, как предполагается, способно разорвать связь с почвой по собственному желанию, взмыв в воздух и улетев в другое место, выбранное им самим, как птица меняет свое жилище. Я заключаю, что эти миграции осуществляются благодаря свойству выделять газообразный водород, с помощью которого дерево по своему желанию раздувает похожий на пузырь орган из высокоэластичной ткани, таким образом высвобождаясь из почвы и отправляясь к новому месту обитания.

По словам Буте, туземцы неизменно поклоняются Перелетному Дереву как сверхъестественному существу; тайна, окружающая этот культ, является величайшим препятствием на пути исследователя».

— Вот! — воскликнул Брайери, складывая письмо профессора Квакверзуха. — Неужели ради подобного поиска

не стоит рискнуть и даже пожертвовать жизнью?! Добавить к известным фактам морфологии растений доказанное существование дерева, которое странствует, дерева, которое желает, дерева, которое, возможно, мыслит — эту славу нужно завоевать любой ценой! Всеми оплакиваемый Декандоль из Женевы...

— Черт бы побрал всеми оплакиваемого Декандоля из Женевы! — вскричал я. Мне было невыносимо жарко, и поиск Брайери я считал бесплодной затеей.

III

На второй день нашего путешествия, незадолго до заката, Килуа, ехавший на несколько шагов впереди нас, издал короткий крик, спешил и припал к земле.

Брайери в одно мгновение оказался рядом с ним. Я последовал за другом, хотя и не с такой ловкостью; мои суставы с трудом разгибались, а для смазки их мне не хватало научной увлеченности. Брайери стоял на четвереньках, жадно изучая недавно потревоженный участок почвы. Дикарь распростерся ничком, уткнувшись лбом в пыль, словно в религиозном экстазе, и издавал те же фальцетные звуки, которые мы слышали в хижине святой женщины.

— Вы нашли след какого-то зверя? — осведомился я.

— Это не звериный след, — чуть ли не рассердился Брайери. — Видите эту широкую округлую проплешину на поверхности, где покоился тяжелый груз? А эти маленькие впадины в свежей земле, расходящиеся от центра, как лучи звезды? Это шрамы, оставленные тонкими корнями, вырванными из своих неглубоких ложбин. И поглядите, в какую истерику впал Килуа! Говорю вам, мы идем по следам священного дерева! Оно было здесь, и не так давно.

Следуя взволнованным указаниям Брайери, мы продолжили охоту пешком. Килуа направился на восток, я — на запад, а Брайери двинулся на юг.

В целях тщательного осмотра местности, мы договори-

лись продвигаться постепенно расширяющимися зигзагами, через определенные промежутки времени подавая друг другу сигналы револьверными выстрелами. Более глупой идеи и быть не могло. Через четверть часа я потерял голову и направление в чаще. На протяжении следующей четверти часа я несколько раз стрелял из револьвера, не получая никакого ответа ни с востока, ни с юга. До сумерек я безуспешно пытался вернуться к тому месту, где были привязаны лошади; а потом солнце зашло, оставив меня во внезапной темноте и одиночестве, в дикой местности, о масштабах и характере которой я не имел ни малейшего представления.

Я избавлю вас от рассказа о моих страданиях в течение всей той ночи, и следующего дня, и следующей ночи, и еще одного дня. Когда темнело, я бродил в слепом отчаянии, тоскуя по дневному свету, не смея ни заснуть, ни даже остановиться, и пребывая в постоянном ужасе перед неизвестными опасностями, окружавшими меня. Днем я тосковал по ночи — солнце пробивалось сквозь самый плотный покров роскошной листвы и едва не сводило меня с ума. Запасы провизии в моем рюкзаке были исчерпаны. Бутыль с водой осталась притороченной к седлу. Я бы умер от жажды, если бы мне не удалось дважды обнаружить колокольчатый кактус. То был ужасный опыт, но ни пытки голодом и жаждой, ни пытка жарой не могли сравниться с мучительной мыслью о том, что моя жизнь будет принесена в жертву бреду сумасшедшего ботаника, мечтавшего о невозможном.

Невозможном?

На второй день, все еще бесцельно блуждая по джунглям, я утратил последние силы и упал на землю. Отчаяние и безразличие уже давно уступили место страстному желанию конца. Я с неописуемым облегчением закрыл глаза; сознание начало покидать меня, и жар солнца на лице казался даже приятным.

Неужели красивая и нежная женщина подошла ко мне, пока я лежал без сознания, и положила мою голову себе на колени, и обняла меня? Прижалась ли она своим лицом к моему, шепотом прося меня набраться мужества? На миг, придя в себя, я проникся убежденностью, что так и было; я

схватился за теплые, мягкие руки и снова потерял сознание.

Не стоит так переглядываться и улыбаться, джентльмены: в этой жестокой пустыне, в моем беспомощном состоянии, я обрел жалость и милостивую нежность. В следующий раз, когда чувства вернулись ко мне, я увидел, что надо мной склонилось Нечто: величественное, путь и не красивое, человеческое, пусть и не человек, милосердное и женственное, пусть и не женщина. Руки, державшие и приподнимавшие меня, издавали слабый сладковатый запах, похожий на запах надушенных женских волос. Прикосновение их было лаской, пожатие — объятием.

Могу ли я описать ту форму? Нет, не с такой определенностью, что удовлетворила бы Квакверзуха и Брайери. Ствол, как я видел, был массивным; ветви, бережно и нежно удерживавшие меня над землей — гибкими и симметрично расположенными. Над моей головой нависал венок из странной листвы, а посреди него — ослепительный шар алого цвета. Алый шар рос, пока я наблюдал за ним, но постоянно наблюдать я оказался не в силах.

Не забывайте, пожалуйста, что я был истощен физически и измучен душевно; периоды сознания и забытья сменяли друг друга так же легко и часто, как сон сменяет бодрствование во время лихорадочной ночи. Казалось самой естественной вещью в мире, что в момент крайней слабости кактус любил меня и заботился обо мне. Я не искал объяснения этого удачного поворота судьбы и не пытался анализировать; я просто принял это как нечто само собой разумеющееся, как ребенок принимает неожиданный подарок. Единственная мысль, владевшая мной, заключалась в том, что я нашел неизвестного друга, наделенного женской симпатией и неизмеримо доброго.

И когда наступила ночь, мне показалось, что алый шар над головой невероятно раздулся, заполняя собой почти все небо. Неужели меня все еще держали и укачивали гибкие руки? Неужели мы вместе взмыли в воздух? Я не знал, да и не заботился об этом. То мне казалось, что я нахожусь в своей каюте на борту корабля, убаюканный морской зыбью; то

чудилось, что я разделяю полет какой-то огромной птицы или по собственной воле несусь с невероятной скоростью сквозь темноту. Ощущение непрекращающегося движения окрашивало все мои сны. Всякий раз, просыпаясь, я чувствовал, как в лицо мне дует прохладный ветерок — первый глоток свежего воздуха с тех пор, как мы высадились на берег. Я был неосознанно счастлив, джентльмены. Я снял с себя всякую ответственность свою судьбу. Я находился под защитой существа, обладающего высшей силой.

— Фляжку с бренди, Килуа!

Вокруг был свет дня. Я лежал на земле, и Брайери подерживал меня за плечи. Его лицо выражало замешательство, которое я никогда не забуду.

— Боже мой! — воскликнул он. — Как вы сюда попали? Мы прекратили поиски два дня назад.

Глотнув бренди, я пришел в себя, с трудом поднялся на ноги и огляделся. Причина крайнего изумления Брайери была очевидна с первого взгляда. Мы находились не в дикой местности, а на берегу бухты. Корабль стоял на якоре в полумиле от нас. С него уже спускали лодку.

А на юге, на горизонте, виднелось ярко-красное пятно, едва ли больше утренней звезды — Перелетное Дерево, возвращающееся в дебри. Я видел его, Брайери видел, видел и дикарь Килуа. Мы наблюдали за ним, пока оно не исчезло. Мы испытывали очень разные чувства: Килуа — суеверное благоговение, Брайери — научный интерес и сильное разочарование. Что же до меня, то мое сердце наполнилось удивлением и благодарностью.

Я сжал голову руками. Значит, это был не сон. Дерево, ласка, объятия, алый шар, ночное путешествие по воздуху не были порождениями бреда. Назовите это создание деревом или растением-животным — вот оно! Пусть ученые спорят, существует ли оно в природе. Я знаю одно: оно нашло меня умирающим и перенесло более чем за сто миль прямо к моему кораблю. По воле Провидения, джентльмены, этот чувствующий и разумный растительный организм спас мне жизнь.

Договорив, полковник встал и покинул клуб. Он был сильно взволнован. Немного погодя своей обычной бодрой походкой вошел Брайери. Он взял неразрезанный экземпляр «Путешествий по земле Кергуэлена» лорда Хвастингса и устроился в мягком кресле у камина.

К испытанному путешественнику робко приблизился молодой Трэддис.

— Простите меня, мистер Брайери, — сказал он, — но я хотел бы задать вам вопрос о Перелетном Дереве. Имеются ли научные основания полагать, что оно было женского...

— А, — со скучающим видом прервал его Брайери. — Полковник поделился с вами своим необычайным рассказом? Удостоил ли он меня чести вновь принять участие в этом приключении? Да? Ну что, на сей раз мы вернулись с добычей?

— Нет, к сожалению, — сказал молодой Трэддис. — В последний раз вы видели Дерево как алое пятно на горизонте.

— Ей-Богу, снова неудача! — сказал Брайери, спокойно начиная разрезать страницы книги.

Всеволод Гаршин

Красный цветок

I

— Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не держался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись: они едва держались на ногах после двух суток, проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился; где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город, так доставили и в больницу.

Он был страшен. Сверх изорванного во время припадка в клочья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб; он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников.

— Сведите его в отделение. Направо.

— Я знаю, знаю. Я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть, — сказал больной.

Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним; тою же быстрою, тяжелою и решительною походкою, вы-

соко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним.

— Позвони. Я не могу. Вы связали мне руки.

Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу.

Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала, один — столовая, другой — общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянною дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая тюфяками, другая досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами — ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. В небольших каморках было по четыре и по пяти кроватей; зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.

Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, сделанным в углу, окном; стены и своды были выкрашены темно-красною масляною краскою; в почерневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачною физиономиею увеличивал впечатление.

И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно с системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенною от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол; наконец четверо повалили его, и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представления, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и, наконец, тихо, с горячими слезами, проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью:

— Святой великомученик Георгий! В руки твои предаю тело мое. А дух — нет, о нет!..

Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало.

— За что? За что? — кричал он. — Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О-о-о! О Господи! О вы, мучимые раньше меня! Вас молю, избавьте...

Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать.

— Ничего не поделаешь, — сказал производивший операцию солдат. — Нужно стереть.

Эти простые слова привели больного в содрогание. «Сте-

реть!.. Что стереть? Кого стереть? Меня!» — подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку и верхний слой кожи и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показала больному конец всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его нагое тело покатилося по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон.

II

Он очнулся ночью. Все было тихо; из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату, да сверху, из женского отделения, хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах; шея его сильно болела.

«Где я? Что со мной?» — пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенною яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом.

— Но это кончено, слава Богу, это кончено! — прошептал он и снова уснул.

Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими зданиями и каменной оградой; в этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшею в то время года... За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев

большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками; слева — белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна внутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное, бледное лицо больного с закрытыми глазами; теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий, тяжелый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем, чтобы утром встать с постели прежним безумцем.

III

— Как вы себя чувствуете? — спросил его на другой день доктор.

Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом.

— Отлично! — отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат.

— Прекрасно! Только одно: вот!

Он показал себе на затылок.

— Я не могу повернуть шеи без боли. Но это ничего. Все хорошо, если его понимаешь; а я понимаю.

— Вы знаете, где вы?

— Конечно, доктор! Я в сумасшедшем доме. Но ведь, если понимаешь, это решительно все равно. Решительно все равно.

Доктор пристально смотрел ему в глаза. Его красивое холерное лицо с превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал.

— Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе, — продолжал больной, — а я ясно читаю в вашей! Зачем вы делаете зло? Зачем вы собра-

ли эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно: я все понимаю и спокоен; но они? К чему эти мученья? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить... Ведь так?

— Может быть, — отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктора фельдшер и надзиратель продолжали стоять навытяжку у дверей.

— И у меня она есть! — воскликнул больной. — И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает, как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же. Но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно...

— Вы сказали, — перебил его доктор, — что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь, — доктор вынул часы, — половина одиннадцатого 6-го мая 18** года. Что вы думаете об этом?

— Ничего. Мне все равно, где ни быть и когда ни жить. Если мне все равно, не значит ли это, что я везде и всегда?

Доктор усмехнулся.

— Редкая логика, — сказал он, вставая. — Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли вы сигарку?

— Благодарю вас. — Он остановился, взял сигару и нервно откусил ее кончик. — Это помогает думать, — сказал он. — Это мир, микрокосм. На одном конце щелочи, на другом

— кислоты... Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор!

Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидала его, вытянувшись у своих коек. Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных.

А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай; он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своею быстрою и тяжелой походкой из конца в конец всего здания. День был дождливый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора; он стоял здесь, прильнувши лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака.

— Пожалуйста взвесьтесь, — сказал фельдшер, трогая его за плечо.

И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но увидав фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет; больной сам встал на платформу небольших десятичных весов: фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов. На другой день было 107, на третий 106.

— Если так пойдет дальше, он не выживет, — сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше.

Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетит больного, он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении.

IV

Он сознавал, что он в сумасшедшем доме; он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день; вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления; больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странною смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде или о котором читал или слышал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом иступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей; видел в вещах всю их историю; большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого; здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду; вся история дома и сада была написана на них. Он населил ма-

ленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходящее из ее подвала в уголок сада, видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах.

Между тем наступила ясная, хорошая погода; больные целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду; целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком; вдоль него тянулись аллеи из вязов; посередине, на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду; яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь.

Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступеней крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два; случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их.

Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый белый, вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной, само собою разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче.

— Он побеждает, — сказал больной, — но мы посмотрим.

И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание. Голова его закружилась; он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его.

— Нельзя рвать, — сказал старик-хохол. — И на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется: каждый по цветку, весь сад разнесут, — убедительно сказал он, все держа его за плечо.

Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. «О несчастные! — думал он. — Вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно...»

Он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо-таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим и к концу дня еще более убедился, что «все готово», как он сказал сам себе. Скоро, ско-

ро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте. Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел как смерть и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу.

В больнице зажгли лампы; в ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом: казалось, он хотел раздавить, разможжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. «Не подходите, не подходите!» — кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание. И он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше, ходил час, два с каким-то остервенением.

— Я утомлю тебя. Я задушю тебя! — глухо и злобно говорил он.

Иногда он скрежетал зубами.

В столовую подали ужинать. На большие столы без скатертей поставили по несколько деревянных крашеных и золоченых мисок с жидкою пшенной кашецею; больные уселись на лавки; им раздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую.

— Позвольте мне сесть здесь, — сказал он надзирателю.

— Разве вы не ужинали? — спросил надзиратель, разли-

вая добавочные порции каши в миски.

— Я очень голоден. И мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище; вы знаете, что я совсем не сплю.

— Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба.

Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши.

— Ну, довольно, довольно, — сказал, наконец, надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. — Объединитесь.

— Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил! Прощайте, Николай Николаич, — сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя. — Прощайте.

— Куда же вы? — спросил с улыбкой надзиратель.

— Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту.

И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал, на глазах выступили слезы.

— Успокойтесь, милый, успокойтесь, — отвечал надзиратель. — К чему такие мрачные мысли? Подите, лягте да засните хорошенько. Вам больше спать следует; если будете спать хорошо, скоро и поправитесь.

Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказывать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал как в лихорадке и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом.

V

Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сде-

лать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало, — нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит — тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира.

— Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть.

И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло верх, он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад; доктор, видя, что вес его уменьшается, а он все не спит и все ходит и ходит, приказал выпрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся: к счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул; бешеное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создавшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать.

Однако он сорвал его через три дня, на глазах у старика,

не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди.

— Ты зачем цветы рвешь? — спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змей, ползучими потоками извивается зло; они опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную. Бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и наконец превратился в нежный снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло.

На другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он, уже шатающейся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил, говорил без конца.

— Мне не хотелось бы прибегать к насилию, — сказал своему помощнику старший доктор.

— Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем девяносто три фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня.

Старший доктор задумался.

— Морфий? Хлорал? — сказал он полувопросительно.

— Вчера морфий уже не действовал.

— Прикажете связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел.

VI

И больного связали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху, на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие, непонятные речи.

— О, щоб тобі!.. — закричал вошедший сторож. — Який тобі бис помогає! Грицко! Иван! Идите швидче, бо вин развазавсь.

Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего.

— Вы не понимаете, что вы делаете! — кричал больной, задыхаясь. — Вы погибаете! Я видел третий, едва распустившийся. Теперь он уже готов. Дайте мне кончить дело! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будет кончено, все спасено. Я послал бы вас, но это могу сделать только один я. Вы умерли бы от одного прикосновения.

— Молчите, паньч, молчите! — сказал старик-сторож, оставшийся дежурить около постели.

Больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож постлал что-то около постели и улегся. Через минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу.

Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладки постели, и, нащупав ее спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахи кистью руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил ука-

зательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел, стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь: она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его, он не посмел обыскивать карманы и решил уйти из комнаты через окно.

Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто; звезды блестели на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решетки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после — хоть смерть.

Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не поддавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, он зацепил ею за выкованное на конце прута копые и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копые согнулось; узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо; огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания; в них не было видно никого. Никто не заметит его; старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца.

— Я иду к вам, — прошептал он, глядя на небо.

Оборвавшись после первой попытки, с оборванными ногтями, окровавленными руками и коленями, он стал искать удобного места. Там, где ограда сходилась со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез

на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю.

Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на росистой траве.

— Последний! — прошептал больной. — Последний! Сегодня победа или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите, — сказал он, глядя на небо: — я скоро буду с вами.

Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату. Старик спал. Больной, едва дойдя до постели, рухнул на нее без чувств.

Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу.

Жорис Харл Тюисманс

Из романа «Наоборот»

Дез Эссэнт всегда безумно любил цветы, но в Жютиныи страсть распространялась на каждый цветок, без различия видов и жанров; в конце концов, она очистилась, сосредоточилась на единственной касте.

Уже давно он презирал вульгарные растения, распускавшиеся на лотках парижских рынков в мокрых горшках, под зеленой парусиной или под красноватыми зонтами.

Одновременно с утончением его литературного вкуса и любви к живописи, когда он стал предпочитать только процеженные произведения, те, что прошли своеобразную перегонку сквозь изощренный мозг творца; одновременно с укрепившимся отвращением к распространенным идеям освобождалась от всяких отбросов, от всевозможной дряни, прояснялась и в какой-то мере очищалась его привязанность к цветам.

Он с удовольствием сравнил бы магазин садовода с микрокосмом, где были представлены все категории общества: цветы-подонки, цветы трущоб, находящиеся в своей истинной стихии, лишь когда покоятся на выступах мансард; с корнями, окруженными в ящиках из-под молока и старых мисках: левкой, например; цветы претенциозные, приличные, глупые (им место только в фарфоровых кашпо, расписанных девицами) — скажем, роза; наконец, высокородные цветы, такие, как орхидеи, хрупкие, прелестные, трепетные, зябкие — экзотические цветы, изгнанные в парижские оранжереи, в стеклянные дворцы, принцессы растительного царства, живущие в стороне, не имеющие общего с уличными растениями, с буржуазной флорой.

В общем, он чувствовал лишь слабый интерес, лишь легкую жалость к простонародным цветам, истощенным дыханием людского сброда, испарениями помойных свинцовых желобов; и гнушался букетов, гармонирующих с кремово-золотыми салонами новых домов; для наслаждения глаз дез Эссэнт сохранял только изысканные, редкостные, прибывшие издалека растения, удостоенные хитроумно-тщательного ухода на искусственных экваторах, которых добиваются умелой дозировкой печного дыхания.

Но под влиянием его общих идей, его сложившихся

мнений обо всем, вкус изменился. Когда он жил в Париже, естественная склонность к искусственному привела к тому, что он предпочел настоящему цветку его точный образ, полученный благодаря фокусам каучука, ниток, лощеного перкаля и тафты, бумаги и бархата.

Он обладал изумительной коллекцией тропических растений, сделанных руками гениальных художников, следующих за природой по пятам, создавая ее заново, заботясь о цветке с самого рождения, доводя его до зрелости, симулируя даже его закат; они дошли до того, что отмечали бесчисленные оттенки, самые беглые черточки пробуждения и отдыха; наблюдали за поведением лепестков, взметенных ветром или измятых дождем; бросали на рассветные венчики капельки росы из камеди; вылепливали буйно цветущие растения, когда стебли сгибаются под тяжестью сока; или же выпрямляли сухой стебель, его скрюченные чашечки, когда те обнажаются и когда листочки опадают.

Это восхитительное искусство долго соблазняло его; но теперь он мечтал о комбинациях иной флоры.

После искусственных цветов, подражающих истинным, он захотел настоящих, имитирующих искусственные.

Он направил мысли по этому руслу; долго искать, забираться далеко не пришлось: его дом стоял посреди края великих садоводов.

Он побродил по теплицам улицы Шатийон и долины Онэ, вернулся усталый, с пустым кошельком, в восторге от сумасбродств виденных растений, думая только о приобретенных сортах, осажденный бесконечными воспоминаниями о фантастических корзинах.

Через два дня прибыли повозки.

Со списком в руках дез Эссэнт произносил названия, проверяя одну за другой свои покупки.

Садоводы спустили с тележек коллекцию *Caladium*: огромные листья в форме сердца опирались на вспученные мохнатые стебли; не было никакого повтора, хотя все принадлежали к одному виду.

Там были просто поразительные: розоватые, вроде «Девственницы», казалось, выкроенные из лакированной ткани,

из прорезиненной английской тафты; совершенно белые, как, скажем, «Альбан», словно вырезанные из просвечивающей подреберной плевы быка или мочевого пузыря свиньи; некоторые, особенно «Мадам Мам», имитировали цинк, пародировали куски штампованного металла, окрашенного в императорскую зелень, загрязненного каплями масляных красок, пятнами сурика и свинцовых белил; одни, как «Босфор», давали иллюзию накрахмаленного коленкора, испещренного ярко-малиновой и миртово-зеленой отделкой; другие — «Северное Сияние» — кичились листьями цвета жареного мяса, изборожденного пурпурными прожилками, фиолетовыми волоконцами; листьями, похожими на опухоль, воняющими синим вином и кровью.

«Альбан» и «Северное Сияние» представляли две противоположные ноты темперамента: апоплексию и хлороз этого растения.

Садоводы понавозили и других редкостей; на этот раз растения притворялись искусственной кожей, изборожденной фальшивыми венами; многие, как бы пораженные сифилисом и проказой, напрягали бледную плоть, омраморенную корью, разузоренную лишаями; иные обладали свежим оттенком затягивающихся шрамов или коричневым нюансом образующихся корок; те закипали фонтанелями, приподнимались ожогами; эти — демонстрировали волосатую кожу, разрытую язвами, изъеденную шанкрами; прочие казались перевязанными ранами, бинтами, приклеенными черным ртутным салом, зелеными мазями белладонны, истыканной крупными пылью и желтыми крошками йодоформа.

Поставленные в ряд, цветы засверкали перед дез Эссэном, еще более чудовищные, чем показалось на первый взгляд, когда они были смешаны с другими, словно в больнице, среди застекленных залов оранжереи.

— Черт возьми! — воскликнул он в восторге.

Новое растение, подобное *Caladium* — *Alocasia Metallica* — доставило новую радость. Оно было покрыто бронзово-зеленым слоем, по нему скользили серебристые отсветы; то был шедевр фальши: точно кусок печной трубы, вырезанный мастером в виде наконечника копья.

Еще садоводы выгрузили кустики с ромбовидными, бутылочно-зелеными листьями; в центре поднимался жезл; на конце его вздрагивал огромный червовый туз, лакированный, словно индийский перец; как бы для того, чтобы бросить вызов всем известным сортам растений, из ослепительно алой сердцевины туза выскакивал мясистый хвост, покрытый волосками: желто-белый и прямой у одних; закручивающийся штопором в самом верху сердечка, словно хвост свиньи — у других.

Это был *Anthurium* из рода арондниковых растений, завезенный во Францию из Колумбии; из той же семьи, что и *Amorphophallus*, растения из Кохинхины, с листьями в форме лопатки для рыб, с длинными черными стеблями, простроченными шрамами, которые походили на изувеченные члены негра.

Дез Эссэнт готов был прыгать от радости.

С повозок спустили новую партию монстров: *Echinopsis* (из ватных компрессов выступали цветы, обладающие мерзким оттенком ампутированных конечностей); *Nidularium* с ободранной зияющей сердцевиной между саблевидных стеблей; *Tillandsia Lindenii*, вытягивающий зазубренные скребки цвета виноградного сока; *Syrigipedium* с затейливыми бесвязными контурами, придуманными сумасшедшим изобретателем. Это напоминало сабо, корзинку для мелочей, над которой вздымался человеческий язык, натянутую уздечку языка, какую обычно изображают на таблицах, иллюстрирующих заболевания горла и рта: два крылышка, красных, как юуба и, казалось, заимствованных из игрушечной мельницы, довершали эту причудливую конструкцию, состоящую из изнанки языка цвета дрожжей и аспиды и блестящего кармашка, подкладка которого выделяла липкость.

Невозможно было оторвать глаза от этой неправдоподобной орхидеи, родившейся в Индии; его медлительность раздражала садоводов, они сами начали выкрикивать названия, обозначенные на этикетках горшков.

Дез Эссэнт ошеломленно смотрел и слушал отвратительные имена растений: *Encephalartos horridus* — гигантский железный артишок, изрисованный ржой, наподобие тех, что

используют в воротах замков, чтобы воспрепятствовать вторжению воров; *Cocos Micania* — нечто вроде кружевной ху-дощавой пальмы, со всех сторон окруженной вытянутыми листьями, похожими на дикарские гребки и весла; *Zamia Lehmanni* — огромный ананас, дивный честерский хлеб, посаженный в вересковую почву и ошетилившийся вверху зубчатыми дротиками и варварскими стрелами; *Cibotium Spectabile*, превосходящий своих собратьев безумием структуры, бросающий вызов мечте, оживляя лапчатые листья гигантским хвостом орангутанга, волосатым и коричневым, с кончиком, искривленным, как епископский посох.

Но он не слишком внимательно их разглядывал, ибо с нетерпением ожидал серию наиболее соблазнительных растений — своего рода духов, пожирающих тела погребенных; мясоедные: антильские Кутры с мохнатым венчиком, выделяющим пищеварительную жидкость, были вооружены кривыми шипами (их переплетение образовывало решетку над пленным насекомым); торфяные Росянки, снабженные железистыми волосками; Саррацены, Цефалотосы, развешивающие прожорливые рожки, способные поглощать и переваривать настоящее мясо; наконец, Кувшинолистник — здесь уж фантазия выходит за пределы всех эксцентричных форм.

Он не уставал вертеть в руках горшок, где двигалась эта экстравагантность флоры. Она имитировала каучук, позаимствовав его продолговатый, металлически-зеленый и темный лист; но с края этого листа свешивалась зеленая веревочка, спускалась пуповина, поддерживающая зеленоватую вазу с фиолетовыми крапинками, что-то вроде немецкой бочки из фарфора, странного птичьего гнезда; оно преспокойно раскачивалось, обнажая сердцевину, устланную шерстью.

— Эта штукавина далеко зашла, — прошептал дез Эс-сэнт.

Он вынужден был оторваться от радостного созерцания, потому что садоводы, торопясь смотаться, опорожняли днища повозок, нагромождая в беспорядке клубневидные Бегонии и черные Кротоны, покрытые, как жесь, свинцово-красными пятнами. И тут он заметил, что на его листе оставалось еще одно название. Катлейя из Новой Гренады: ему по-

казали крылатый колокольчик цвета поблекшей сирени, почти погасшего голубовато-розового оттенка; он подошел, понюхал и отпрянул: выделялся запах лакированной елки, ящичка для игрушек, воскрешая ужасы Нового года.

Хорошо бы избавиться от нее; дез Эссэнт почти жалел, что принял в общество растений, лишенных запаха, эту орхидею, пахнущую самыми неприятными из воспоминаний.

Оставшись один, посмотрел на прилив, бушующий в вестибюле: растения смешивались друг с другом, скрещивали свои шпаги, криссы, копыя, выстраивали пирамиду из зеленого оружия; над нею, словно варварские значки, развевались цветы слепяще резкой окраски.

Воздух комнаты разрежался; вскоре в темноте угла, возле паркета, стал стлаться белый мягкий свет.

Приблизившись, дез Эссэнт заметил, что это Ризоморфы отбрасывали во время дыхания отблески ночников.

Тоже поразительные растения, подумал он; потом отошел и обвел взглядом всю грудку. Цель была достигнута: ни одно не казалось реальным; ткань, бумага, фарфор, металл — все словно одолжил природе человек, позволяя ей создать монстров. Если ей не удавалось имитировать творения человека, она довольствовалась копированием слизистой оболочки животных, заимствовала живые оттенки их гниющей плоти, великолепные мерзости их гангрены.

Все является только сифилисом, подумал дез Эссэнт (взгляд его был притянут, прикован к страшным узорам *Caladium*, ласкаемых дневным лучом). И внезапно возник призрак человечества, которое без конца разъедал вирус прежних веков. С начала мира, от отца к сыну, все создания передавали друг другу неисчерпаемое наследство, вечную болезнь, обезобразившую и предков человека; следы ее зубов замечаются даже на вырытых теперь костях ископаемых.

Не истощаясь, она промчалась сквозь века; еще сегодня свирепствовала, принимая облик иных страданий, скрываясь под симптомами мигрений и бронхитов, истерик и подагры; время от времени выбиралась на поверхность, атакуя преимущественно плохо ухоженных, скверно накормленных людей, вспыхивая золотыми монетами, иронично украшая

диадемой из цехинов альмеи лоб нищих, гравирова на их коже, к вящему несчастью, образ денег и благосостояния.

И вот она возникла в первоначальной величии на окрашенной листе растений!

— Правда, — продолжал дез Эссэнт, вернувшись к истоку своих размышлений, — правда, обычно природа не способна самостоятельно сотворить столь злобные, столь извращенные виды; она предоставляет изначальный материал: росток и почву, мать-кормилицу и элементы растения, которое человек затем растит, формирует, рисует, лепит по своему усмотрению. При всем своем упрямстве и ограниченности она, наконец, подчиняется, и ее господину удастся изменить с помощью химических реакций субстанции земли, испортить долго назреваемые комбинации и медленно осуществляемые скрещивания; искусными черенкованиями и методическими прививками он заставляет ее выпускать разноцветные цветы на одном стебле, изобретает для нее новые нюансы, изменяет по своей прихоти извечную форму растений, шлифует блоки, придает законченность эскизам, отмечает их своей пробойкой, оставляет на них свою печать.

Нечего сказать, подумал он, резюмируя свои размышления, человек способен за несколько лет произвести селекцию, для которой ленивой природе понадобились бы века; определенно, современные садоводы — единственные настоящие художники.

Лоси Т. Хопер

Карниворина

Прошлой осенью я, Эллис Грэхем, будучи человеком среднего возраста и располагая достатком и досугом, решил отправиться в Рим с целью изучения города для задуманной мною истории семейства Ченчи. Конечно, я никак не мог ожидать, что на меня будет возложена столь важная, можно сказать, судьбоносная задача, касающаяся других людей. Но отказаться от этой миссии я был не вправе. Я знал семью Ламберт много лет и всегда питал теплую дружбу к мистеру и миссис Ламберт — дружбу, которую после кончины первого я сохранил по отношению к его вдове. А Джулиус, их старший сын, ребенком был моим большим любимцем, хотя я и не мог полностью разделить его увлечение научными занятиями и в частности ботаникой. Однако следует признать, что его исследования формирования и функций растительного царства привели к некоторым любопытным открытиям. Но эти открытия только пробудили в нем, когда он повзрослел, неудержимое стремление к дальнейшим успехам в той же области. Я никогда точно не понимал, в каком направлении развивались его исследования, но знал, что он глубоко интересовался теориями Дарвина и в связи с этим поставил перед собой какую-то непостижимую проблему, которую пытался разрешить. Он вел такую уединенную жизнь, запершись со своими растениями и теориями, что я совершенно потерял его из виду на несколько лет, хотя все еще продолжал навещать миссис Ламберт.

Накануне отъезда в Европу я был немало удивлен, получив от моей старой подруги несколько торопливых строк: она просила меня зайти повидаться с ней перед отъездом и назначить мой визит на следующий вечер. Я откликнулся на зов и застал эту обыкновенно безмятежную и исполненную достоинства даму в непривычно взволнованном состоянии.

— Я послала за вами, дорогой мистер Грэм, — сказала она, — чтобы спросить, не возьмете ли вы на себя, ради меня, очень важную миссию. Я знаю, что мне вряд ли подобает обращаться к вам с такой просьбой, ибо ваше согласие несомненно повлечет за собой множество хлопот и отнимет у вас немало времени. Но на карту поставлено мое душевное спокойствие, и я не знаю, что мне останется делать, если

вы не захотите мне помочь.

— Я с радостью сделаю все, что в моих силах, дорогая миссис Ламберт, — ответил я. И действительно, я был так тронут ее горем и следами беспокойства на ее все еще прекрасном лице, что готов был пообещать или предпринять ради нее что угодно.

— Я хочу, чтобы вы нашли моего Джулиуса.

— Джулиуса? Разве он не здесь? Я даже не знал, что он уехал.

— Да, он отплыл в Европу три года назад. Видите ли, незадолго до этого дядя оставил ему солидное состояние, и он уехал за границу — проводить, как он заявил, свои научные эксперименты. Он верил, что находится на пороге великого открытия; но он никому, даже мне, не готов был рассказать о природе этого открытия. Как вы, возможно, помните, я никогда не симпатизировала его занятиям, и поэтому, полагаю, он не считал меня достойным своего доверия. Возможно, я поступала неправильно. Может быть, если бы я больше интересовалась его исследованиями, он бы не бросил меня подобным образом. Перед отъездом он сказал мне, что его эксперименты требуют полного уединения и что он никогда не откажется от них, пока не достигнет какого-нибудь выдающегося результата. Позже мы получили от него весточку из Парижа, а затем из Милана; но уже много месяцев он не писал ни брату и сестрам, ни мне.

— У вас нет никаких предположений о его местонахождении в настоящее время?

— У меня есть основания полагать, что он поселился где-то под Римом. Две зимы назад его видел там художник Алан Спенсер. Тот довольно долго беседовал с ним, но ничего не смог узнать о его месте жительства или занятиях.

— Он выглядел здоровым?

— Он выглядел усталым и изможденным, — сказала миссис Спенсер, — но в остальном был здоров. Причина моего беспокойства в том... в том... пожалуй, я могу сразу признать вам: я боюсь, что в этом деле что-то замешано — страсть к какой-то женщине, которая может заманить Джулиуса в ловушку брака.

— Есть ли у вас какие-либо основания для этих страхов?

— Лишь одно: в разговоре с мистером Спенсером он упомянул об особе по имени Карниворина.

— Какое необычное имя! Он что-нибудь рассказал своему другу о ней?

— Нет. Он был на редкость сдержан в этом вопросе и, казалось, искренне огорчился тем, что позволил себе даже случайно назвать ее имя. Он просил мистера Спенсера держать это в секрете; но Алан всегда был в очень близких отношениях с Ричардом и Мод и не дал никакого обещания хранить тайну. Видя, как мы страдали из-за долгого молчания Джулиуса, он без колебаний рассказал нам то небольшое, что ему было известно. Если вы, добравшись до Рима, попытаетесь найти нашего потерянного Джулиуса, я буду перед вами в неоплатном долгу.

Я пообещал сделать все, что в моих силах, и миссис Ламберт с видимым облегчением добавила некоторые подробности о банкире своего сына в Риме, а также о тех многочисленных людях, которых он знал в этом городе и которые могли что-то узнать о нем за последние несколько месяцев. Кроме того, она дала мне имя и адрес торговца лечебными травами, у чьей двери Алан Спенсер неожиданно встретил выходявшего из лавки Джулиуса.

— Напишите мне, как только у вас появятся какие-либо новости, — с тоской сказала она мне на прощание. — И, в первую очередь, известите меня обо всем, что сумеете узнать о Карниворине. Не стесняйтесь сообщать мне самое худшее — даже если дошло до того, что Джулиус женился на этом создании с таким необычайным именем.

Должен признаться, что в Риме я погрузился в свои дела и не сразу приступил к поискам Джулиуса Ламберта, как изначально намеревался сделать. Нужно было повидать множество старых друзей, побывать во множестве мест, осмотреть массу новых и интересных статуй в мастерских римских скульпторов, как местных, так и иностранных; много времени отняли и переговоры с художниками относительно иллюстраций к моей истории семейства Ченчи. Незаметно пролетело несколько недель, прежде чем я предпринял ка-

кие-либо шаги в этом вопросе. Миссис Ламберт успела прислать мне не одно письмо с напоминаниями; но, честно говоря, я пришел к выводу, что при расследовании тайна быстро прояснится и Джулиус будет обнаружен в одном из небольших римских отелей — слишком занятый или, возможно, слишком сильно влюбленный, чтобы писать домой. Но когда я, наконец, отправился на его поиски, то с самого начала уперся в непроницаемую стену тайны. Никто не видел Джулиуса, и никто ничего о нем не знал. Едва приехав в город, он снял с банковского счета все свои средства. Года два назад он приобрел в Риме коллекцию любопытных насекомыхных растений Южной Америки у старого торговца, о котором упоминал Алан Спенсер. Вот и все. Джулиус бесследно исчез, словно земля разверзлась у него под ногами и поглотила его. Я искал его повсюду. Я воспользовался услугами частного сыщика. Я предложил вознаграждение за любые сведения о нем. Все было напрасно. Мне лишь удалось узнать, что он не покидал Рима — и это было все, что я смог выяснить.

Прошло несколько месяцев, и я, отчаявшись, практически отказался от поисков. Однажды мне захотелось прокатиться верхом по Кампанье. Этот обширный регион, пораженный малярией и населенный горсткой страдающих лихорадкой пастухов, лежит вне пределов проторенных туристами и путешественниками дорог за городскими стенами, и я давно лелеял желание исследовать его менее посещаемые и малоизвестные районы. Как можно представить, экскурсия показалась мне довольно унылой. Я скакал все дальше и дальше, минуя то отару овец, за которой присматривал разбойничьего вида стражник, то огромную свирепую собаку, готовую, казалось, по слову или знаку хозяина разорвать мою лошадь и задушить ее всадника. Затем показалась колоссальная арка разрушенного акведука, что во времена классического Рима была наполнена музыкой смеющейся воды. Иногда я натыкался на развалины заброшенной лачуги или встречал стадо местных длиннорогих быков с серой шерстью, красивых и мирных созданий; они воспритительно смотрели на меня своими большими ласковы-

ми глазами, когда я проезжал мимо, как будто спрашивая: «Что делает незнакомец в этой обители одиночества и разрушения?» И все же меня заинтересовала сама новизна этого пустынного края, и я продолжал путь, пока солнце не начало клониться к западу. Я всегда считал, что мало подвержен лихорадке, но сумеречная верховая поездка по Кампанье — не самая здоровая затея в мире. Я развернул лошадь и направился в город — и тут-то увидел, что нахожусь совсем рядом с каким-то домом. Я вполне мог бы миновать его, не заметив, поскольку здание настолько утопало в сплетении виноградных лоз, кустарников и деревьев, что его форма и архитектурные детали были едва различимы. Подъехав ближе, я разглядел, что это была современная вилла внушительных размеров, однако пришедшая в значительное запустение. Не могу сказать, какая причуда спекулянта или дикая идея землевладельца из Кампаньи породила эту дорогостоящую загородную резиденцию, возведенную в таком уединенном, нездоровом месте. Участок, некогда просторный и хорошо спланированный, густо порос кустами и травами. Тут и там в тени деревьев виднелись статуи из белого мрамора, покрытые потеками сырости и позеленевшие от плесени, а одна — изящная фигура нимфы, свергнутая со своего пьедестала — лежала распростертая в высокой траве. Фасад самого здания был украшен скульптурами, поросшими мхом, а одна из колонн, поддерживающих свод двери, рухнула, и ее место занял ствол кипариса. Половина здания выглядела заброшенной и полуразрушенной, с выбитыми стеклами и прогнившей крышей. Но в других местах видны были следы присутствия хозяев. Крыша правого крыла была отремонтирована, окна были в хорошем состоянии, а отблески камина, горевшего в одной из нижних комнат, придавали этому крылу здания жизнерадостный вид. Как ни странно, несмотря на общий упадок и ветхость, одна часть постройки отличалась не только изысканностью, но и роскошью, что я заметил при более близком рассмотрении. Это была большая оранжерея, примыкавшая к жилой части дома. Здесь все было в идеальном порядке. Все панели застекленных стен оставались на месте, и сквозь них я мог различить внутри

красные отблески огня в печи и тускло-зеленую листву растений.

И я, и моя лошадь устали, так что я решил задержаться на часок или около того в этом необычном месте и попробовать раздобыть овса для лошади и бутылку кьянти с коркой хлеба для себя. Я натянул поводья у полуразрушенного дверного проема, и как раз в тот момент, когда я собирался объявить о своем появлении, громко постучавшись рукояткой хлыста, дверь внезапно распахнулась, и наружу торопливо выскочил какой-то мужчина. Он вздрогнул, увидев меня, и собрался было ретироваться в дом; но в красном свете заходящего солнца я разглядел его черты и сразу узнал его. Это был человек, которого я так долго и тщетно искал, — это был Джулиус Ламберт.

— Джулиус! — воскликнул я, когда он уже исчезал в дверях. — Джулиус Ламберт! Вот как ты обращаешься со старым другом, который проделал такой долгий путь, чтобы навестить тебя?

Он обернулся на звук моего голоса.

— Ах, это и вправду вы, мистер Грэхем, — нерешительно сказал он. — Как, черт побери, вы вообще нашли меня или виллу Анциери? Никто не приближался ни к ней, ни ко мне за последние два года. Но входите — мой слуга позаботится о вашей лошади, а вы сможете рассказать мне, что слышно дома.

Я охотно передал поводья моего усталого скакуна черноглазому, бронзовокожему, живописному молодому человеку, вышедшему на зов своего господина, и последовал за Джулиусом в дом. Я не мог поверить, что наконец-то встретил своего пропавшего друга. Все произошло так просто и в то же время так странно. Тем временем Джулиус оправился от первого потрясения, испытанного им при моем вторжении; казалось, он в самом деле был рад меня видеть. Он подбросил дров в камин, распорядился подать ужин как можно скорее и засыпал меня вопросами о своей матери, брате и сестрах. Что касается его самого, то я нашел, что он выглядел далеко не лучшим образом. Он никогда не был упитанным, а теперь и вовсе сделался худым и изможденным. Жел-

товатая бледность лица свидетельствовала, что он не избежал воздействия свойственной Кампанье малярии. Слуга подал ужин — очень вкусное рагу, приправленное красным перцем и помидорами, с несколькими прекрасными апельсинами и виноградом на десерт, а также одной-двумя бутылками кьянти и утонченной «чивита-лавиньи». На протяжении всей трапезы я с болью замечал, что Джулиус говорил лихорадочно, бессвязно, настаивал, чтобы я ел и пил, поспешно задавал вопросы и вставлял замечания о домашних делах, часто не дожидаясь ответа.

Наконец, отодвинув тарелку в сторону, я заметил:

— Итак, Джулиус, я рассказал тебе все, что ты хотел узнать. Пришла моя очередь получить кое-какие сведения о тебе. Что же ты делал в одиночестве все это долгое время?

Он неловко заерзал на стуле, и его блуждающий взгляд избегал моего.

— Ничего, — пробормотал он. — Я ничего не делал и не собираюсь делать.

— Чепуха! Тебе не удастся убедить меня в истинности этого утверждения. Я знаю, что всегда был страстным экспериментатором, глубоко увлеченным прогрессом науки. Признавайся, не совершил ли ты какое-нибудь великое открытие, не работаешь ли над его усовершенствованием?

Я затронул правильную струну. Глаза его вспыхнули, и все лицо оживилось.

— Да! — воскликнул он. — Я наконец-то преуспел в своих исследованиях. В течение многих лет я пытался установить связь между растительным и животным царствами. Если вы пришли посмеяться над моими открытиями, уходите — уходите немедленно! В противном случае следуйте за мной — и будьте готовы полностью убедиться в правдивости сказанного.

С этими словами он встал и, взяв меня за руку, повел к двери в конце большой комнаты, где мы ужинали. Эту дверь он отпер ключом, который достал из кармана. Было уже темно, и он завершил свои приготовления тем, что зажег большой факел из сосновых веток.

— Оставайтесь на пороге, если жизнь вам дорога, — внушительно сказал он мне. Затем он распахнул дверь.

Это был вход в оранжерею. Первым, что меня поразило, был какой-то слабый шелестящий звук, похожий на шорох развевающейся одежды или взмах птичьего крыла. Затем, при свете высокого поднятого Джулиусом факела, я разглядел в центре помещения громадную кадку, наполненную массой губчатого мха, откуда поднималось странное растение — отвратительное бесформенное чудовище: что-то вроде растительной гидры — или, скорее, осьминога — гигантского размера и отвратительного вида и окраски. Пропорции растения были настолько огромны, что оно само по себе заполняло все пространство оранжереи. От центрального ствола или сердцевины в форме пузыря отходили бесчисленные ветви — или, скорее, руки — толстые, безлистные, мертвенно-зеленого цвета, испещренные тускло-малиновыми прожилками. Каждая рука заканчивалась овальным выступом, похожим на человеческий глаз. Юлиус взял из стоявшей у двери корзины большой кусок сырого мяса и, привязав его к концу палки, пододвинул палку вперед, соблюдая бесконечные предосторожности, чтобы держаться подальше от круга раскинутых ветвей. Затем я увидел, как эти огромные, похожие на щупальца руки обвилились вокруг добычи и передали ее центральному ядру; создание сомкнулось, и кусок мяса исчез.

Вид этого огромного существа, наполовину растения, наполовину животного, был настолько отталкивающим, что я с радостью поспешил вернуться в столовую. Джулиус последовал за мной, раскрасневшийся и ликующий: его чудовищное творение только что доказало свой здоровый аппетит.

— Растение, которое вы видели, — сказал он, — это росянка, которую благодаря тщательной селекции и неустанному уходу я сумел развить до таких неслыханных размеров. Я изучал открытия Варминга и Дарвина, касающиеся этих странных растений, росянки и мухоловки. Оставаясь растениями, они питаются насекомыми, которых убивают. В течение многих лет я мечтал усовершенствовать недостающее звено и развить животную сторону этих любопытных растительных натур. Я всегда полагал, что гидра, дракон и другие чудовищные формы животной жизни действительно су-

ществовали, и что в ходе многовековой эволюции и по причине геологических изменений на поверхности земли эти существа, лишенные привычных им форм питания, выродились в деревья и кустарники и пустили корни в почве. Некоторые из них до сих пор сохраняют свои примитивные черты, о чем свидетельствует драконье дерево на Яве. Моей целью и стремлением было возродить животное в растении. Случай подбросил мне на пути росянку колоссальной величины. Я годами кормил ее животной пищей и превратил в нечто, что еще не стало драконом или гидрой, но, несомненно, является чем-то большим, чем растение. Если бы вы рискнули приблизиться к его ветвям, никакой удав не действовал бы так быстро и смертоносно.

— И что ты дальше предполагаешь делать со своим ужасным растением?

— Сейчас моя цель — придать ему подвижность, увидеть, как оно отрывается от почвы и отправляется на поиски добычи.

— Как ты можешь рассматривать возможность выпустить на волю такого монстра?

— В науке не существует такого понятия, как «монстр». Более того, разве в мире нет крокодилов, анаконд и тигров, не говоря уже об акулах и осьминогах? По сравнению с ними мое творение — моя Карниворина — безобидное создание.

Я вздрогнул, услышав это имя. Так вот, значит, что было предметом привязанности моего бедного друга — это жуткое существо, еще не совсем животное, но едва ли растение, эта Карниворина с обликом растения и аппетитами хищного зверя?

В этот момент вошел Пьетро, слуга, и объявил, что моя лошадь стоит у дверей. Стояла прекрасная лунная ночь, обещающая приятное возвращение. Я распрощался с Джулиусом с чувством облегчения, какое охватывает человека, пробудившегося от мучительного, ужасного кошмара. Я оставил свой адрес и попросил Джулиуса известить меня, если его странное открытие приведет в ближайшем будущем к каким-либо новым событиям.

Шли недели, и я почти позабыл о Джулиусе и его Кар-

ниворине, как вдруг от него пришло письмо, написанное в порыве великого ликования и волнения.

«Приезжайте ко мне, дорогой друг, — писал он, — приезжайте немедленно! Час завершения моего эксперимента близок. Уже сейчас в массе зелени, окружающей Карниворину, я различаю шевеление и напряжение корней, которые обретают способность к независимому передвижению. Через несколько дней проблема будет решена. Я хочу, чтобы вы присутствовали как свидетель этого явления. Наконец-то мое честолюбие удовлетворено — мое имя будет внесено в список великих первооткрывателей мира науки. Приезжайте и будьте рядом со мной в минуту моего триумфа».

Не без труда я снова добрался до виллы Анциери. Было уже далеко за полдень, когда я натянул поводья у полуразрушенного и достопамятного дверного проема. Я громко постучал в дверь, но ответа не последовало. Оглядевшись вокруг, я увидел, что повсюду царила необъяснимая атмосфера запустения. В окнах не было видно света от камина, и красные отблески огня в печи больше не мелькали за тусклыми стеклами теплицы. Наконец, в смутной тревоге, обнаружив, что мои крики и стук не вызывают отклика, я привязал свою лошадь у двери и, выбрав окно большой комнаты, где мы ужинали по случаю моего предыдущего визита, вскарабкался на него с помощью толстого стебля плюща и заглянул в комнату. Зрелище, которое открылось мне, наполнило мою душу ледяным ужасом.

В конце комнаты, недалеко от входа в оранжерею, возвышалась отвратительная фигура Карниворины, но теперь под ней не было кадки — существо опиралось на то, что показалось мне парой лопатообразных ступней или лап, подобных лапам какого-то бесформенного допотопного животного. Мощные ветви — или, скорее, щупальца — были подняты вверх и плотно обвиты вокруг какого-то предмета. И над этими мертвенно-зелеными, тесно сжатыми, похожими на змей стеблями выступало нечто жуткое: это была иссиня-бледная человеческая голова — голова трупа — чьи восковые черты принадлежали Джулиусу Ламберту!

Одним взмахом руки я распахнул створку. Я ворвался в

комнату и поспешил к ужасному существу. Длинные руки задрожали и начали разворачиваться. Но прежде, чем существо успело прийти в движение, пуля из револьвера, который я всегда носил с собой во время скитаний по Кампанье, пронзила его центральный ствол. Щупальца разжались, и отвратительное растение осело на землю, унося с собой в падении раздавленное и безжизненное тело Джулиуса Ламберта. Струйка красноватого сока, напоминавшего кровь, брызнула из раздробленного стебля на ветви, окрашенные алой кровью моего несчастного друга.

Я так и не узнал, как и когда произошла катастрофа. Судя по состоянию тела, смерть наступила по меньшей мере за сутки до моего прибытия. Слуги, оказавшиеся лицом к лицу с таким шокирующим — и, по их мнению, необъяснимым — несчастьем, сбежали из дома, прихватив с собой все деньги и ценности, какие смогли найти. Я пытался их разыскать, но тщетно. Что касается остального, то с моей стороны это всего лишь предположения. Вскопанная земля и мох в кадке, где первоначально обреталась Карниворина, по-видимому, доказывали, что у этого существа неожиданно развились долгожданные способности к передвижению и что оно застало Джулиуса врасплох в момент осмотра или кормления. Во всяком случае, растение-животное или животное-растительный организм в одиночку испробовал свои новые способности и нашел одинокую добычу, а затем пуля из моего револьвера положила конец его существованию.

Среди бумаг, оставленных Джулиусом, была серия записей, касающихся его экспериментов и процессов, которые он использовал, чтобы довести свое ужасное творение до совершенства. Их я уничтожил без колебаний. Было бы неправильно позволить любознательным ученым будущего расширить и размножить расу растительных осьминогов. Затем, опасаясь, что на стволе или ветвях проклятого дерева может взойти новая поросль, я собственноручно разрубил их на куски и сжег обломки дотла. Гибель открытия моего друга, возможно, и стало потерей для науки, но человечество должно только радоваться полному уничтожению Карниорины.

Мэри Кэу

Каснер Крейн

Этого странного старика, которому было суждено оказать глубокое влияние на его жизнь, Леонард Эбери впервые встретил на лондонской выставке цветов. Стояла середина мая, погода была чудесная, и Херлингем казался цветущим и благоухающим раем. В огромных шатрах, где были выставлены розы, на берегах реки и в здании клуба множество великолепно одетых дам порхали среди цветов, словно сверкающие бабочки. Оркестр играл пьянящий вальс Штрауса; легкий ветерок с реки смягчал тепло ярких солнечных лучей.

Леонард был один; во всей этой веселой компании не было ни единого человека, чье лицо он когда-либо видел раньше. Он пробыл в Лондоне всего два дня и еще ни с кем не успел познакомиться. Со своего места под раскидистым дубом он наблюдал за оживленной сценой, забыв о собственном одиночестве и созерцая постоянно меняющуюся толпу.

— Могу я разделить с вами скамью, сэр? — произнес голос рядом с ним; и когда он подвинулся, чтобы освободить место для обладателя голоса, его взгляд упал на человека, выглядевшего неуместно в веселом собрании.

— Вы, похоже, одиноки, как и я, — сказал незнакомец. — И, если я не ошибаюсь, вы тоже чужой в Лондоне.

— Вы не ошибаетесь. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким, как в течение последнего часа, среди всех этих искателей удовольствий.

— Полагаю, вас, как и меня, интересуют цветы. Это еще один момент сходства между нами, но сегодня мы в меньшинстве, сэр. Большинство людей, — здесь он указал на группу дам, — пришли сюда, чтобы продемонстрировать свои расцветающие или расцветшие прелести.

Незнакомец говорил ровным, вежливым голосом; последние слова он сопровождал странным, ледяным смешком, от которого у молодого американца возникло неприятное ощущение холода.

— Буду с вами совершенно откровенен, сэр, — ответил Леонард, — и признаюсь, что сегодня утром в Херлингем меня привел не более благородный мотив, чем желание убить

время. Цветы, без сомнения, очень интересны. Но я только что вернулся с родины цветов, где гибискусы и огненные акации щеголяют своим великолепным окрасом в темных лесах, где воздушные орхидеи свисают с пальм и папоротников — но красивое женское личико встречается не чаще снега в июле.

— О каких краях вы говорите?

— Об острове Ява, где я провел последние пять лет. Эти человеческие цветы обладают для меня большим очарованием, чем самые прекрасные розы. Посмотрите на ту даму в сапфировом платье! Разве она не так же прекрасна, грациозна, как вон тот павлин, принимающий солнечную ванну на балконе? Глядите! Он расправляет свой веер, а она подставляет свою прелестную головку солнцу, и лучи играют на ее светлых кудрях!

— Я вижу, вы увлечены природой, как и я. Дама и птица и впрямь принадлежат к одному классу существ. Она носит цвета оперения павлина и подражает его грациозной позе — и, обратите внимание, эта женщина нашла сородичей и в других царствах. Она носит бриллианты, твердые, сверкающие камни, чей блеск маскирует поверхностность; при ней камелии: цветы эффектные, лишенные запаха, бессердечные, как она сама.

Все это незнакомец проговорил с неожиданной энергией.

— Вы знаете имя этой дамы? — спросил молодой американец, все больше увлекаясь разговором.

— Я никогда не видел ее раньше, но я знаю ее тип, — ответил незнакомец с некоторой горечью. Леонард, в полной мере обладавший национальной чертой любопытства, рассматривал собеседника с растущим интересом. Тот был высоким и очень стройным мужчиной, но сильно сгорбленным от возраста. Длинные седоватые волосы и борода обрамляли худое, зеленовато-бледное лицо, отличавшееся выражением нетерпеливого любопытства. Кем бы еще он ни был, незнакомец, несомненно, был мыслителем.

— Я вижу, что вы не совсем обычный человек, — продолжал старик, — и думаю, что некоторые из моих теорий могут вас заинтересовать. Они сложились на протяжении

долгой жизни, посвященной изучению природы. Если я и узнал некоторые из ее секретов, то только в обмен на годы труда.

Первым по важности я считаю великий закон гармонии, который пронизывает всю природу и признается людьми под слепым именем судьбы. Каждая сотворенная вещь пребывает в гармонии с каким-либо творением в любой другой сфере природы; в сущности, это одна нота в огромном аккорде, эхом разносящемся по всей вселенной. Таково первое бессознательное усилие человека найти родственные элементы в других сферах. Только после этого человек достигает всей полноты своего развития; лишь научившись общаться с родственными субстанциями минерального и растительного миров и заимствовать у них присущие им качества, человек придет к зениту своего могущества.

— Вы интересуете меня больше, чем я могу выразить, — сказал молодой человек, поддаваясь настроению незнакомца со свойственной его расе отзывчивостью. — Эта новая наука связана с астрологией. Я верю, что на человека не могут не влиять звезды, под чьим светом он родился; и если эти отдаленные силы влияют на его судьбу, то почему не те, что ближе?

Старик кивнул в знак согласия, и Леонард попросил его подробнее изложить теорию гармонии.

— Всему свое время, юный сэра. Я чувствую, что нашел в вас того, кто может принести мне пользу и одновременно стать мне другом. Если я не ошибаюсь, вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Признайтесь! Разве вы не были бы рады должности, которая удовлетворила бы вашу страсть к путешествиям и в то же время щедро вознаградила?

Леонард покраснел под пристальным взглядом серых глаз старика, устремленных на него из-под косматых бровей. Он сознавал, что его одежда была несколько поношена, но платье старика выглядело гораздо хуже. «Может, он сумасшедший, а может, богатый чудака, — подумал Леонард. — Ну что ж! Я слишком долго был солдатом удачи, чтобы сейчас подавать в отставку».

— Сэр, вы верно угадали, — откровенно сказал он. — Се-

годня утром у меня в кармане звенели всего две гинеи.

— И вы потратили одну из них ради посещения выставки цветов! Мне нравится ваш характер. Я часто тратил последний пенни на какой-нибудь букет. Пойдемте, я покажу вам кое-что, что окупит ваши щедрые затраты. Надо же, потратить половину своего состояния ради простого *шанса* увидеть прекрасный цветок!

С этими словами старик встал и направился к большому шатру, где собеседников окружили призовые розы.

— Здесь вы увидите иллюстрацию к тому, о чем я только что говорил. Женщины более материальны, чем мы, и те, что поглубже, не испытывают особой симпатии к цветам, предпочитая находить их аналоги в более примитивном минеральном царстве. Страсть к драгоценным камням — это, пожалуй, самое сильное чувство, на которое они способны. Те, что сотканы из материи потоньше, стремятся лишь к более более высокому, более духовному единению с флорой; но даже они настроены на ноты мясистых цветов. Женщины и розы навечно связаны друг с другом. Женщины всегда выращивали лучшие виды роз. Я и сам вначале выращивал розы — цветок низшего уровня красоты, родственник чувственной стороне человека. Это цветок, который влюбленный приносит на свидание, который возлюбленная носит на груди в знак любви, жертвоприношение по обету, украшающее алтари Киферы и Эроса. Посмотрите на эту молодую женщину, вдыхающую аромат тугой «Славы Дижона». Запах розы действует на нее, как вино или поцелуй любимого.

— Я нахожу их самой очаровательной парой, — решительно заявил Леонард.

— Несомненно; в вашем возрасте я бы так и считал. Тривиальные страсти юности необходимы для того, чтобы укрепить нас пред лицом всемогущих страстей старости. Сейчас вы ставите красивое личико превыше всех цветов в мире и вряд ли поверите, что ваше восхищение женщинами — ничто по сравнению с моей страстью к цветам, единственной, которая осталась у меня после целой жизни страстей.

— Какой цветок вы предпочли, отказавшись от роз? —

спросил Леонард.

— Всею свое время, друг мой, — ответил энтузиаст. — Сперва я отдался лилии; более чистый цветок, но все еще слишком земной. Мы вкладываем лилию в мертвые руки, — это символ жизненной силы.

Леонарду было любопытно услышать еще какие-нибудь невероятные откровения собеседника.

— Как научиться находить сродственные нам цветы? — спросил он.

— С какой легкостью вы просите меня раскрыть секрет, на изучение которого я потратил всю жизнь! Но, возможно, я и поделюсь им с вами, если вы сможете оказать мне необходимую услугу. Будьте довольны тем, что вы узнали известное лишь немногим: секрет существует и может быть раскрыт. Бонапарт знал это. Кто поведает о его возвышенных совещаниях с фиалкой? Только когда Наполеон стал надутым и тщеславным, начал поклоняться собственной власти и отвернулся от источника, откуда она черпалась, он потерпел поражение. Почему в утро Ватерлоо на его сюртуке не было знакомого букетика фиалок?

— Я понимаю! — воскликнул Леонард. — Василек немецкого кайзера, примула лорда Биконсфильда, возможно, были самыми действенными союзниками этих двух великих людей!

— Не стану спорить, — проронил визионер. — Неужели вы никогда не подозревали, что в алых и белых розах Йорка и Ланкастера таится более глубокий смысл, чем когда-либо снилось тупым историкам, которые относятся к ним просто как к символам соперничающих группировок?

Они покинули шатер роз и теперь вошли в небольшой павильон. Интерьер имитировал тропический лес. Пальмы и гигантские папоротники вздымали свои верхушки к сводчатому потолку; земля была покрыта ковром из мха; бассейн с водой был заполнен редкими водными растениями — в некоторых из них Леонард узнал уроженцев тропических стран, где ему доводилось жить.

Среди листвы реяли великолепные тропические птицы, а высоко на ветвях более крупных деревьев висели чудес-

ные орхидеи, для которых миниатюрный лес служил лишь фоном.

— Великолепно! — воскликнул Леонард. — Это работа настоящего художника! Я словно вновь оказался в лесах Явы. Посмотрите на этот прекрасный лунный фаленопсис! Я видел, как он рос на верхних ветвях копалового дерева, такого высокого, что цветок мерцал на его листьях, подобно белой звезде. И этот ципропедиум — мне никогда не попался более совершенный экземпляр! Так и кажется, что сейчас я увижу вон в том окне могучие очертания вулкана Мерапи, увенчанного облаками и огнем и окутанного царственной пурпурной дымкой.

Старик расцвел от этого взрыва восторга. Он тепло пожал руку молодого человека, сказав:

— Долой сомнения! Давайте сразу же заключим наш договор о дружбе. Никогда еще не бывало более подходящего партнерства. Вы молоды, вы поэт, энтузиаст. Я стар и немного мудрее вас, обладаю опытом, которого вам недостает, и лишен присущего вам огня молодости. Вы бедны, а я богат. Одолжите мне ваши крепкие сухожилия, молодые, подвижные конечности, и я дам вам все, что нужно, чтобы вести жизнь сибарита, не отказываясь от духа авантюризма. Что скажете? Справедливы ли условия?

— Более чем справедливы — это щедрое предложение! — ответил Леонард. — Но в чем суть услуги, которую вы от меня требуете? Я, как вы догадались, авантюрист и откровенно заявляю, что родился слишком поздно; я странствующий рыцарь девятнадцатого века, ищущий приключений везде, где могу их найти. Оговорка одна: я должен сохранить незапятнанным свое честное имя, единственное наследство, оставленное мне моими бедными родителями.

— Ну же! Вы, никак, думаете, что я собрался просить вас ограбить курятник? — раздраженно спросил старик. — Если бы я нуждался в злодее, я вряд ли дал бы случайному знакомому наподобие вас возможность выдать меня. Я сделал свое предложение; вам решать, принять его или отклонить.

Леонард уже собирался отказаться от этого нелепого договора о беспрекословном повиновении, когда мимо прош-

ла молодая девушка и остановилась, чтобы полюбоваться растущим рядом прекрасным кувшиночником. Она подняла к растению милое, бледное личико и, стоя так, вытянув вверх свою хрупкую фигурку, посмотрела на Леонарда, чьи глаза были прикованы к ней. Сердце молодого человека замерло, а затем сильно забилося. Большие, кроткие глаза девушки откровенно ответили на его пристальный взгляд; после их выражение сменилось на умоляющее; затем они скрылись под гладкими белыми веками. Слабая волна румянца разлилась по ее прозрачным щекам, и она внезапно глубоко вздохнула, отчего скромная моховая роза на ее груди затрепетала и упала на землю. Леонард опустил на колени и, не поднимаясь, вернул ей цветок. Она поблагодарила его легким кивком головы и еще одним трепетным взором. Не было произнесено ни слова. Невнимательный наблюдатель заметил бы только, что хорошенькая молодая девушка уронила розу, которую симпатичный молодой человек подобрал и вернул ей с довольно экстравагантной вежливостью. Но в этот краткий миг молодой человек и девушка, прежде незнакомые, обменялись взглядами и поняли, что полюбили друг друга навсегда.

— Итак, Мэри Хизер, ты пришла повидать своих друзей в их новом окружении. Это хорошо; но не задерживайся чересчур долго среди этой чахлой растительности. Я вернусь только поздно вечером.

Так обратился к девушке старик.

— Все будет готово, сэр, — ответила она голосом, показавшимся Леонарду голосом его покойной матери. Она повернулась, намереваясь уйти, но у входа отшатнулась. На пороге лежал скорпион.

— Не бойся! Я позаботился о том, чтобы извлечь его жало, а та зеленая змея, которую ты видела на пальме, так же безобидна, как вот эти милые ящерицы. Мне хотелось создать имитацию, во всем следующую природе, — продолжал старик, поворачиваясь к Леонарду, — и я приложил немало усилий ради точности в этих незначительных деталях. Но вы так и не дали мне своего ответа. Будем ли мы друзьями,

или здесь наши пути разойдутся?

Леонард уже принял решение. Мэри Хизер исчезла. Лучшим шансом когда-либо увидеть ее снова было держаться этого странного старика, который, казалось, состоял с ней в весьма близких отношениях.

— Поскольку моя госпожа, Случайность, привела меня к вам, сэр, я не нарушу верности ни ей, ни вам. Я принимаю ваше предложение, — воскликнул он, протягивая руку.

— Хорошо! — вскричал незнакомец, вкладывая свою холодную руку в теплую ладонь Леонарда. — Я редко обманываюсь в людях. Меня зовут Каспер Крейг. А вас?

Леонард вручил ему свою визитку, и, назначив молодому американцу встречу на следующий вечер, Каспер Крейг покинул его и растворился, как серая тень, в веселой толпе, начавшей стекаться в рошу орхидей.

— Кто он, этот старик, с которым я только что разговаривал? — спросил Леонард одного из служителей.

— Я не удивлен, что вы спрашиваете, — ответил тот. — Никогда раньше не видел его за пределами его собственно-го сада. Вы говорили с Каспером Крейгом, величайшим в мире коллекционером орхидей. Этот павильон — его выставка. Говорят, он немного тронутый здесь, — добавил служитель, многозначительно постукивая себя по лбу.

Вскоре после этого Эбери покинул фестиваль цветов и направился домой, в свое бедное жилище. Милое личико Мэри Хизер отчетливей вспоминалось ему в голой мансарде, чем в той веселой толпе, среди которой она на мгновение предстала перед его взором, как скромная деревенская маргаритка, заблудившаяся в саду великолепных аристократических цветов.

На следующий вечер, незадолго до назначенного Каспером Крейгом часа, он постучался в дверь бедного коттеджа в Хаммерсмите. Дом был старым и отличался безумной архитектурой, но за ним простирался большой, ухоженный сад с несколькими теплицами; все это было окружено высокими кирпичными стенами.

Леонард постучал несколько раз, но обитатели домика не отзывались. Через несколько минут дверь осторожно при-

открылась, и к нему протянулась маленькая иссохшая рука. Леонард схватил ее в свои и крепко сжал.

— Отпустите меня, — раздался пронзительный голос. — Отдайте мне то, что вы принесли для Каспера Крейга, и отпустите меня.

— Я не принес ничего, кроме своих мускулов, — сказал Леонард, распахивая дверь, — и это единственное достояние, которое Каспер Крейг просил меня использовать на службе.

Молодой человек протиснулся в тускло освещенный коридор. Он все еще держал маленькую ручку в своей, но когда он увидел, что она принадлежала искалеченному ребенку, его хватка ослабла.

— Ну же, мой мальчик, — мягко сказал он, — не шути со мной. Каспер Крейг ждет меня. Отведи меня к нему

— Как вас зовут? — подозрительно спросил калека.

— Леонард Эбери. А как мне называть тебя?

— Эдвард Хизер, — ответил ребенок. — Вам придется дожидаться возвращения Каспера Крейга. Можете посидеть тут либо выйти в сад.

Погода стояла сырая, и к тому же начал моросить дождь; но пустой коридор, в котором не было ничего, кроме пыльной вешалки для шляп и нескольких ботанических гравюр на стенах, был едва ли более привлекательным.

Леонард рассмеялся и похлопал худенькую ручку ребенка.

— Ты не очень гостеприимен, Эдвард, но если ты останешься и поговоришь со мной, мы посидим на лестнице, пока Каспер Крейг не вернется домой. Мэри Хизер — твоя сестра?

— Да, — ответил мальчик, устремив на Эбери пристальный, вопрошающий взгляд своих больших, ввалившихся глаз. — Что вам нужно от моей Мэри?

— Я только хотел увидеть ее, поговорить с ней. Если это невозможно, просто узнать, живет ли она в этом доме.

Глаза мальчика, казалось, читали в самой душе Леонарда.

— Нет, — сказал он, качая головой с видом эльфийской проникательности. — Нет, Леонард Эбери, вы не можете ее

увидеть. Если вы друг Каспера Крейга, вы не увидите мою Мэри.

— Я не друг Каспера Крейга. Я собираюсь выполнить для него кое-какую работу, за которую он мне платит. Пони-маешь? Если бы я мог увидеть твою сестру — хотя бы раз — я был бы готов никогда больше не встречаться с этим стран-ным стариком.

— Почему? — спросил мальчик. — Почему ты хочешь уви-деть Мэри? Ты тоже ее любишь?

Леонард задрожал под этим печальным, вопрошающим взглядом. Он не смог бы солгать ребенку даже ради спасе-ния своей жизни.

— Да, Эдвард, я люблю Мэри Хизер.

— Ты ее возлюбленный? — сердито прошептал мальчик.

— Она никогда не рассказывала мне о тебе.

— Я никогда с ней не разговаривал, но я ее видел. Я люб-лю ее, и я верю, что она любит меня.

— И вы заберете нас отсюда, подальше от Каспера Крей-га — сейчас — этим вечером — если я позволю вам увидеть-ся с Мэри?

«Они все сумасшедшие в этом доме», — подумал Эбери, но ответил ребенку успокаивающим тоном:

— Да, если Мэри этого захочет. Но отведи меня к ней. Крейг может вернуться в любой момент.

— Тогда пойдем, — твердо сказал мальчик, направляясь вверх по темной лестнице. Леонард, как мог, пробирался ощупью позади него. Эдвард легонько постучал в дверь в кон-це коридора, и Мэри немедленно открыла.

— Вот она, — сказал ребенок, указывая на свою сестру. — Быстро говорите то, что вы хотели сказать.

— Боюсь, я вторгся к вам, мисс Хизер, — начал Эбери. — Я договорился о встрече с Каспером Крейгом, но оказалось, что я пришел раньше назначенного часа.

— Входите, — сказала молодая девушка. — Пожалуйста, посидите здесь, пока Каспер Крейг не вернется. Он не задер-жится надолго.

Леонард все еще мялся на пороге со шляпой в руке. Он чувствовал себя совершенно недостойным войти в эту белую

девичью комнату, богатую чистотой, но бедную во всем остальном.

— Входите. Мэри велела вам входить, — раздраженно сказал мальчик, втолкнув Эбери в комнату и закрыв дверь. — Как здесь холодно! Я поворошу угли, пока вы будете разговаривать.

— Он сегодня очень нервничает. Не обращайтесь на него внимания, — вполголоса сказала Мэри, придвигая для гостя стул поближе к камину и занимая свое место за рабочим столом. Вскоре она уже вышивала на какой-то грубой ткани, и домашняя атмосфера большой, приятной комнаты вкупе со спокойной грацией и достоинством Мэри быстро заставили Леонарда забыть буйную болтовню ребенка. Эбери узнал, что брат и сестра были сиротами и жили на иждивении Каспера Крейга, которому они приходились дальними родственниками. Отвечая на искусные вопросы Леонарда, Мэри рассказала ему всю их простую историю.

Она почти не помнила своих родителей: и мать, и отец умерли, когда Эдвард был младенцем. Дети помогали Касперу Крейгу ухаживать за его орхидеями; в дополнение к этому Мэри зарисовывала некоторые редкие экземпляры. Ее мольберт с незаконченным наброском белой орхидеи стоял у окна. Цветок, с которого был сделан рисунок, распустился на ветке дерева, висевшей на стене рядом с маленькой белой кроватью. Огромный тропический цветок лениво свисал с высохшей ветки. Он не походил ни на одну орхидею, которую Леонард когда-либо видел. Пока он любовался странным цветком, дверь отворилась, и вошел Каспер Крейг.

— Вы пришли вовремя, друг мой, — с привычным холодным смешком произнес знаменитый коллекционер. — Но я не стану извиняться за то, что заставил вас ждать, ибо это опоздание дало вам возможность взглянуть на мое величайшее сокровище, на мое последнее открытие. Скажите откровенно, вы когда-нибудь видели нечто столь же красивое на Яве или где-либо еще?

— Безусловно, я никогда не видел ничего подобного этой орхидее, — ответил Леонард. — Но я не уверен, что считаю ее красивой. Цветок кажется таким хищным! Поглядите на этот

открытый зев и горло — они выглядят почти по-человечески. Эти грубые белые шипы напоминают зубы. Они крепко вцепятся в любую несчастную пчелу, прилетевшую в поисках нектара.

— Цветок родственен *dionaea muscipula*, венериной мухоловке, которая, как вы знаете, питается насекомыми. Но этот цветок обладает гораздо более высокоразвитым организмом. На эволюционной лестнице он так же далек от венериной мухоловки, как вы от первобытного человека. Линней, Грей и все известные ботаники между ними не смогли провести грань между животным и растительным миром. Для этого есть веская и достаточная причина: границы не существует. В цепи творения нет разрыва. Орхидея находится на полпути между растением и животным. Она способна двигаться и является плотоядной, но еще не достигла своего полного развития. Это высшее и новейшее выражение природы, триумфальный венец творения. Данный гибрид — результат тридцатилетних экспериментов. Шаг за шагом я повышал уровень развития организма этой расы. Это замечательное существо уже спит, дышит, двигается, питается само, как и многие его предшественники. Но это еще не конец. До сих пор оно питалось только более грубыми формами животной жизни: мухами и другими насекомыми. В отсутствие этой пищи, оно обратится к сильной, тонкой жизненной сущности, свойственной лишь несколькими высшим видам животных.

Леонард невольно отвлекся от темы беседы. Его взгляд был прикован к Мэри Хизер, которая сидела в другом конце комнаты и сосредоточенно вышивала. Ее мягкие волосы, влажные фиалковые глаза, чистое, похожее на цветок лицо были уже знакомы ему лучше собственных черт; и все же каждый раз, когда его взгляд падал на ее красоту, Леонарду казалось, что ему было даровано новое неоценимое сокровище.

— Вы смотрите на Мэри Хизер, — сказал коллекционер. — Да, на эту девушку вполне можно смотреть. Какой редкий, схожий с орхидеей экземпляр! Ее отец был пьяницей. Мать — истощенной работой швеей. Из их союза вырос этот со-

вершенный цветок. Можете ли вы себе представить, что нежный цвет ее кожи, совершенные формы, воздушная грация были унаследованы от выпивохи и рабочей лошадки? Нет, нет; природа не творит чудес; у всех ее так называемых явлений есть причины. Ученые еще не изучили пункты А, Б и В ее замечательных методов. С самого детства Мэри Хизер жила среди моих растений. Ее мать приносила ребенка по утрам в колыбели и оставляла ее со мной на весь день. Она вдыхала аромат самых редких цветов, которые когда-либо видел мир. Она черпала из них свою жизнь. Ее плоть больше похожа на их плоть, чем на вашу или мою. Хрупкие растения, что никогда прежде не росли на чужой почве, расцветали под ее руками; растения, которые некогда считались бесплодными в состоянии культивирования, благодаря ее присмотру начинали плодоносить; ибо она принадлежит к их роду и ведает тайны их мистических брачных обрядов. Как тесно эти две формы жизни подходят друг к другу! Эта девушка — цветок человеческой семьи. Если бы мы могли создать цветок-животное, обладающий даже большим количеством животных атрибутов, чем дианея, разве мы не нашли бы звено в цепи, которое связывает два царства воедино? Разве человека, который вырастит этот цветок, откроет миру эту великую тайну, не будут помнить наряду с Галилеем, Ньютоном, Дарвином?

Каспер Крейг шепотом изливал этот поток безумных слов на ухо молодому американцу, который был теперь полностью убежден, что старик утратил рассудок. Леонард посмотрел на Мэри и Эдварда. Мальчик скорчился в своем инвалидном кресле, его полные страха глаза были устремлены на Каспера Крейга, вся фигурка выражала испуганное ожидание. Мэри отложила шитье и сидела, откинувшись на спинку кресла, бледная и усталая, но не выдавала никаких признаков нервного возбуждения брата. Нежный, едва заметный румянец сошел с ее щек. Она поникла, как лилии в саду матери Леонарда дома, жарким летним днем. Он вспомнил сравнение Каспера Крейга. Да, она была цветком в обличии человека.

— То, что вы говорите, по крайней мере, очень неорди-

нарно, — сказал Леонард, — и я рад, что увидел этот редкий цветок, который мисс Хизер так точно нарисовала. Но что это?

Он подошел вплотную к маленькой кровати и мимоходом коснулся белой подушки, неслышно благословив чистое полотно.

— Художница нарисовала цветок белым, в то время как нижние лепестки орхидеи, несомненно, имеют слабый розоватый оттенок.

— Я этого не заметила, — сказала Мэри. — Может быть, свет откуда-то отражается и придает растению такой оттенок? Я совершенно уверена, что цветок был белым, как снег, когда я вчера начинала рисовать.

— Он и был белым, Мэри! — сказал Каспер Крейг. — Но посмотри сама. Молодой человек не ошибается.

В его холодном голосе прозвучало радостное ликование, и маленький калека съежился в своем кресле. Мэри Хизер медленно подошла к старику и подвинула цветок ближе к свету. Розовый окрас нижних лепестков теперь нельзя было отрицать. Леонард заметил, какой бледной и измученной выглядела девушка, и решил ради нее прервать беседу.

— Уже поздно, сэр, — сказал он. — Давайте больше не будем докучать мисс Хизер. Похоже, она нуждается в отдыхе. Мы еще не говорили о деле, которое привело меня сюда сегодня вечером.

При этом напоминании Каспер Крейг направился вниз по лестнице. В дверях Леонарда задержал мальчик, вскочивший с кресла, как только старик вышел из комнаты.

— Помните, что вы должны забрать нас отсюда, — прошептал он. — Скоро, очень скоро, или будет слишком поздно. Мэри умрет.

Леонард поднял искалеченное маленькое существо на руки и нежно успокоил мальчика, прошептав ему на ухо:

— Я скоро приду снова. Скажи ей — скажи своей сестре, — что я ее друг и отдал бы свою жизнь, чтобы помочь ей, если бы она попала в беду.

— Вы идете, молодой человек? — крикнул Каспер Крейг с лестницы. Бросив последний долгий взгляд на Мэри, ее

возлюбленный вышел из комнаты.

Леонард и Крейг просидели вместе до полуночи; к тому времени между ними была достигнута договоренность, что Леонард Эбери отправится в Боготу на поиски редкого экземпляра южноамериканской орхидеи, как только обзаведется необходимым снаряжением. Он получил самые подробные инструкции от своего работодателя, который был знаком с местностью, где предстояло вести поиски, и в целом проявил себя практичным и деловым человеком во всем, что касалось планируемого путешествия.

Леонард пришел к нему на следующий день в тщетной надежде увидеть Мэри Хизер или ее брата; его впустил Каспер Крейг, и он же проводил его до двери по окончании визита. Каждый день молодой человек находил какой-нибудь предлог, чтобы совершить паломничество в Хаммерсмит, но белокурой девушки и маленького калеки нигде не было видно. Леонард иногда спрашивал себя, существуют ли эти дети в яви, за пределами его снов. То чудесное утро среди цветов, когда девушка, которую он ждал всю свою жизнь, внезапно появилась перед ним, чтобы через мгновение затеряться в толпе, — было ли оно реальностью или видением в мгновение между сном и бодрствованием? Однако оставалась реальность Каспера Крейга; тот, казалось, забыл о своих странных теориях и говорил о цветах, как любой другой увлеченный собиратель редких и дорогих растений.

Однажды Леонард набрался смелости и попросил разрешения увидаться с молодой девушкой, но ему было сказано, что она слишком занята, чтобы принимать визиты молодых людей. Леонард прибегал к любым уловкам, пытаясь отсрочить свой отъезд; но наступило утро последнего дня, а он больше ни разу не увидел Мэри Хизер.

«Я не уеду из Лондона, не повидав ее, — сказал он себе. — Я прямо скажу об этом старику, и если он не предоставит мне такой возможности, пусть завтра же ищет вместо меня кого-нибудь другого».

Он пришел раньше обычного и, прежде чем он успел постучать, дверь бесшумно отворил Эдвард Хизер, который жестом пригласил его войти. Ребенок осторожно закрыл дверь,

а затем, схватив Леонарда за руку, с невероятной силой потащил его вверх по лестнице. Дверь в комнату Мэри была слегка приоткрыта, и мальчик без всякого предупреждения толкнул гостя внутрь и затворил дверь. Мэри сидела за мольбертом спиной к ним. Она не отрывала глаз от своей работы, и Леонард увидел, что она не замечает его присутствия.

— Посмотрите на нее! — прошептал мальчик. — Она умирает, умирает! Цветок убивает ее!

Леонард проследил за направлением взгляда ребенка. Глаза мальчика были прикованы к орхидее. Цветок странным образом изменился. Если раньше он грациозно свисал с ветки, то теперь превратился в крепкое и энергичное растение, смело цветущее над древесной корой. Слабый розовый оттенок усилился и распространился по всему цветку. Зев был алым, а на горле с его жестокими шипами кое-где виднелись темно-красные пятна.

Растение, несомненно, приобрело злобный вид и могло легко привести в ужас нервного ребенка с богатым воображением, подобного Эдварду Хизеру.

— Что заставило его так вырасти? — пробормотал мальчик. — Неужели вся эта кровь вытекает из той мертвой ветки?

Мэри Хизер оторвала взгляд от своей работы, и Леонард впервые за вечер увидел ее лицо. Она была бела, как мрамор. Когда она поднялась, чтобы приветствовать его, молодой человек увидел, что девушка превратилась в тень себя самой.

— Что с вами, Мэри Хизер? Вы заболели? — спросил он, беря ее тонкую руку в свою.

— Заболела? О, нет! Просто немного устала.

Ее голос звучал эхом прежнего, а на ее бледную улыбку было жалко смотреть.

Леонарду Эбери показалось, что в этот момент рассудок покинул его. Он ни за что не смог бы сказать, почему это сделал, — но, прежде чем бледные губы Мэри Хизер еще раз вдохнули спертый воздух комнаты, он сорвал цветок со стены и растоптал его ногами, превратив в кровотокающую массу.

— Вы с ума сошли? — раздался чей-то голос рядом с ним. Каспер Крейг схватил его за руку и стоял, глядя на него сверху вниз. Леонард Эбери навсегда запомнил выражение ярости на его лице.

— Я не знаю. По-моему, мы все здесь сумасшедшие, — сказал он, стряхивая с себя руку старика.

Каспер Крейг опустился на колени и подобрал искалеченный цветок; сочащийся сок окрасил его руки в тускло-красный цвет; комнату наполнил странный тошнотворный запах. Леонард Эбери распахнул окно, и внутрь ворвался легкий летний ветерок. Это действие, казалось, напомнило старику о госте — в отчаянии созерцая свое погубленное сокровище, он совсем позабыл о Леонарде.

— Разорен! — воскликнул Крейг, с трудом поднимаясь на ноги. — Разрушен — и человеком, с которым я подружился. Неблагодарный дурак! Так ты вознаграждаешь меня за мое доверие, мое великодушие? Ты дорого заплатишь за это!

Леонард потерял дар речи и был сбит с толку. Теперь, когда все было кончено, ему было отчасти стыдно за то, что он поддался этому странному порыву разрушения. Он стоял, скрестив руки на груди и прислонившись к стене, уставившись в пол и пытаясь вернуть себе самообладание. Каспер Крейг медленно подошел к нему, пряча руки под длинным плащом.

— Будь осторожен, Леонард, — крикнула Мэри Хизер. Предупреждение девушки запоздало, так как в этот миг старик вцепился Леонарду в горло, сжимая в другой руке длинный и острый садовый нож, который он всегда носил на поясе.

— Жизнь за жизнь! — яростно закричал он. Но прежде, чем он успел нанести удар, молодой человек высвободился и после недолгой борьбы вырвал у него нож и выбросил оружие из открытого окна в сад. Обезоруженный и измученный, старик, тяжело дыша и дрожа, опустился в кресло. Наступило долгое молчание. В конце концов Эбери заговорил:

— Я не знаю, что все это значит. Похоже, вы околдовали нас всех. Вам придется найти другого человека, который вы-

полнит ваши поручения в Южной Америке, Каспер Крейг. Мне предстоит другая работа. Мэри Хизер, я не знаю, какую власть имеет этот мрачный старик над тобой и твоим братом, но я хотел бы освободить вас обоих от этой власти. Ты пойдешь со мной навстречу миру? Мне нечего предложить вам, кроме моей любви, честного имени и готовности всю жизнь служить вам. Ты пойдешь со мной?

В последние несколько мгновений Мэри успела немного прийти в себя, и голос, которым она ответила на призыв молодого человека, снова был похож на ее собственный.

— Да, Леонард Эбери, мы пойдем с тобой.

Мальчик бегал по комнате, собирая свои немногочисленные пожитки.

— Оставь все, Эдвард. Здесь нет ничего нашего, — сказала она.

Каспер Крейг, потерявший дар речи и полный гнева, молча слушал.

— Что за чушь ты несешь, девочка? — наконец воскликнул он. — Ты покидаешь свой дом и единственного друга, который у тебя есть в мире, по зову этого авантюриста без гроша в кармане!

— Он дарует нам любовь, которой хватит на все. Ты никогда не любил нас, Каспер Крейг, и мы тебе ничего не должны. Мы работали на тебя все те годы, что ели твой хлеб, и мы оставляем тебя такими же бедными, какими пришли к тебе.

— Пойдем, Мэри, пойдем, — сказал мальчик, нетерпеливо дергая сестру за юбки. — Выйди на солнышко.

— Помни, что ты никогда не сможешь вернуться, Мэри; моя дверь будет закрыта для тебя навсегда. Мое состояние, которое могло бы принадлежать тебе... — он остановился и замолчал.

— Ваше состояние! — рассмеялся Эдвард. — Какая польза была бы ей от вашего состояния, если вы медленно убивали ее? Пойдем, Мэри. Ты должна уйти сейчас или навсегда остаться.

— Прощай, Каспер Крейг, — сказала девушка. — Я уйду из серого мира, в котором ты держал меня, к теплым сол-

нечным лучам. Прощай!

Леонард Эбери взял ее под белую руку, посадил мальчика себе на плечо и вышел из дома. Когда они оказались на улице, девушка глубоко вздохнула.

— Как хорошо покинуть этот мрачный дом, — сказала она. — Ты был послан Небесами, чтобы избавить нас от безрадостной жизни с этим странным стариком.

— Убийца, убийца! — закричал мальчик, грозя крошечным кулачком запущенному дому.

— Не обращай на него внимания, — сказала Мэри Хизер. — Он часто ведет себя странно, вот как сейчас. Я уверена, что Каспер Крейг не желал нам ничего плохого. До сегодняшнего дня я никогда не видела его в гневе.

Она прикоснулась к рукам своего возлюбленного, содрогнувшись при мысли об опасности, которой грозил ему нож старика.

— Давайте забудем о нем, — продолжала она. — Эдвард, Леонард, давайте договоримся никогда больше не упоминать его имя.

— Буду только рад, — воскликнул Леонард. — Я не могу даже думать о нем, не сомневаясь в собственном здравомыслии.

— Она не знает, — прошептал мальчик на ухо Леонарду, — она никогда не знала; но мы-то с тобой знаем, что цветок был...

— Тише, мальчик, — сурово прервал его Леонард Эбери. — Пусть Каспер Крейг будет забыт, как того желает Мэри.

— Да, — засмеялся ребенок. — Мы никогда больше его не увидим, мы никогда не будем думать о нем. Теперь он не сможет причинить нам вреда, потому что цветок мертв!

Герберт Уэллс

Странная орхидея

Покупка орхидей всегда сопряжена с известной долей риска. Перед вами сморщенный бурый корень — во всем остальном полагайтесь на собственное суждение, или на продавца, или на удачу, как вам угодно. Может, растение это обречено на гибель или уже погибло, может, вы сделали вполне солидную покупку, стоящую потраченных денег, а может — и так не раз бывало — перед вашим восхищенным взором медленно, день за днем, начнет разворачиваться нечто невиданное: новое богатство формы, особый изгиб лепестков, более тонкая окраска, необычная мимикрия. Гордость, краса и доходы расцветают вместе на нежном зеленом стебле, и как знать, возможно, и слава. Ибо для нового чуда природы необходимо новое имя, и не естественно ли окрестить цветок именем открывшего его? «Джонсмития»! Что ж, встречаются названия и похуже.

Быть может, надежды на такое открытие и сделали из Уинтера Уэдерберна завсегдатая цветочных распродаж — надежды и, вероятно, еще то обстоятельство, что у него не было в жизни никаких других сколько-нибудь интересных занятий. Это был робкий, одинокий, довольно никчемный человек со средствами, достаточными для безбедного существования, и недостатком духовной энергии, которая заставляла бы его искать занятий более определенных. Он мог бы с равным успехом коллекционировать марки или монеты, переводить Горация, переплетать книги или открывать новые виды диатомей. Но вышло так, что он занялся выращиванием орхидей, и все его честолюбивые помыслы оказались сосредоточены на маленькой садовой оранжерее.

— Почему-то мне кажется, — сказал он однажды за кофе, — что сегодня со мной непременно что-нибудь случится. — Говорил он медленно — так же, как двигался и думал.

— Ах, ради бога, не говорите об этом! — воскликнула экономка, его кузина. Для нее туманное «что-нибудь случится» всегда означало лишь одно.

— Нет, вы меня неверно поняли. Я не имею в виду ничего неприятного... хотя что я, собственно, имею в виду, я и сам не знаю.

— Сегодня, — продолжал он, помолчав, — у Питерсов распродажа кое-каких растений из Индии и с Андаманских островов. Хочу заглянуть к ним, посмотреть, что у них там хорошего. Как знать, а вдруг я приобрету что-нибудь ценное? Может, это предчувствие.

Он протянул чашку за второй порцией кофе.

— Это растения, собранные тем несчастным молодым человеком, о котором вы мне на днях рассказывали? — спросила экономка, наливая кофе.

— Да, — ответил Уэдерберн и задумался, так и не донеся до рта кусочек поджаренного хлеба.

— Со мной никогда ничего не случается, — заговорил он, продолжая свои мысли вслух. — Почему, хотел бы я знать. С другими происходит все что угодно. Взять хотя бы Харви. Только на прошлой неделе в понедельник он нашел шестипенсовик, в среду все его цыплята заболели вертячкой, в пятницу приехала двоюродная сестра из Австралии, а в субботу он вывихнул ногу. Целый водоворот волнующих событий по сравнению с моей жизнью.

— На вашем месте я предпочла бы поменьше волнений, — сказала экономка. — Не думаю, чтоб они пошли вам на пользу.

— Да, конечно, это беспокойно. Но все же... Вы подумайте, ведь со мной никогда ничего не случается. Когда я еще был мальчуганом, я ни разу не пережил ни одного приключения. Я рос и никогда не влюблялся. Так никогда и не женился. Хотел бы я знать, что испытывает человек, когда с ним случается что-нибудь действительно необычное. Этому любителю орхидей было всего тридцать шесть — он был на двадцать лет моложе меня, — когда он умер. А он был дважды женат, один раз разводился, четыре раза болел малярией и один раз сломал себе берцовую кость. Однажды он убил малайца, в другой раз его ранили отравленной стрелой. И в конце концов он погиб в джунглях от пиявок. Все это, разумеется, очень беспокойно, но зато как интересно, за исключением разве только пиявок.

— Все это не пошло ему на пользу, я уверена, — проговорила леди убежденно.

— Да, пожалуй. — Уэдерберн взглянул на часы. — Двадцать три минуты девятого. Я выеду без четверти двенадцать, времени у меня хватит. Я думаю надеть летний пиджак — сегодня достаточно тепло, — серую фетровую шляпу и коричневые ботинки. Дождя, мне кажется...

Он кинул взгляд сперва на безоблачное небо и залитый солнцем сад за окном, затем, с тревогой, на лицо кузины.

— Я считаю, все-таки лучше взять зонтик, раз вы едете в Лондон, — сказала она тоном, не допускающим возражений. — Туда и обратно дорога не очень-то близкая.

Уэдерберн вернулся под вечер в необычном для него взволнованном состоянии. Он совершил покупку. Редко случалось, чтобы он действовал решительно, но на этот раз было именно так.

— Это ванды, а это дендробии и палеонофис, — перечислял он. Глотая суп, он любовно созерцал свои приобретения. Он разложил их перед собой на белоснежной скатерти и, пока обедал, сообщал кухне всяческие о них подробности. По заведенному обычаю каждую свою поездку в Лондон он заново переживал по возвращении, что доставляло удовольствие и ему и его слушательнице,

— Я так и знал, что сегодня что-нибудь произойдет. И вот я купил все это... Некоторые из них — я почему-то положительно убежден в этом, — некоторые из них окажутся замечательными. Ну как будто кто-то сказал мне, что будет именно так, а не иначе. Вот эта, — он указал на сморщенный корень, — не определена. Не то палеонофис, не то что-то другое. Весьма возможно, что это новый вид или даже новый род. Это как раз последний экземпляр из того, что собрал бедняга Баттен.

— Мне неприятно смотреть на это. У нее отвратительная форма.

— На мой взгляд, она пока лишена всякой формы.

— Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки.

— Завтра они спрячутся в горшке под землей.

— Похоже на паука, притворившегося мертвым.

Уэдерберн улыбался и, склонив голову набок, рассматривал корень.



— Да, признаться, не очень красивый образчик. Но об этих растениях никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня на завтра! Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить все это, а уж завтра примусь за работу.

— Беднягу Баттена нашли в мангровом болоте — не то мертвым, не то умирающим, — вскоре заговорил он опять.

— Одна из этих орхидей лежала под ним, примятая его телом. Уже несколько дней перед тем он был болен местной лихорадкой, очевидно, он потерял сознание; эти мангровые болота очень вредны для здоровья. Говорят, болотные пиявки высосали из него всю кровь, всю до единой капли. Может, именно вот эта орхидея, которую он пытался достать, и стоила ему жизни.

— От этого она не кажется мне лучше.

— Пусть жены сетуют, удел мужей трудиться*, — изрек Уэдерберн с глубочайшей серьезностью.

— Только подумать — умереть без всякого комфорта, в каком-то отвратительном болоте! Лежать в лихорадке, и ничего, только хлородин и хина,— если мужчин предоставить самим себе, они будут питаться одним хлородином и хиной, — и никого поблизости, кроме этих противных туземцев! Я слыхала, что все туземцы Андаманских островов ну просто ужасны, во всяком случае, едва ли можно ждать от них хорошего ухода за больным, раз никто их тому не обучал. И все это лишь для того, чтобы в Англии, кто пожелает, мог купить орхидеи!

— Разумеется, удобств там мало, но некоторые находят удовольствие в таком образе жизни, — сказал Уэдерберн. — Во всяком случае, туземцы, которые участвовали в экспедиции Баттена, были настолько культурны, что хранили собранные им растения, пока не вернулся его коллега, орнитолог. Хотя, правда, они дали орхидеям завянуть и не смогли объяснить, к какому виду они принадлежат. Именно поэтому эти растения меня так интересуют.

— Именно поэтому они вызывают во мне отвращение. Я не удивлюсь, если окажется, что на них бациллы малярии. Только представить себе — на этих безобразных корешках лежало мертвое тело. Боже мой, мне сначала это не пришло в голову. Нет, заявляю категорически: я больше не в состоянии куска в рот взять.

* «Три рыбака» Чарлза Кингсли (1819-1875).

— Я приму их со стола, если хотите, и переложу на скамейку у окна. Мне их оттуда так же хорошо видно.

В течение последующих дней он действительно с головой ушел в работу — возился в своей оранжерейке с углем, кусочками тикового дерева, мохом и другими таинственными аксессуарами всякого, кто выращивает орхидеи. Он считал эти дни преисполненными событий. По вечерам он рассказывал друзьям о новых орхидеях. И снова и снова говорил о своем предчувствии чего-то необычного.

Несколько ванд и дендробий погибло, несмотря на все заботы, но странная орхидея вскоре начала показывать признаки жизни. Он был в восторге, когда обнаружил это, и тут же потащил свою кухню в оранжерею, не дав ей доварить варенье.

— Это бутон, — пояснял он, — а тут скоро будет множество листьев. А вот эти маленькие отростки — это воздушные корешки.

— Как будто из бурой массы торчат белые пальцы, — сказала экономка. — Нет, они мне не нравятся.

— Почему же?

— Не знаю. Похоже на пальцы, готовые схватить. Я не вольна в своих симпатиях и антипатиях.

— Не могу, конечно, поручиться, но, насколько мне известно, подобных воздушных корешков нет ни у одного вида орхидей. Впрочем, может, это моя фантазия. Посмотрите-ка, на концах они немного сплющены.

— Они мне не нравятся, — повторила экономка и, вздрогнув, отвернулась. — Я понимаю, это глупо с моей стороны, и очень о том сожалею, раз вы-то от них в таком восторге. Но у меня из головы не выходит этот труп.

— Но разве обязательно это то самое растение? Ведь это только мои догадки.

Она пожала плечами.

— Все равно, они мне не нравятся.

Уэдерберна слегка задело такое отвращение к его орхидее. Но это не помешало ему толковать об орхидеях вообще и об этой в частности, как только у него являлась к тому охота.

— Сколько всегда занятого с этими орхидеями, — сказал он как-то, — столько возможностей и неожиданностей. Дарвин изучал их оплодотворение и доказал, что все строение самого обыкновенного цветка орхидеи приспособлено к тому, чтобы насекомые могли переносить пыльцу с растения на растение. Но существует множество уже известных видов орхидей, которые не могут быть оплодотворены таким образом. Например, некоторые из киприпедий — не известно ни одно насекомое, которое могло бы переносить с него пыльцу. А у некоторых орхидей вообще никогда не находили семян.

— Но как же вырастают новые цветы?

— Из усов и клубней и тому подобного. Это легко объяснить. Непонятно другое: для чего служат цветы? Весьма вероятно, — добавил он, — что моя орхидея окажется в этом отношении совершенно необыкновенной. Если так, я буду ее изучать. Я давно уж собираюсь заняться исследованиями, как Дарвин, но все как-то не находилось времени или что-нибудь мешало. Знаете, листья уже начинают разворачиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы зашли взглянуть на них.

Но она заявила, что в оранжерее слишком душно, у нее там разбаливается голова. Она видела растение уже два раза, — в последний раз воздушные корешки, к сожалению, напомнили ей щупальца, которые словно бы тянутся к добыче. Они стали преследовать ее во сне: будто растут прямо на глазах и стараются ее схватить. Поэтому она решительно заявила, что больше не хочет смотреть на орхидею, и Уэдерберну пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера, широкие, темно-зеленые и блестящие, покрытые у основания пурпуровыми пятнышками. Ему никогда еще не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление: на горячие трубы батареи капала из крана вода, и воздух вокруг насыщался парами. Все послеобеденное время Уэдерберн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении странной орхидеи.

И наконец великое событие свершилось. Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он уже знал, что бутон распустился, хотя огромный палеоофис скрывал от него его сокровище. В воздухе носился новый аромат — сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплице. Уэдерберн поспешил к орхидее, и — о радость! — на свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Уэдерберн замер от восторга.

Цветы были белые, с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках; тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Уэдерберн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжерее! Цветы поплыли у него перед глазами.

Надо проверить, не слишком ли высока температура. Он шагнул к термометру. Внезапно все закачалось. Кирпичный пол поднялся и опустился. Белые цветы, зеленые листья, вся оранжерея — все накренилось, потом подскочило вверх.

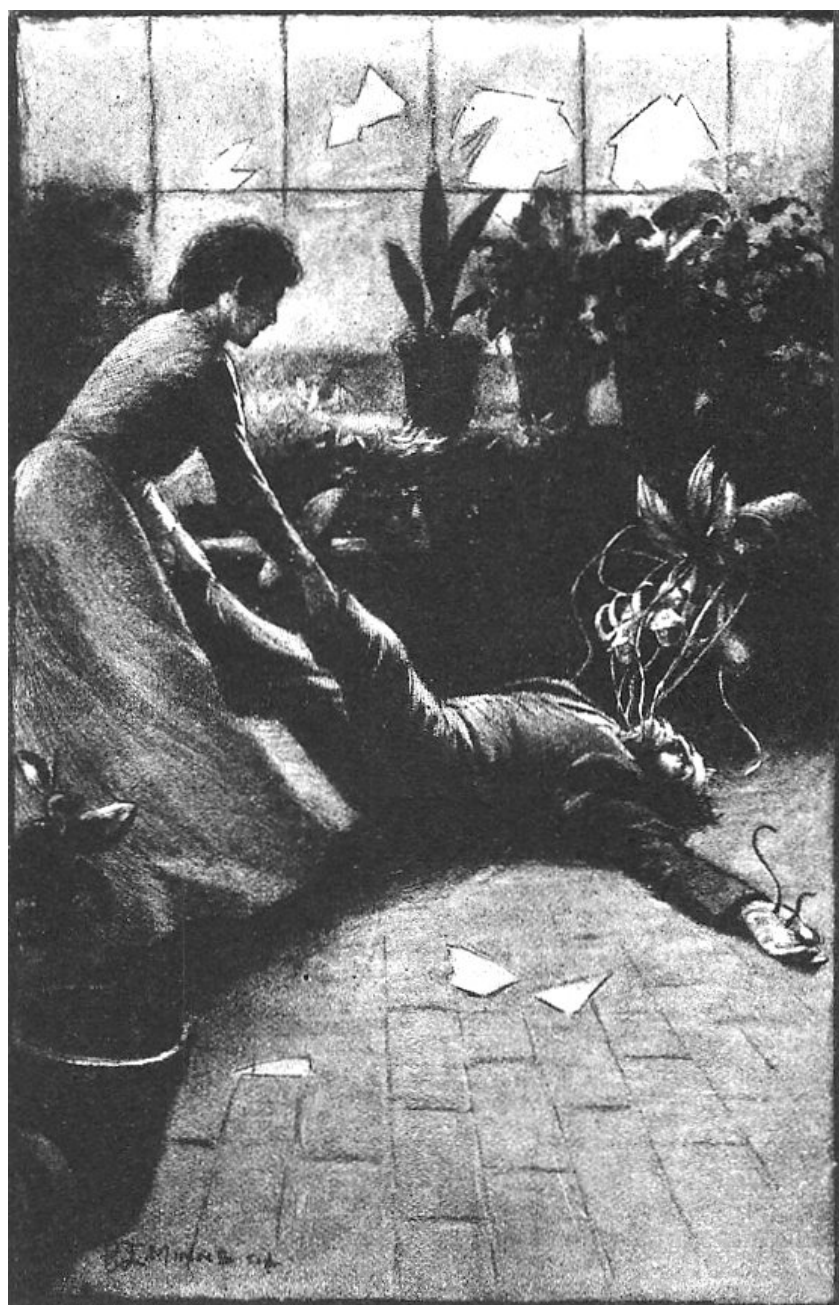
В половине пятого, согласно раз и навсегда заведенному порядку, экономка приготовила чай. Но Уэдерберн к столу не явился.

«Никак не может расстаться со своей противной орхидеей, — подумала она и подождала еще минут десять. — Вдруг у него остановились часы? Надо пойти позвать его».

Она направилась прямо к оранжерее, открыла дверь, окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то, лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи.

С минуту она стояла неподвижно.

Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, — сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки.



Сперва она не поняла. Но тут же увидела на его щеке под одним из хищных щупальцев тонкую струйку крови.

Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок.

От одуряющего запаха цветов у нее начала кружиться голова. Как они вцепились в него! Она тянула тугие веревки, а все вокруг плыло, как в тумане. Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Уэдерберна, она поспешно открыла ближайшую дверь, вдохнула свежий воздух, — и тут ее осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи. Затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Уэдерберна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол. С мрачным упорством растение все еще цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришлось в голову отрывать присосавшиеся корешки по одному, и уже через минуту Уэдерберн был свободен. Он был бледен, как полотно, кровь текла у него из многочисленных круглых ранок.

Поденный рабочий, привлеченный звоном бьющегося стекла, подошел как раз в тот момент, когда она окровавленными руками волокла из оранжереи безжизненное тело. На мгновение он представил себе невероятные вещи.

— Скорее воды! — крикнула она, и ее голос рассеял его фантазии. Когда поденщик с необычным для него проворством вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах; голова Уэдерберна лежала у нее на коленях, она стирала кровь с его лица.

— Что случилось? — спросил Уэдерберн, приоткрыв глаза, и тут же закрыл их снова.

— Бегите живей, скажите Энни, пусть сейчас же идет сюда, а потом за доктором Хэддоном, — сказала она поденщику. И добавила, видя, что тот медлит: — Я все расскажу, как только вы вернетесь.

Вскоре Уэдерберн вновь открыл глаза. Заметив, что его тревожит необычайность его позы, она объяснила:

— Вам стало дурно в оранжерее.

— А орхидея?

— Я пригляжу за ней.

Уэдерберн потерял много крови, но, в общем, особенно не пострадал. Ему дали выпить коньяку с каким-то розовым мясным экстрактом и уложили в постель. Экономка вкратце рассказала доктору Хэддону обо всем, что произошло.

— Сходите в оранжерею и посмотрите сами, — предложила она.

Холодный воздух врывается в открытую дверь, приторный запах почти исчез. Воздушные корешки, разорванные и уже увядшие, валялись среди темных пятен на кирпичном полу. Ствол орхидеи сломался при падении горшка. Края лепестков сморщились и побурели. Доктор наклонился было разглядеть их получше, заметил, что один из воздушных корешков еще слабо шевелится, — и передумал.

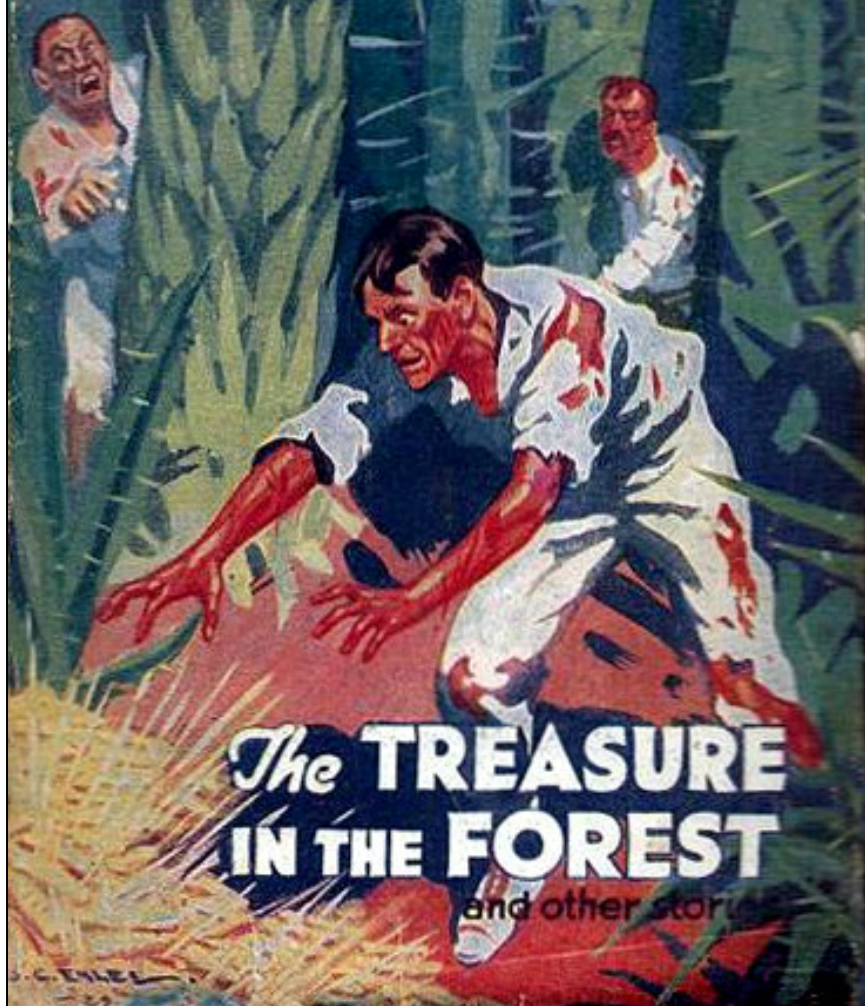
На следующее утро странная орхидея все еще лежала там, почерневшая, испускающая запах гнили. От утреннего ветерка дверь поминутно хлопала, и весь выводок орхидей Уэдерберна съежился и завял. Зато сам Уэдерберн, лежа у себя в спальне, ликовал, упиваясь рассказами о своем необыкновенном приключении.

Герберт Уэллс

Сокровище в лесу

H.G. WELLS

The Master Mind of Modern Times



The TREASURE IN THE FOREST

and other stories

J. C. FINE

Челнок приближался к берегу, и перед путешественниками открылась бухта. Разрыв в сплошной пене прибоя указывал то место, где в море впадала речка. Течение ее можно было проследить по более густым и темно-зеленым зарослям девственного леса, покрывавшего склон холма. Лес подходил к самому берегу моря. Вдали возвышались горы, туманные, точно облака, и похожие на внезапно замерзшие волны. На море была легкая, почти незаметная зыбь. Небо сверкало.

Человек с самодельным веслом в руках перестал грести.

— Должно быть, где-то здесь, — произнес он и, положив весло, указал рукой.

Его товарищ, сидевший на носу челнока, внимательно вглядывался в берег. На коленях у него лежал пожелтевший лист бумаги.

— Поди-ка посмотри, Эванс! — сказал он.

Оба говорили тихо. Губы у них пересохли и шевелились с трудом.

Тот, кого звали Эвансом, пошатываясь, прошел вперед и заглянул через плечо спутника.

Бумага представляла собой грубо набросанную карту. Ее много раз складывали, она выцвела, измялась, была порвана по сгибам, так что приходилось соединять ее куски. На карте с трудом можно было различить очертания бухты, нанесенные почти стершимся карандашом.

— Вот риф, — сказал Эванс, — а здесь лагуна. — Он провел по карте ногтем. — Вот эта кривая, извилистая линия — река, наконец-то напьемся! А звездочка обозначает место, которое нам нужно.

— Видишь пунктирную линию? — сказал человек с картой. — Она прямая и идет от рифа к этим пальмам. Звездочка стоит как раз там, где линия перерезает реку. Когда войдем в лагуну, надо отметить это место.

— Странно, — сказал Эванс, помолчав, — для чего поставлены вот эти значки? Похоже на план дома или чего-то такого, но никак не пойму, почему эти черточки показывают то одно направление, то другое. А на каком языке тут написано?

— По-китайски,— сказал человек с картой.

— Ну, конечно, он же был китаец,— заметил Эванс.

— Все они были китайцы,— сказал человек с картой.

Оба сидели несколько минут молча, вглядываясь в берег, а челнок медленно плыл вперед по течению. Потом Эванс взглянул на весло.

— Твой черед грести, Хукер,— сказал он.

Хукер, не торопясь, сложил карту, сунул ее в карман, затем осторожно обошел Эванса и принялся грести. Движения его были медленными, как у обессиленного человека.

Эванс сидел, полузакрыв глаза, и смотрел, как все ближе подступает пенистая коралловая гряда. Солнце теперь было почти в зените, и небо раскалилось, словно печь. Хотя они были близко от сокровища, Эванс не испытывал того возбуждения, которое предвкушал раньше. Напряженная борьба за карту, длительное ночное путешествие от материка в челноке без запаса еды и питья совсем доконали его, как он выразился. Он старался подбодрить себя, старался думать о золотых слитках, о которых говорили китайцы, но мысленно все время видел перед собой пресную воду, журчащую реку и ощущал невыносимую сухость во рту и в горле. Уже слышались ритмичные удары волн о рифы, лаская слух Эванса. Вода билась о борт челнока. При каждом взмахе весла с него падали капли. Эванс задремал.

Он смутно сознавал, что они приближаются к острову, но к этому примешивались странные сновидения. Он снова переживал ту ночь, когда они с Хукером случайно узнали тайну китайцев. Он видел деревья, залитые лунным светом, небольшой костер и темные фигуры трех китайцев, с одной стороны посеребренные луной, а с другой освещенные пламенем костра. Он слышал, как китайцы разговаривали между собой на ломаном английском языке, потому что все они были уроженцами разных провинций. Хукер первый уловил суть их разговора и посоветовал Эвансу прислушаться. Временами они ничего не могли расслышать, а те обрывки разговора, которые доносились до них, были непонятны. Речь шла о каком-то испанском судне с Филиппин, севшем на мель, и о его сокровищах, спрятанных до лучших времен.

Людей с погибшего корабля осталось мало: одни заболели и умерли, кого-то убили в ссоре, наконец, те, кто уцелел, ушли в море на шлюпках, и о них ничего больше не было слышно. А потом Чанг Хи всего лишь год назад попал на остров и случайно наткнулся на слитки золота, пролежавшие там двести лет. Он бросил джонку, на которой приехал, и один с огромным трудом закопал сокровище в новом месте, очень надежном; он особенно подчеркивал надежность этого места, — очевидно, тут он чего-то не договаривал. Теперь ему нужны были помощники, чтобы вернуться на остров и извлечь сокровище. Затем в воздухе замелькала карта, и голоса затихли. Недурная история для ушей двух бродяг-англичан без пенни за душой! А затем Эванс увидел во сне, что он держит Чанг Хи за косу. Чего там, жизнь китайца не так священна, как жизнь европейца! Теперь перед Эвансом возникло хитрое лицо китайца; сперва выражение его было яростным и напряженным, как у внезапно потревоженной змеи, потом оно стало испуганным, жалким и в то же время полным затаенного коварства, а под конец Чанг Хи непонятно и неожиданно усмехнулся. Потом стало очень жутко, как это иногда бывает во сне. Чанг Хи что-то быстро и неясно бормотал, угрожая ему. Эванс видел груды золота, но Чанг Хи мешал ему и боролся с ним, отталкивая его от сокровища. Эванс схватил Чанг Хи за косу; какой большой этот желтолицый и с какой силой он отбивался, усмехаясь... Чанг Хи становился все больше и больше. Вдруг блестящие кучи золота превратились в ревущую печь, а огромный дьявол, удивительно похожий на Чанг Хи, но с большим черным хвостом, стал совать раскаленные уголья в глотку Эванса. Они сильно обжигали. Другой дьявол выкрикивал его имя: «Эванс, Эванс, не спи, болван!» Или это был голос Хукера?

Эванс очнулся. Они были у самого входа в лагуну.

— Здесь должны быть три пальмы, в одну линию с этими кустами, — сказал Хукер, — смотри-ка. Когда доплывем к зарослям, потом свернем вон к тому кусту и доберемся до места, как только войдем в речку.

Перед ними было устье реки. Увидев реку, Эванс воспрянул духом.

— Поторопись, друг, — воскликнул он, — а то, ей-Богу, напьюсь морской воды!

Он сжал зубами руку и, не отрываясь, смотрел на серебряную полосу воды между скалами и зелеными зарослями.

Потом он чуть не с яростью взглянул на Хукера.

— Дай-ка мне весло, — проговорил он.

Они достигли устья. Проплыв немного вверх, Хукер зачерпнул горстью воду, попробовал и выплюнул. Проехав еще немного, он снова попробовал воду.

— Годится, — сказал он, и они стали жадно пить.

— К черту! — внезапно воскликнул Эванс. — Так не напьемся! — Рискаю выпасть из челнока, он перегнулся через его борт и начал пить прямо из реки.

Наконец они напились, ввели челнок в небольшой приток реки и собрались вылезть на берег среди густых зарослей, спускавшихся к самой воде.

— Нам придется продираться сквозь заросли к берегу моря, чтобы найти кустарник и от него прямо идти туда, куда нам нужно, — сказал Эванс.

— Лучше проедем туда на лодке, — предложил Хукер.

Они снова вывели челнок в реку и стали грести к морю, а потом вдоль берега, туда, где рос кустарник. Здесь они остановились, втащили легкий челнок на берег и пошли к лесу; они шли до тех пор, пока лагуна и кустарник не оказались перед ними на одной линии. Эванс захватил с собой из челнока туземную одноконечную кирку с полированным камнем на конце поперечины. Хукер нес весло.

— Теперь прямо вон туда, — сказал он, — будем пробираться сквозь кусты, пока не выйдем к реке. А там поищем!

Они пробивались сквозь густые заросли тростника, гигантских папоротников и молодых деревьев. Сначала идти было трудно, но скоро стало попадаться все больше высоких деревьев с открытыми полянками между ними. Яркий свет солнца почти незаметно сменялся прохладной тенью. Наконец они очутились среди огромных деревьев, сплетавшихся высоко над их головами в зеленый шатер. Со стволов свешивались тускло-белые цветы, от одного дерева к другому перекидывались ползучие растения. Тени сгущались. На зем-

ле все чаще встречались бурые пятна мха и лишайников.

По спине Эванса пробежала дрожь.

— Здесь даже как-то холодно после жары на берегу, — сказал он.

— Надеюсь, мы правильно идем, — заметил Хукер.

Далеко впереди в густом мраке они увидели наконец про-свет там, где лучи жаркого солнца пронизывали лес. Здесь был густой подлесок и росли яркие цветы. Затем они услы-хали шум воды.

— Вот и река. Она, должно быть, близко, — заметил Ху-кер.

Берега реки густо заросли. Пышные растения, еще не по-лучившие названия, зеленели среди корней высоких дере-вьев и поднимали к небу свои гигантские веерообразные листья. Было множество цветов, и какие-то ползучие расте-ния с яркой листвой цеплялись за стволы. На поверхности широкой заводи, которую охотники за кладом сначала не заметили, плавали большие овальные листья и бледно-розо-вые, точно восковые, цветы, напоминавшие водяные лилии. Дальше, где река сворачивала в сторону, она была покрыта пеной и шумела на порогах.

— Ну как? — сказал Эванс.

— Немного отклонились от прямой, — ответил Хукер, — так и следовало ожидать.

Он повернулся и стал всматриваться в прохладную гус-тую тень безмолвного леса.

— Если побродить по берегу вверх и вниз, мы найдем то, что нам нужно.

— Ты говорил... — начал Эванс.

— Он говорил, что там груда камней, — закончил Хукер. Оба внимательно посмотрели друг на друга.

— Давай для начала поищем немного ниже по течению, — предложил Эванс.

Они пошли вперед медленно, с любопытством огляды-ваясь по сторонам. Вдруг Эванс остановился.

— Что там за чертовщина? — проговорил он.

Хукер посмотрел туда, куда Эванс указывал пальцем.

— Что-то синее, — заметил он.

Они только что поднялись на пригорок и оттуда увидели какой-то непонятный синий предмет. Хукер почти сразу догадался, что это такое.

Он быстро пошел вперед и увидел мертвое тело с согнутой рукой; она-то и привлекла их внимание. Рука крепко сжимала кирку. Человек оказался китайцем. Он ничком лежал на земле, и по положению тела было ясно, что он мертв.

Хукер и Эванс подошли ближе и молча смотрели на зловещие останки. Труп лежал на открытой поляне под деревьями. Поблизости была китайская лопата, а дальше — разбросанная куча камней и возле нее свежевырытая яма.

— Кто-то здесь уже побывал, — хрипло промолвил Хукер. Внезапно Эванс начал ругаться и топтать ногами.

Хукер побледнел, но ничего не сказал. Он подошел к простертому телу и увидел, что шея мертвеца была красной и распухшей. Распухли также его руки и ноги.

— Фу! — сказал Хукер, резко отвернулся и подошел к яме. Он вскрикнул от удивления. — Болван! Все в порядке! — обратился он к Эвансу, который медленно шел за ним. — Сокровище здесь!

Он опять взглянул на мертвого китайца, а затем снова на вырытую яму.

Эванс подбежал к яме. Перед ним лежали тускло-желтые бруски, наполовину вытащенные из земли злополучным китайцем. Эванс наклонился над ямой и, расчистив руками землю, торопливо вынул один из тяжелых брусков. При этом какой-то маленький шип уколол его в руку. Он вытащил тоненький шип пальцами и поднял слиток.

— Только золото и свинец могут быть такими тяжелыми, — в радостном волнении сказал он,

Хукер все еще смотрел на тело. Что-то ему было непонятно.

— Он забежал вперед тайком от приятелей, — наконец заметил Хукер, — пришел сюда один, а здесь его укусила ядовитая змея. Интересно, как он нашел это место?

Эванс стоял, держа в руках слиток. Что значил какой-то мертвый китаец?

— Нам придется по частям перетащить все это на ма-

терик и на время опять закопать там, — проговорил он, — но как мы дотащим все эти слитки до челнока?

Он снял куртку, разложил ее на земле и бросил на нее два или три слитка. При этом он заметил, что еще один шип впился ему под кожу.

— Больше нам не снести, — сказал он и добавил с неожиданным раздражением: — На что ты там уставился?

Хукер взглянул на него.

— Невыносимо... У него такой вид... — Он кивнул в сторону трупа. — Он так похож...

— Чепуха! — сказал Эванс. — Все китайцы похожи друг на друга.

Хукер смотрел в лицо своему товарищу.

— Во всяком случае, я похороню его, прежде чем при-
тронусь к сокровищу.

— Не валяй дурака, Хукер, — сказал Эванс. — Оставь эту пададь.

Хукер колебался. Он медленно осмотрел бурую землю вокруг.

— Меня это как-то пугает, — проговорил он.

— Вопрос в том, — сказал Эванс, — что делать с этими слитками: снова закопать их где-нибудь здесь или перевезти на челноке через пролив?

Хукер молчал. Тревожным взглядом обводил он высокие стволы деревьев и далекие, залитые солнцем зеленые ветви над головой. Когда глаза его остановились на китайце в синей одежде, он снова вздрогнул.

— Что с тобой, Хукер? — спросил Эванс. — Ты спятил?

— Так или иначе, надо унести отсюда золото, — ответил Хукер.

Он взялся за ворот куртки Эванса, а тот ухватился за полы, и они подняли золото.

— Куда пойдем? — спросил Эванс. — К челноку? Странно, — добавил он, сделав несколько шагов, — у меня все еще болят руки от гребли... Черт побери! Здорово болят. Придется сделать передышку.

Они положили куртку на землю. Лицо у Эванса побледнело, и лоб покрылся мелкими капельками пота.

— Что-то душно здесь, в лесу, — пробормотал он.

С внезапным приступом необъяснимой ярости он закричал:

— Что толку весь день торчать здесь! Слушай-ка, поднимай куртку. Как ты увидел мертвого китайца, так ничего больше не делаешь, только глазеешь по сторонам!

Хукер пристально смотрел в лицо своему компаньону. Он помог поднять куртку со слитками, и они молча пошли дальше. Пройдя шагов сто, Эванс начал задыхаться.

— Что с тобой? — спросил Хукер.

Эванс, спотыкаясь, сделал еще несколько шагов, а затем с проклятием вдруг уронил куртку, так что золото вывалилось. С минуту он стоял, глядя на Хукера, и затем со стоном схватился за горло.

— Не подходи ко мне! — проговорил он, прислонившись к дереву, и более твердым голосом добавил: — Мне сейчас станет легче.

Пальцы его, сжимавшие ствол дерева, разжались, и он стал медленно сползать вниз, пока не рухнул бесформенной массой к подножию дерева. Руки его судорожно сжимались, лицо было искажено болью. Хукер подошел к нему.

— Не трогай меня! Не трогай! — задыхаясь, проговорил Эванс. — Положи золото на куртку.

— Может, помочь тебе? — спросил Хукер.

— Положи золото на куртку!

Когда Хукер поднимал слитки, он почувствовал, как что-то укололо его в большой палец. Он взглянул на руку и увидел тонкий шип дюйма в два длиной.

Эванс вскрикнул и стал кататься по земле.

У Хукера вытянулось лицо. Он смотрел на шип блуждающими глазами. Потом посмотрел на Эванса, который корчился на земле; его тело поминутно сводила судорога. Потом Хукер посмотрел туда, где между стволами деревьев и паутиной ползучих растений в тусклой серой дымке неясно виднелось тело китайца в синей одежде. Хукер вспомнил черточки в углу плана и сразу понял все.

— Господи, помоги мне! — проговорил он.

Эти ядовитые шипы были в точности похожи на те, ко-

торыми даяки стреляют из своих духовых ружей.

Хукер понял теперь, почему Чанг Хи был так уверен, что клад спрятан надежно. Он понял и усмешку Чанг Хи.

— Эванс! — закричал Хукер.

Но Эванс лежал безмолвно и неподвижно, только руки и ноги у него временами подергивались в предсмертной судороге. В лесу стояла глубокая тишина.

Тогда Хукер принялся с отчаянием сосать то место на большом пальце, где виднелось крошечное розоватое пятнышко. Он сосал и сосал — он боролся за жизнь. Внезапно он почувствовал тупую боль в руках и плечах, пальцы его с трудом сгибались, и он понял, что сосать не стоит.

Он сразу опустил руку и сел рядом с грудой слитков. Положив подбородок на руки и опершись локтями на колени, он смотрел на все еще вздрагивавшее тело Эванса. В памяти снова возникла усмешка Чанг Хи. Тупая боль теперь подступала к горлу и понемногу усиливалась. Высоко над его головой легкий ветерок шевелил листву, и белые лепестки неведомого цветка, кружась, падали в лесном полумраке.

Эдмонд Ноллани
Хранитель
Таинственного острова

На белом склоне песчаного пляжа в Орре рыбаки, только что вернувшиеся с ночной ловли, были заняты делом — разгружали лодки, разбирали свои ловушки и чинили сети. Меж берегом и морем в чистом летнем воздухе вырисовывались еще две спокойные фигуры. Молодой человек, явно опережавший других в умственном развитии, стоял рядом с перевернутой лодкой; сидевший на ней старый рыбак штопал сеть и сообщал своему внимательному слушателю некоторые любопытные сведения об окружающих их островах залива. Художник по достоинству оценил бы контраст в одежде и внешности этих двух мужчин. Чистое, впечатлительное лицо гибкого и элегантного молодого человека, изящно облаченного в белую фланель, было полной противоположностью обветренных черт дюжего, грубо одетого моряка, чье простое, но добродушное лицо хорошо затеняла клеенчатая шляпа.

— Никакой земли между ним и Испанией, сэр.

— Пробел между континентами, — шутливо перебил молодой человек.

— Вот только я не поплыл бы туда за все золото в мире. Отсюда и до него еще много земли, слава Богу! Видите, это самый дальний из всех островов.

— Да, я вижу, Билл, — ответил молодой человек, устремив насмешливый взгляд на маленькое темное пятнышко посреди голубизны. — Он, должно быть, милях в десяти?

— Не считал.

— И что может помешать человеку посетить ваш «Таинственный остров», если он захочет?

— Стало быть, сэр, там зарыто золото Кидда, но ни один парень с нашего побережья не решится поплыть за ним. Потому как в бухту ведет только узкий проход между двумя утесами, под водой там сплошные рифы, и все это чертовски мерзкое место, даже если бы оно не охранялось...

— Охранялось? Кем?

— Псом, треклятым псом с глазами, как фонари на маяке. Они за десяток миль светят и предвещают беду. Кто увидит того пса, пусть лучше молится Богу, потому как недолго ему оставаться среди живых.

Молодой человек, которого звали Ленартсон — Сэм Ленартсон — откровенно рассмеялся. Мысль о том, что здравомыслящие рыбаки могли поверить в такую историю, показалась ему до крайности нелепой.

Он сразу же решил разоблачить их глупые суеверия.

— Билл, — сказал он, порывисто оборачиваясь к рыбаку, — дай мне лодку и пару весел, и я отправлюсь туда сегодня же и развею всю твою захватывающую романтику.

— Боже мой, сэр!

Билл беспомощно опустил свои мозолистые руки, пепельная бледность разлилась по его лицу.

— Вы ничего не знаете, сэр. Двадцать лет назад, сэр, к нам приехала компания молодых парней из города. Они ничего не желали слышать, поплыли туда и так и не вернулись. Вы не жили в этих краях и не видали знаки. Всякий раз, как этот адский зверь показывается, на наше побережье обрушивается страшный ураган. Да это все равно, что помочь вам утробить себя. Глупо даже думать об этом.

— Билл, ты мог бы с таким же успехом дать мне свою лодку, чтобы я не утруждал себя поиском другой, ибо я непременно отправлюсь на Таинственный остров и хотел бы отплыть сегодня утром. Я торжественно клянусь разрушить ужасные чары, которые имеют власть над вами только потому, что вы в них верите. И после того, как я войду в бухту, одолею пса и уничтожу то, что вы зовете тамошним царством дьявола, никто из вас, ребята, не будет оспаривать мое право на золото капитана Кидда.

Билл был тугодумом и не успел выдвинуть новое возражение. Загипнотизированный силой духа и энергией молодого человека, он поднялся со своего места, с упрямым видом указывая на лодку.

— Если хотите, так тому и быть; а только я вас предупредил.

Молодой человек спустил лодку на воду и стал грести.

— Берегитесь шквала, — крикнул рыбак ему вслед. Молодой человек лишь приподнял шляпу, словно прощаясь с близким другом.

Сэма нельзя было назвать чрезмерно осмотрительной

натурой, и предупреждение о погоде не вызвало у него беспокойства. Прекрасные острова залива Каско один за другим исчезали у него за спиной, а остров, куда он держал путь, все отчетливее вырисовывался впереди. Внезапно он ощутил холод, поднял глаза и увидел сгущающуюся массу облаков: последние полчаса они незаметно выстраивались на небесной равнине, а теперь быстро темнели, набухая летним ливнем.

Зловещий порыв ветра ударил в лоно великой бездны. Лодка испуганно вздрогнула и резко накренилась. Сэм огляделся вокруг настороженным и встревоженным взглядом.

Он был недалеко от маленькой бухточки. Между двумя обрывистыми утесами виднелась круто наклоненная песчаная полоса.

Рифы по обе стороны прохода делали его таким узким и опасным, что их прозвали Черными змеями. Бурлящий прилив кипел, как ведьмин котел, выбрасывая белую пену сердитых волн высоко на утесы, а те отражали ее с такой силой, что лодка, несомая в этом направлении, казалась обреченной на верную гибель.

В тот момент, когда Ленартсон собирался оседлать волну, которая должна была благополучно доставить его в маленькую гавань, свирепый порыв ветра, налетевший с неожиданной стороны, подхватил его легкое суденышко. Прежде, чем он успел оказать сопротивление, лодку развернуло бортом к одному из вздымающихся бурунов. В таком положении, в почти опрокинувшейся лодке, промокший насквозь и ослепленный проливным дождем, с залитым солеными брызгами лицом, он мог только ждать неизбежной смерти; но капризный ветер, забавлявшийся с хрупким суденышком, как с бумажной игрушкой, внезапно развернул лодку. Гребень падающего буруна подхватил ее и швырнул ее в бухту, где она приземлилась с резким ударом футах в двадцати от линии прибой.

Ленартсон упал лицом вперед и некоторое время лежал, наполовину оглушенный. Затем, когда вспышка молнии и раскат грома пробудили в нем чувство опасности, он выпрыгнул из лодки и потащил ее вверх по склону как раз во-

время, чтобы спасти от возвращающейся волны. Найдя торчащий из песка сломанный кол, он привязал лодку и побежал к деревьям, ища укрытия от дождя среди высоких и сомкнутых колонн сосен и елей. Под толстым слоем переплетенных ветвей в леске царила почти непроницаемая темнота.

Когда ливень иссяк и свет проник сквозь разрывы в облаках в темную крепость леса, Ленартсон разглядел густую, буйную листву, не характерную ни для местных островов, ни для этих широт. Повсюду в неслыханном изобилии росли кустарники и цветы самых разнообразных оттенков, наводя на мысли о странах, где водятся смертоносные кобры. Даже более знакомые Ленартсону деревья достигали здесь небывалой высоты и ширины.

Пробираясь сквозь густой подлесок вглубь острова, он заключил, что этот клочок земли был необитаем; он также пришел к выводу, что в этих местах уже много лет не ступала нога человека — попадавшиеся по пути мелкие животные и птицы, вылетавшие из своих укрытий, совершенно не боялись его.

Едва он сделал этот вывод, как поблизости раздался отчетливый собачий лай.

Очевидно, кто-то еще выбрал этот же день для визита на остров.

Ведомый звуком голоса животного, он вскоре вышел на участок, когда-то представлявший собой небольшую поляну площадью в сотню квадратных футов; в настоящее время она была полностью покрыта новой порослью деревьев. Здесь, среди нагромождения гнилых пней и спутанных кустов подлеска, он увидел грубую дощатую хижину. Перед ней, задрав нос, сидела собака, ставшая причиной его путешествия.

Отнюдь не будучи грозным созданием рыбацких баек, эта благородная развалина породы мастиф плохо подходила для того, чтобы устраивать полуночные оргии с ураганами и колдовать с адскими силами. Каждая клеточка ее бедного старого тела, казалось, взывала об одеяле и конуре.

Глаза пса мало напоминали злоеющие огненные шары, видимые за десять миль в море, если верить фантазиям ры-

баков. Они были довольно тусклыми и жалобно молили о дружеском признании.

Бедняга каким-то образом отбился от своего хозяина — по крайней мере, так решил Сэм — и в собачьей тоске оплакивал свое несчастье.

— Привет, старина! ты что, потерял его? Ну, ничего, сейчас мы все проясним.

В хижине обнаружилась лишь паутина и искусные восьминогие ткачи. Убедившись, что хибарой не пользовались много лет, Ленартсон снова повернулся к собаке.

— Пойдем, Джек, — сказал он, — пойдем, поищем твоего хозяина.

Издав властный лай, понимаемый людьми как знак собачьего согласия, огромное львиноподобное существо кинулось в чашу.

Это действие выявило то, что некогда было тропой, а теперь, как и все прочие следы человека на острове, указывало на частичное поражение в борьбе с природной дикостью леса.

Продираясь сквозь ежевику и шиповник, Ленартсон шел по заросшей тропинке. Собака по-прежнему бежала впереди, пока сквозь раздвинувшиеся ветви деревьев внезапно не пробился луч света. Мгновение спустя они вышли на прогалину, где изумленному взору Ленартсона предстал величественный старинный особняк, построенный из камня и окруженный запущенными террасами и заросшими садами, на которые в свое время было потрачено много средств и заботы.

Теперь, однако, острые зубы времени вгрызлись в тело старого дома: дымоходы рухнули, плиты на дорожках провалились, изуродованный и упавший забор гнил под гнилыми заплесневелыми опавшими листьями.

Заброшенный дом придавал всему своему окружению меланхолическую атмосферу.

Молодому человеку показалось немного странным, что никто в Орре никогда не упоминал при нем ни о доме, ни о его строителях и обитателях.

«Почему же?» — удивлялся он.

Пес не оставил ему времени подробно обдумать этот вопрос. Он взбежал по ступенькам, пробежал по каменной веранде и прыгнул через широкую дверь в холл, у входа в который уходил наверх пролет винтовой каменной лестницы.

Ленартсон поспешил за ним, успев заметить, что занавески на нижних окнах были почти невидимы снаружи из-за толстого слоя пыли, покрывавшей стеклянные панели. Поднимаясь по лестнице, он почувствовал холод сырого и заплеснелого дома.

Верхний зал являл застывшую картину открытых дверей, пыльного пола и затянутых паутиной углов. Шаги Ленартсона, казалось, вызывали призрачный звон ответного эха в пустых коридорах. Пес вошел в одну из открытых дверей справа от лестницы, и Ленартсон остановился на пороге, прислушиваясь к затрудненному дыханию больного или умирающего человека.

Странное путешествие привело его к постели пожилой женщины, лежавшей под грудой истрепанных шелковых одеял и измятых покрывал, в крайнем беспорядке наброшенных на ее исхудалое тело. Губы, тонкие и изрезанные желтыми морщинами, были приоткрыты над беззубыми деснами в едва ли не тщетной борьбе за дыхание. Похожие на когти пальцы нервно вцепились в потертое покрывало, когда огромное существо, стоявшее рядом с Ленартсоном, запрыгнуло на кровать и лизнуло иссохшую щеку своей хозяйки. Затем пес улегся, положив голову на лапы, и его глаза с мольбой уставились на незнакомца.

Ленартсон в замешательстве оглядел комнату и заметил в ней, как и везде, следы запустения. На дубовом полу лежал пыльный ковер, потолок и парчовые шторы, провисшие над четырьмя большими окнами комнаты, были затянуты паутиной.

Так вот она, тайна Таинственного острова! Кровь Ленартсона кипела от негодования. Старая женщина! Брошенная, это было очевидно, и умирающая без присмотра, если не считать собаки, ее последнего друга на земле!

Когда он вошел, она посмотрела на него помутненным взором и перевела блуждающий взгляд своих диких темных

глаз на распятие, стоявшее на столике у изголовья кровати. Это распятие было единственной вещью в непосредственной близости от умирающей, способной принести ей утешение, поскольку на столе не было ни хлеба, чтобы поддерживать ее слабеющие силы, ни воды, чтобы охладить ее пересохшие губы.

— Вы больны, — сказал молодой человек дрожащим от жалости голосом. — Что я могу для вас сделать?

Услышав его слова, старуха подскочила в постели и сердито устремила на Ленартсона темные, похожие на пещеры глаза. Она вытянула вперед длинные, худые руки, с торчащих косточек которых спадало изодранное кружево ночной рубашки.

— Пьер! Пьер! — чуть ли не взвизгнула она, когда Ленартсон отпрянул от непрошенных объятий. — Наконец-то! Наконец-то! О, Боже мой, почему ты оставил меня одну в этом странном пустынной краю?

Она говорила по-французски, и Ленартсон, хорошо знавший этот язык, смог узнать секрет ее происхождения.

Значит, она была покинута, это бедное старое создание — беженка из солнечной страны, обреченная вести жалкую жизнь на Богом забытом острове.

— Мадам, — прервал он ее с почтительным сочувствием, — я не Пьер; я незнакомец, которого провидение привело к вам в этот трудный час. Могу ли я дать вам еды или питья, и где их можно найти?

С неимоверным усилием она выпрямилась и села на кровати. Это движение привлекло его внимание к сверкающим кольцам, украшавшим ее желтые, сморщенные руки.

— Ах! вы хотите обмануть меня, и с какой же целью, я спрашиваю?

Она ткнула ему в лицо своим старым, тощим указательным пальцем, выражающим презрение, смешанное с гневом.

— Милостивый государь, я приказываю вам покинуть меня. Если я останусь одна, пусть будет так. Голова короля пала — эти собаки неплохо поработали. Не бойтесь, в конце концов Франция вернется к здравому смыслу. Мы найдем другого короля. Нет, милостивый государь! Я отказываюсь

от вашей помощи в этом деле. Мы не трусы, так и знайте.

Вспоминая сцены прошлого, старуха говорила с высокомерным самодовольством; но вдруг перед ней предстал весь ужас какого-то пугающего события, и она с криком страха всплеснула руками.

— Что они творят, эти скоты на улице? Это она, моя дорогая королева. Быстрее, подайте мой плащ — сюда — нас не должны увидеть. Бастилия пала! Нашу невинную, убитую горем белую королеву отведут в Консьержери! Темно, дорогой — дайте мне вашу руку — нас подозревают, но мы также защищены. Давайте полетим! Народ давит ногами знать, точно виноград в давилъне — льется кровь, проклятия омрачают воздух. Это не Франция, это столпотворение, это дом умалишенных, это ад!

Пока она произносила свою торопливую, задыхающуюся от ужаса речь, Ленартсон стоял как вкопанный. Договорив, мадам, бледная от изнеможения, опустилась на подушки. Затем, когда угасающий огонек свечи вспыхнул ярким пламенем, старые губы пробормотали:

— Смилуйтесь, мой господин! Не оставляйте меня с этими неотесанными парнями даже на такое краткое время. Вы верите, что слабая женская рука может защитить такое огромное сокровище? Земля, где оно зарыто, — всего лишь открытое хранилище; в ваше отсутствие замок молчания будет взломан, и этот дьявол, алчность, которую я вижу в глазах каждого человека, свободно проявит себя.

Ах! растение — дьявольское растение! Я не подумала об этом. Посадите его завтра вон на тот валун, откройте ему доступ к солнцу и воздуху. Суеверия остановят их жадную охоту на ваше золото, господин граф. Оно будет жить — подобно злу в сердцах людей, оно слишком злокозненно, чтобы умереть.

Старая женщина беспокойно заворочалась. Крупные капли пота выступили у нее на лбу.

— Пьер! Пьер! — простонала она. — Это не дьявольское растение, это душа, плененная и не знающая отдохновения; это моя душа, выкрикивающая безмолвные проклятия небесам.

Ах, господин граф, это была неудачная мысль — увести женщину из дворцов и тронов в лесную хижину, из общества принцев в компанию воров. Но золото соблазнило вас, мой бедный граф. Ради обещанного при новом режиме титула мы вступили в заговор. Пират продал вам секрет спрятанного сокровища. Он плавал с великим капитаном; он знал, что сокровище здесь. Клянусь, мы были странным сборищем. Дом был построен тайком, из материалов, привезенных на корабле, и сокровище было спрятано. Считалось, что это секрет, но когда у двоих есть секрет, он становится достоянием многих. Ваше дьявольское растение было посажено, чтобы защищать золото. Это дьявольское растение — всего лишь малое зло, подобное зарождающимся причинам революции; рука, которая дала ему нечестивую жизнь и подпитывала его рост, слабела по мере того, как зло набирало силу, захватывая землю. И дьявольское растение графа не просто защитило сокровище; золото было похоронено и поглочено тем, что он привез из Индии. Маленький, выющийся, ползучий сорняк, спрятанный в золотой коробочке, родственник дышащим растениям, но отступник, жалкий изгой из мира цветов, воплощающий всю их страсть к росту и размножению, но наделенный жестокими инстинктами и силой гадюки.

О чем она говорила? Ее слова казались бессвязными.

Судя по ее обрывочным речам, она бежала от французской революции и прибыла к этим берегам в компании со своим сыном, или кем бы там ни были Пьер или граф; во время своего бегства они столкнулись с отрядом пиратов, который привел их к этому месту, где теперь под каким-то чудовищным растением лежало их спрятанное сокровище. Но что это? Она снова заговорила, положив руку на голову собаки.

— Ах, Роллин, это ты? Ты более верен, чем мужчины. Они оставили меня здесь умирать в одиночестве — ибо я умираю, — но после смерти я не стану лежать в тишине среди этой дикой природы.

Если мое тело будет приковано к этой проклятой земле, возможно ли, что дух мой сможет покинуть место своих пы-

ток? Нет! нет! Я буду странствовать по земле до воскрешения мертвых. Недаром мои ноги протоптали тропинку к тому дьявольскому растению: подобно ему, я обречена извиваться, ползти и жить вечно.

Назад, во Францию! О, души умерших! если вы слышите жалобы смертных, если души ваши знают сочувствие человеческому горю, я призываю вас стать свидетелями последнего крика моего воплощенного духа, тоскующего о стране его рождения — верните меня во Францию!

С криком агонии, от которого у Ленартсона кровь застыла в жилах, она в последнем отчаянном порыве упала лицом в колени и осталась лежать с сокрытым лицом, раскинув руки, а волосы свободно ниспадали вокруг ее худой белой фигуры, как изношенная и разорванная вуаль.

Ленартсон, потрясенный и очнувшийся от транса, поспешил приподнять ее, надеясь дать ей возможность отдышаться. Слишком поздно! Свеча погасла. Она была мертва.

Он мрачно сложил на ее груди старые руки и опустил изможденные веки Великой Мадам. Какая грустная повесть! Как странно, что он стал свидетелем заключительных сцен подобной трагедии!

Сделав все, что было возможно, он решил вернуться в Орд, чтобы сообщить о случившемся. Если на этом острове и вправду спрятано сокровище, последний крик ушедшей души должен быть услышан. Покойницу следует отвезти обратно во Францию. Однако сначала он должен разгадать последнюю тайну золота и дьявольского растения.

После недолгих поисков он обнаружил нечто похожее на заросшую тропинку, которая вела из сада к внутренней части острова и находилась прямо напротив той, по которой он пришел. Ленартсон сразу же начал пробираться по ней.

Через некоторое время он вышел на открытое округлое пространство шириной с полмили; с приближением к его границам деревья редели и становились карликовыми. В центре этого участка зеленой земли, вовсе лишенного кустарников и деревьев, располагался длинный утес, поднимавшийся в некоторых местах на высоту тридцати-сорока футов. Повсюду вокруг него высокая трава податливо склонялась под

легким дуновением ветра. Весь валун, во многих местах стелая на землю по его склонам, покрывала своеобразная масса, чьи узкие шипастые листья являли собой живое море зелени. Растение, казалось, было наделено способностью к движению, поскольку без видимой причины вздымалось и опускалось, подобно рывкам гусеницы-землемера или непрерывному накату морских волн.

Некоторые ветви растения, свисающие с вершины утеса, были размером с тело анаконды. Покрывавшая их гладкая и пятнистая кора чем-то напоминала по цвету кожу этой рептилии. Ветви и стебли были усеяны блестящими венчиками листьев, расстояние между которыми составляло около четырех дюймов. Из центра каждого торчал пучок усиков и гроздь пламенеющих звездообразных соцветий. Длинное, влажное и темное, это прекрасное дьявольское растение раскачивалось взад и вперед. С промежутками секунд в десять ветви и усики сокращались таким образом, что все листья сходились вместе и полностью скрывали ветви, на которых они росли; затем ветви снова вытягивались вперед.

Именно это необычное движение, чем-то походившее на дыхание, вызывало вздымающееся, ползущее перекатывание всей массы наверху и дрожащую вибрацию конечностей внизу.

Зачарованный, Ленартсон стал подбираться ближе, надеясь выяснить, насколько опасным было растение, обходясь при этом без рискованных приключений.

Он подходил все ближе и ближе, глядя на растение с подозрением, будто высматривая затаившегося врага, и осторожно пробираясь сквозь высокую траву. «Здесь ли? — раздумывал он. — Или вон там, прямо под этим беспокойным морем листьев, было зарыто великое сокровище?»

Внезапно он наткнулся на что-то, спрятавшееся в траве, и оно прыгнуло на него, резко и плотно обвившись вокруг его ступней и лодыжек; запутавшись, он был сбит с ног и упал навзничь на землю. Не успел он подняться на колени, как почувствовал, что его быстро тянет к утесу, на котором росла огромная масса дьявольского растения. Ветвь, похожая на змею, свернувшись кольцами и, прячась в траве, поймала его

осторожные ноги; теперь, быстро сворачиваясь, она сердитыми рывками несла его к громадному растению. В испуге Ленартсону казалось, что оно приподнималось с земли и приближалось к нему, полное злобной жизни. В этот миг он вспомнил о рыбацком ноже, который случайно положил в карман. С трудом встав на колени, он выхватил нож и ринулся в отчаянную атаку на лозу.

Это была короткая, ожесточенная битва, и во время ее человек понял, что в объятиях колоссальной массы смертоносных конечностей и ядовитых усиков огромного растения он не мог надеяться увидеть новый рассвет на земле.

Ему не так скоро удалось высвободиться из отвратительной хватки страшного существа, чья израненная ветвь продолжала судорожными движениями удаляться к телу, пока то, дрожа, готовилось принять ее в свое злое тенистое лоно; тем временем отрубленная часть, удерживавшая ноги Ленартсона, размоталась со слабой дрожью, будто жизнь покидала ее, и упала на траву с глухим звуком омертвевшей материи.

Преисполненный огромного чувства благодарности и облегчения, смешанного с ужасом, Ленартсон поспешил отступить в лес, пятясь назад с побледневшим лицом и подозрительно глядя на врага. Наконец он убедился, что отошел на безопасное расстояние, и в течение нескольких минут наблюдал за вздымающейся массой зелени и ее перекинутыми через утес змеиными руками. Слова мадам произвели на него глубокое впечатление.

«Это не растение! Это моя душа выкрикивает проклятия небесам».

Что же предстало перед ним? Он не мог классифицировать существо иначе, как редкий экземпляр доисторического периода. Чудовищная поросль, растительное пророчество о могучих силах разума, которым суждено было унаследовать и покорить землю, сохранившееся до наших дней как объект познания и изумления человека. За бесконечные века своего существования растение пережило грандиозный вселенский катаклизм; оно видело, как покинутая Богом раса погибала в насыщенной углекислым газом атмосфере, зады-

халась в подземных пещерах, погружалась в кипящие океаны или оказывалась погребена под грудями горящего пепла, тянувшимися по следу красной воздушной змеи. Оно было свидетелем эпохи тьмы и холода — а теперь эта живая хроника бедствий была захвачена дерзкой рукой человека и пересажена на чужой берег.

В пять часов Ленартсон отправился в обратный путь. Небо было ясным, море спокойным, и он мог без помех размышлять о способах победить дьявольское растение, заполучить золото и вернуть тело мадам во Францию.

Он решил ничего не рассказывать людям в Орре о последнем этапе своего приключения: иначе они, вероятно, потребовали бы расследования и узнали о существовании золота, а этот секрет он пока не хотел им раскрывать.

Ленартсон пристал к берегу уже после захода солнца, но обнаружил ожидавшего его Билла Мейнарда. Старый рыбак приветствовал его с удивлением и волнением и, услышав краткую версию истории, поспешил разнести весть по домам. В итоге Ленартсона час спустя осадила в гостинице толпа любопытных. Он рассказал им, как нашел собаку и добрался до заброшенного дома, а затем описал впечатляющую сцену смерти Великой Мадам.

Керосиновая лампа на столе клерка освещала комнату тусклым светом. В центре ее на деревянном стуле восседал Ленартсон. Он часто менял позу во время разговора.

Каждый парень с волевыми чертами лица или бородастый и обветренный мужчина внимательно смотрел на рассказчика. Их четко очерченные призрачные силуэты неподвижно застыли на белой оштукатуренной стене. Двигался лишь Ленартсон.

Молодой человек, неприятно сознавая испытанное его напряженными нервами глубокое потрясение, пытался напустить на себя беззаботный вид.

Стараясь скрыть легкую дрожь в конечностях, которую он не мог полностью подавить, Ленартсон то и дело начинал раскачиваться на задних ножках стула, засунув руки в карманы и отвечая довольно развязным тоном. Затем, борясь с непреодолимым накалом чувств, он внезапно наклонился впе-

ред с трагической серьезностью, отзывавшейся в каждом сердце.

Рыбаки сразу поняли, что из-за своих суеверий проявили невероятную жестокость по отношению к бедному старому созданию; душераздирающая сцена на смертном одре ничего не потеряла в описании Ленартсона, однако он умолчал о связи мадам со спрятанным золотом и дьявольским растением.

Было решено, что утром компания из двадцати человек отправится с Ленартсоном на Таинственный остров, чтобы доставить тело мадам в Орт, где оно будет мирно погребено — по крайней мере, на некоторое время.

Они просидели почти до часу ночи, и мало кто из слушателей смог безмятежно заснуть. Что касается Ленартсона, то он прямо в одежде бросился на кровать, но часто вскакивал и принимался мерить шагами комнату.

Всю ночь его преследовал крик ушедшей души мадам, тоскующей по родной стране.

Он мог лишь подчиниться ее страшному приказанию. Следовало каким-то образом победить дьявольское растение, выкопать огромное сокровище, а забальзамированное тело мадам вернуть в дорогую ей солнечную страну.

Когда лодки стали спускать на воду, он выглядел отчужденной, странно молчаливой фигурой с поджатыми губами и бледными щеками, в низко надвинутой на лоб шляпе; он ничего не видел вокруг, а все уголки его души наполнились жалобным криком.

К прибытию рыбаков на Таинственный остров полуденное солнце уже поднялось в зенит. На небе не было ни облачка. Рыбаки поспешили привязать свои лодки; после двадцать человек выстроились цепочкой, как индейцы, позади своего предводителя и направились по заросшей тропинке к старому дому в лесу.

Вот и он. Резкий стук их крепких каблуков отдавался за спиной пугающим эхом, разлетаясь по широкому холлу и каменной лестнице.

На пороге комнаты, где Ленартсон видел накануне трагическую картину, которая навсегда останется в его памяти,

он на мгновение остановился, оглядываясь через плечо на бледные и добрые лица позади.

— Бедная старая мадам! Это было здесь, ребята. Здесь я оставил ее вчера после того, как все закончилось.

Сказав это, он повернулся и приблизился к кровати. Он стоял перед ней в ужасе: кровать была пуста! Он видел желтое, скомканное белье, грязные одеяла и изодранное покрывало. Еще вчера его теребили длинные, тонкие, униженные драгоценными кольцами пальцы. Но и старая женщина, и собака исчезли!

Несколько секунд рыбаки стояли, уставившись на него в беспомощном молчании. Затем один из них осмелился предположить, что Ленартсон ошибся комнатой. Никому и в голову не пришло усомниться в его рассказе. Его лицо слишком явно выражало изумление.

— Здесь пусто, — заключил Билл Мейнард. — Вы ошиблись. Проверим другие комнаты.

Ленартсон, продолжая растерянно смотреть на кровать, покачал головой.

— Нет, именно здесь, и ни в каком другом месте, я пережил то, о чем рассказал вам. В доме, должно быть, живет еще кто-то, а все эти разговоры мадам о том, что ее бросили, были бредом. Давайте осмотримся.

Шум их приближавшихся и удалявшихся шагов вспугивал летучих мышей, прятавшихся по углам пустых комнат. Все, даже стулья и полы, было покрыто толстой коркой пыли и плесени. Сквозь дыры в крыше беспрепятственно хлестал дождь, и образовавшийся в результате грибок пожирал деревянные подоконники и дверные проемы. Паутина гирляндами свисала с потолка и замысловатыми узорами серого кружева украшала углы комнат. В одной из них крольчиха устроила себе лежбище и растила детенышей. Через порог другой в золотое мерцание солнца скользнула змея.

В шкафу был найден фарфоровый сервиз и серебряный или оловянный горшочек, настолько почерневший от длительного соприкосновения с влажным воздухом, что определить металл, из которого он был изготовлен, с первого взгляда не удалось. И на всем лежала всепоглощающая пыль, как

покрывало на лице мертвеца. Во всем доме не было ни еды, ни признаков недавнего пребывания людей.

Они снова посмотрели друг на друга, а затем на Ленартсона, и у каждого на устах дрожал вопрос, который они боялись задать.

Рыбаками опять завладели суеверия. Ленартсон, ошеломленный и расстроенный, приложил руку ко лбу, пытаясь справиться с мыслями.

Ах! Дьявольское растение и сокровище! Если все это существует на самом деле, подтвердится тот факт, что вчера он разговаривал с умирающей женщиной.

— Ребята, я должен оставить вас на полчаса. Вы подождете меня здесь?

— Вон там, — хрипло согласились они, указывая на сад. Никто из них не хотел оставаться внутри.

В лихорадочном нетерпении Ленартсон бросился прочь, прокладывая себе путь по мрачной лесной тропинке к тому месту, где обитало ужасное существо.

Там, где на прогалине открывался вид на утес, он резко остановился, охваченный холодком страха. Крупные капли пота катились по его лицу. Его сердце удушливо колотилось в груди, руки бессознательно сжимались в кулаки.

Охваченный ужасными сомнениями, он выбежал на открытое пространство — и мгновенно остановился. Радостное восклицание сорвалось с его лихорадочных губ. Слава Богу, растение было там, а значит, была и старуха!

Чудовищное растение, купаясь в тихом солнечном свете, по-прежнему ползло по серой вершине огромного утеса, испуская огненные искры из своей груди, когда при каждом подъеме его огромного тела перед глазами появлялись круглые кольца красных соцветий. Длинные, серые, змееподобные ветви, ошетилившиеся веселыми венчиками шипастых листьев, раскачивались, сжимались и распрямлялись точь-в-точь так, как вчера.

Ленартсон осторожно прокрался вперед, нервно сжимая рукоятку ножа и осторожно ступая по высокой траве, казавшейся опасным сообщником врага.

Теперь он понял, почему рядом с утесом не росли ни кус-

тарники, ни деревья. По мере своего роста дьявольское растение захватывало все живое, что могло оказать сопротивление его зловещей хватке. Оно превратило себя в величайшее зло в саду Божьем, уничтожив всю живую красоту, за исключением длинной, гибкой травы, под прикрытием которой его ветви могли ползти и скользить к созданию, подлежащему уничтожению.

Неудивительно, что мадам, знавшая его природу, стонала: «Оно захватит всю землю». И сокровище под ним — тьфу! все это становилось сверхъестественным. Ленартсон начал чувствовать, что любая попытка извлечь сокровище, на котором лежало проклятие иссушенных страстью губ мадам, окажется роковой. Он словно воочию видел жуткий блеск костей мертвецов, застрявших в сетях этого жуткого существа. Отвратительный корень вырос из практичной почвы штата Мэн, перенесенный сюда из какого-то царства проклятых.

Тень пересекла солнце, за ней последовала другая и еще одна, в быстрой последовательности, как стремительные взмахи гигантских крыльев.

Деревья задрожали. В воздухе сразу же засвистели сильные потоки, набирая скорость и погружаясь во тьму. Небо обрушилось с яростной вспышкой. За ней последовал оглушительный раскат грома, сопровождаемый ревом моря.

Ленартсон почувствовал, как ветер подхватил его и снова швырнул вниз, как тряпку. Страшась, что могучее дыхание бури превратит его в игрушку дьявольской травы, которая теперь металась взад и вперед и поднимала свои длинные, ползучие лапы в сернистый воздух, он в ужасе ухватился руками за ствол дерева и бросился лицом вниз на землю.

В тот день вдоль всего побережья корабли пошли ко дну. Одна из их лодок сорвалась с якоря и была выброшена на скалы. Буря сметала с домов крыши и разносила их на части, как бумажные игрушки. Это был поистине судный день. Это походило на страстный протест мертвых, вступивших в союз со стихией.

«Я буду вечно бродить по этой земле. Я не лягу в эту проклятую землю. Отвезите меня обратно во Францию!»

Бледный, потрясенный и промокший насквозь под бурными небесными потоками, Ленартсон дождался окончания шторма и прокрался обратно в старый дом, где встретил компанию суровых рыбаков. Их лица были белы.

— Ребята, — сказал он прерывисто, — я не могу говорить о том, что произошло на этом таинственном острове. Я только прошу, чтобы меня забрали отсюда. Билл Мейнард, дай мне руку, старина. Я больше не в состоянии насмехаться над вашими суевериями.

Никто, казалось, не был расположен разговаривать.

Когда они, наконец, выплыли под солнечным небом на широкую голубую грудь океана, каждый поблагодарил Бога за то, что покинул это место навсегда.

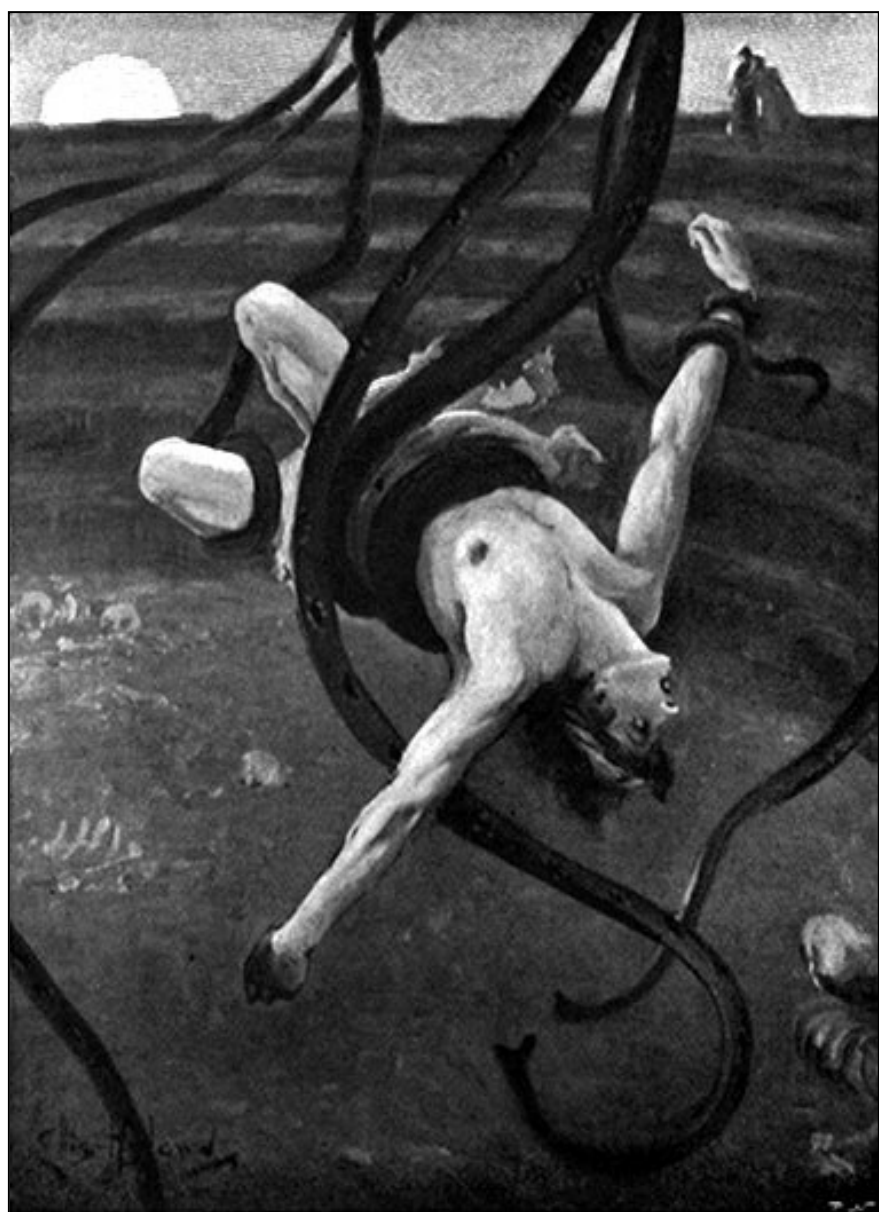
И хотя время от времени какой-нибудь смельчак отваживается провести свой ялик под зачарованными утесами и клянется, что видел пса Роллина, несущего вахту в бухте, никто больше не решается раскрыть секрет Таинственного острова.

Старый дом в лесу стоит пустым и необитаемым. Влажная и темная дьявольская поросль раскачивается в безмятежной тишине своего зеленого оазиса.

Многие лишь смутно предполагают, что на острове зарыто сокровище. Ленартсон не сомневается в его существовании, и Великая Мадам остается для него одной из самых удивительных тайн жизни. Кем была она, Великая Мадам? Что увидел он в старом доме? Что услышал? Он не спал, но видел сны. Было ли это пришествием из иного мира? Явлением беспокойной и привязанной к земле души, разыгравшей заключительную сцену своей смертной жизни? Если же нет, то что это было? Куда подевались Великая Мадам и пес Роллин?

Фрэнк Оффи

*Из романа «Дьявольское
дерево Эльдорадо»*



На прогулках их часто сопровождала одна или обе пумы Уламы, и в упомянутый день их догнал самец, кличка которого была «Туо», и спокойно затрусил рядом с ними; как оказалось, это спасло их жизни.

Они наткнулись на неизвестное место. Огромные железные ворота великолепной работы, отделанные золотом, прикрывали узкую расщелину в высокой скале. Они походили на вход в общественный сад. Широкая дорога вилась от ворот внутрь; но снаружи, там, где находились Темплмор и Элвуд, скалы круто уходили вверх на пятьдесят-шестьдесят футов, а то и больше, и продолжались, насколько хватал глаз, по обе стороны от ворот.

— Вряд ли это вход во «владения» Кориона, — сказал Джек, — иначе здесь были бы стражники. Должно быть, это какое-то общественное место.

— Возможно, кладбище, — предположил Леонард.

— Думаю, ты попал в точку. Что ж, ворота открыты, так что, я полагаю, нет ничего плохого в том, чтобы заглянуть внутрь.

— Предположим, кто-нибудь стоит на страже, выскочит и запрет ворота, когда мы окажемся внутри и скроемся из виду, — подозрительно заметил Леонард. — Монелла предупредил нас, чтобы мы были осторожны и избегали ловушек.

— У нас есть револьверы, и, если дело дойдет до худшего, мы сможем перелезть через эти скалы.

В итоге они зашли внутрь; затем направились к широкой террасе, которая огибала обширную площадку подковообразной формы, наполовину естественную, наполовину искусственную, как они рассудили. Терраса простиралась на несколько сотен ярдов в обе стороны от того места, где они стояли; но с одной стороны подковы она значительно сужалась. Выше и позади нее, вырубленные в скале, располагались другие террасы, похожие на ступени или ряды сидений, широкие внизу и сужающиеся по мере подъема. Они тянулись по всему периметру, почти до самой вершины скал. По сути, это был огромный амфитеатр, где могли стоять или сидеть многие тысячи людей. В дальнем конце он был от-

крыт, а в центре, примерно на пятнадцать футов ниже главной террасы, на которой они находились, виднелась просторная арена.

За ареной открывался вид на глубокое ущелье, со скалистых вершин которого бил стремительный поток воды, стекавший в большой, темный на вид бассейн внизу.

Их внимание сразу же приковало необычного вида дерево, росшее на арене. Вид его буквально зачаровывал. У этого дерева не было листьев, а имелись только ветви мрачного фиолетово-синего цвета, местами с красноватым оттенком. Ствол был около тридцати футов в высоту и восьми или девяти футов в диаметре. Многочисленные ветви — их было, вероятно, с сотню или больше, — свисали с верхушки ствола на землю. Но самое удивительное заключалось в том, что все эти ветви пребывали в движении. Хотя ветра не было, они раскачивались взад-вперед, беспокойно скользили по земле, как гибкие змеи, и переплетались друг с другом, издавая при этом резкий шелестящий звук.

Прямо от того места, где они стояли, отходил длинный каменный помост, который тянулся к дереву, находившемуся не в центре арены, а ближе к ее узкой части. Собираясь получше рассмотреть дерево, так возбуждавшее их любопытство, двое молодых людей пересекли террасу и двинулись вперед по помосту; когда они прошли чуть больше половины расстояния, одна из длинных свисающих ветвей — некоторые из них, казалось, достигали в длину двухсот или трехсот футов — поднялась над оконечностью помоста и с шелестом ринулась к ним. Ветвь была в двух-трех футах от них, когда пума с громким рычанием прыгнула вперед и вцепилась в нее. Ветвь тотчас обвилась вокруг тела животного и потащила его к дереву. Две или три другие ветви выдвинулись вперед и пришли на помощь первой: они также обвились вокруг бедной пумы и потащили ее дальше, несмотря на ее зубы, когти и отчаянное сопротивление. Прочие ветви одна за другой поползли вверх по краю каменной кладки, и Джек еле успел вовремя оттащить Леонарда назад.

— Ради всего святого, отойди, парень! — воскликнул он в ужасе. — Это дерево *хищное* и схватит нас, если хоть одна

из его ветвей нас коснется!

Едва они отступили назад, как свисающая ветка пронеслась над местом, где они только что стояли. Оказавшись в безопасности, они зачарованными, но полными ужаса глазами стали наблюдать за тщетной борьбой несчастного, спасшего их животного. На помощь остальным пришли новые ветви; они обвилились вокруг пасти Туо и зажали ее; обвилились вокруг его лап и связали их; вскоре он превратился в беспомощный комок среди переплетающихся ветвей и был стащен с помоста на землю. Его катили все дальше и дальше, пока он не очутился у самого ствола, где его ждали более короткие, но толстые и крепкие ветви. Те, в свою очередь, быстро обвилились вокруг него; затем неторопливо поднялись вверх, неся бедное животное в своих безжалостных объятиях, и опустили его в углубление в центре верхушки ствола, где оно почти исчезло. Все толстые ветви сжались вокруг Туо и полностью скрыли его из виду, образовав нечто вроде огромного узла на верхушке дерева и оставаясь неподвижными; тем временем более длинные и тонкие ветви продолжали беспокойно метаться в поисках новой добычи. Путешественники спешно покинули арену; они не произнесли ни слова до тех пор, пока не оказались за величественными воротами. Здесь они в ужасе посмотрели друг на друга.

Джек первым нарушил молчание.

— Пресвятые небеса! — воскликнул он. — Еле выбрались! Что за ужасное чудовище! Какая жуткая смерть! И это бедное животное — оно спасло нас обоих! Что мы скажем принцессе? Кстати, о «ловушках»! Если эти ворота были оставлены открытыми намеренно — а мне кажется, что так и было — у нас в самом деле есть основания быть благодарными!

— Что это было? — спросил наконец Леонард.

— «Дьявольское дерево». Это плотоядное дерево. Я уже видел такое раньше, когда мы пересекали бразильский лес, только оно было маленьким. Одна из собак запуталась в его ветвях и чуть не погибла, прежде чем мы освободили ее с помощью топоров. Собака сильно пострадала, и я тоже: ветка дерева зацепила мою руку и оторвала от нее кусок плоти.

И там, где мы отрубили эту ветку, потекла кровь! Говорю тебе, из дерева сочилась зловонная фиолетово-синяя жидкость! Не могу передать, что это было за зловоние! В свое время мне доводилось вдыхать несколько неприятных запахов, но этот превосходил их все! Однако, там был всего лишь маленький кустик. Я понятия не имел, что они могут вырасти в таких огромных плотоядных монстров! Ведь эта штука, вероятно, росла тут тысячу... э-э... две тысячи лет, я бы сказал. Да, не меньше.

— Но, — спросил Леонард, — почему это дерево держат здесь? Кто его кормит — и *чем оно питается?*

Он медленно задал этот последний вопрос и посмотрел на собеседника пустым, испуганным взглядом.

— Дерево не может жить без еды, — продолжал он. — И еды, должно быть, ему требуется немало. Кто берет на себя труд добывать для него единственную пищу, которая, как я думаю, ему нравится? И почему оно находится там, посреди этой странной арены? Можно было бы решить, что его держат там как курьез, но с другой стороны — мы никогда не слышали о нем за все время, что находимся здесь! Ворота открыты, нет никакой ограды, чтобы люди держались поодаль, никто не озаботился их предупредить. Как знаешь, а для меня это тайна!

<...>

Воспоминание о пережитом, естественно, прочно засело в умах молодых людей. Однажды Леонард спросил Темплмора, как выглядели ветви того дерева, что он видел.

— Они были покрыты маленькими наростами, — ответил тот, — которые являются одновременно присосками и когтями. Они прокалывают плоть, а затем высасывают кровь. В целом это нечто вроде гигантского растительного осьминога или рыбы-дьявола, только у него сотня или больше «рук» или ветвей вместо восьми, как у осьминога. Я слышал о пойманной у побережья Ньюфаундленда рыбе-дьяволе, достигавшей восьмидесяти футов. Но я никогда не представлял, что ее растительный прототип способен вырасти до таких размеров.

— Конечно, я видел рыб-дьяволов, — задумчиво сказал Леонард, — но у них есть рот, огромный клюв, к которому они подносят пищу щупальцами. Как ты считаешь, здесь то же самое? Ты видел, как ветви унесли бедную пуму наверх, к отверстию в верхней части ствола. Думаешь, у этого существа там что-то вроде рта?

— Одному Богу известно! Ужасное дело, если это так. Все это чудовищно и сверхъестественно. Давай не будем больше говорить об этом!

* * *

Было около десяти часов вечера, когда Темплмор в сопровождении Эргалона вышел из королевского дворца через редко используемый боковой вход, дверь которого его проводник теперь открыл ключом. Снаружи, на небольшом расстоянии от дворца, они обнаружили расхаживавшего взад и вперед Монеллу.

Перед уходом Темплмор вкратце предупредил Леонарда, что будет какое-то время отсутствовать; затем ему удалось ускользнуть незамеченным их друзьями из королевской свиты.

Ночь была прекрасная, но прохладная, и все трое кутались в плащи. В небе над головой сияла спокойная и ясная луна, очень ярко освещающая долину; но ее лик то и дело затмевали рваные облака, свидетельствуя о том, что наверху дул сильный ветер, почти не ощущавшийся ближе к земле. Лишь время от времени вихревой порыв ветра проносился по склону холма и шевелил деревья вокруг них, а затем затихал с шелестящим вздохом или тихим стоном.

Эргалон шел впереди; обогнув город, он свернул на окольную дорогу, которая, как вскоре увидел Темплмор, вела к месту давешнего приключения с дьявольским деревом, хотя они приближались к нему с другой стороны. Наконец они вошли в густой лес, покрывавший крутой холм; спутники Темплмора знаками велели ему соблюдать полное молчание

и двигаться как можно тише. Когда они достигли вершины склона и остановились на гребне в тени деревьев, которые здесь резко обрывались, Темплмор издал сдвоенное восклицание. В тот же миг он почувствовал тяжелую руку Монеллы, сжавшую его плечо железной хваткой; это заставило его вспомнить о недавнем предостережении.

— Что бы вы ни увидели или услышали, — прошептал Монелла, — вы должны хранить абсолютное молчание и не издавать ни звука; не делайте ничего, что могло бы выдать наше присутствие.

Темплмор удивился, обнаружив, что смотрит вниз, на огромный амфитеатр, где стояло хорошо знакомое дерево. Его длинные свисающие ветви все еще быстро двигались в своей странной, беспокойной манере; но большинство более коротких и толстых ветвей были свернуты на вершине ствола в тот же узел, что они образовали после того, как подняли туда тело пумы. В ярком лунном свете дерево выглядело отвратительным чудовищем, обладавшим в то же время неким ужасным очарованием, которое притягивало и удерживало взгляд, возмущая и отталкивая разум. Переплетенные ветви на вершине неизбежно напоминали змей, сплетенных вокруг головы Медузы; они образовывали своего рода корону, чей характер соответствовал жуткому чудовищу, бесформенную голову которого, если можно так выразиться, они окружали. Вид у всего этого был отталкивающий, мертвенный, омерзительный. Нечто в самой форме и очертаниях этого ужасного чуда растительного мира инстинктивно вызывало отвращение. Голые ветви, которые в обычных обстоятельствах могли принадлежать только мертвому дереву, цвет — наполовину похоронный, наполовину глубокого кровавого оттенка, почти неизвестный в ботаническом царстве, непрекращающееся движение, наводящее на мысль о вечной охоте за добычей, о ненасытной тяге к отвратной диете из плоти и крови, бессонном голоде, неустанной жадности и безжалостной жестокости — все в этом противоестественном творении приводило зрителя в ужас и леденило кровь. Эти чувства или комбинация чувств возникли в сознании Темплмора, когда он впервые увидел дерево при свете дня;

но теперь, в лунном свете, оно производило гораздо более сильное впечатление — то ясно и четко очерченное, то погружавшееся в полумрак, когда торопливые облака гонялись друг за другом по небу и отбрасывали вниз свои мимолетные тени.

С того места, где стояли путники, была отчетливо видна противоположная сторона амфитеатра, то есть сторона, ближайшая к дереву. Оно находилось достаточно близко к главной террасе, чтобы его ветви касались ее; но терраса здесь была защищена крытым переходом или верандой, состоявшей из металлических решеток, чьи узкие щели не позволяли ужасным извивающимся змееподобным ветвям протиснуться внутрь. В прошлый раз эта часть террасы была открыта, ибо металлические решетки или экраны на самом деле представляли собой раздвижные ставни, которые можно было убирать в углубления в скале. В конце крытого перехода находились ворота, а за ними лабиринт пещер и скальных галерей, где жили Корион и его приверженцы.

Ставни могли перемещаться по желанию тех, кто находился внутри. Их можно было либо передвигать в пазах и таким образом защищать тех, кто шел по крытому переходу, либо убирать, и в этом случае ветви рокового дерева наиболее успешно охраняли вход, ибо никто не мог надеяться приблизиться к воротам и остаться в живых.

Внизу, на террасе, также в пределах досягаемости дерева, находились кельи, отгороженные раздвижными решетчатыми дверями. Сквозь эти решетки пробивались слабые лучи света.

Темплмор разглядывал все это, но само дерево всякий раз словно притягивало и удерживало его зачарованный блуждающий взгляд, и он ждал — ждал, едва смея дышать; ждал сам не зная чего; ждал, как человек, подавленный смутным бесформенным предвестием какого-то нового и безымянного ужаса.

И это было неспроста, ибо свернутая «корона» медленно разворачивалась, и мало-помалу *что-то* появлялось в поле зрения. Постепенно это *что-то* поднялось из углубления в стволе, было извлечено из него, затем опущено к зем-

ле. По форме предмет был цилиндрическим, а цвет его был неразличим в мерцающем лунном свете. Вскоре он был положен на землю, и опускавшие его ветви ослабили хватку. Какое-то время предмет лежал неподвижно. После другие ветви подкрались к нему, извиваясь и изгибаясь, обвились вокруг, подняли и стали раскачивать взад и вперед, затем быстро опустили на землю. Другие ветви делали то же самое, то оставляя предмет на земле, то уступая его все новым ветвям. Так его передавали по кругу; ветви то высоко поднимали его за один конец, то за другой, то горизонтально удерживали в воздухе. Таким образом предмет обогнул все дерево, но каждая ветвь или пучок ветвей, которые за него хватались, в конце концов отвергали его, словно чувствуя каким-то слабым, но безошибочным инстинктом, что в нем не осталось ничего, способного удовлетворить их мерзкий аппетит. И все это время тени набегали и исчезали, а луна, выглядывающая из облаков, освещала отвратительную сцену.

Темплмор заметил, что из темной, грязной воды и густой тины большого бассейна в нескольких сотнях ярдов поодаль начали выползать неуклюжие чудовища, подобных которым он никогда не видел, за исключением, возможно, некоторых причудливых изображений существ, которые, как утверждается, существовали в доисторические времена. Эти уродливые рептилии от десяти до двенадцати футов в длину были наделены головами и хвостами крокодилов и во многих других отношениях походили на них. Но вместо обычной чешуи они были покрыты большими роговыми пластинами диаметром в несколько дюймов; в центре каждой пластины находился крепкий стержень или шип длиной в четыре или пять дюймов, толстый у основания и острый на конце.

Ящеры подползли к роковому дереву, и вскоре стало понятно, что они явились, чтобы потребовать свою долю в отталкивающей трапезе — сухую шелуху и кости, из которых дерево высосало все остальное. Роговые доспехи защищали их от ветвей: как только те касались их тел, они отшатывались, повсюду натываясь на острые шипы. Две или три ужасные рептилии потащили мертвое тело к своему убежищу и,

наконец, унесли его; не обошлось без нескольких стычек с извивающимися ветвями, которые, казалось, не желали отпустить свою добычу или, возможно, хотели поиграть с ней еще немного, как кошка с мышью.

Монелла передал Темплмору свой полевой бинокль, по-прежнему держа руку у него на плече. Молодой человек поднес бинокль к глазам и в то же мгновение выдохнул:

— Господи помилуй! Это *человеческое тело*!

Да! — если можно так назвать изуродованную оболочку того, что некогда было живым, дышащим человеческим существом! Но теперь от него мало что осталось, кроме этой бесформенной оболочки!

Темплмор ощутил тошноту и едва не пошатнулся; но рука Монеллы удержала его и стала молчаливым напоминанием о том, что от него ожидали умения управлять своими чувствами, какими бы сильными и болезненными они ни были.

— Сейчас не время для слабости, — прошептал Монелла ему на ухо. — Ждите и наблюдайте!

Темплмор едва ли был способен на большее. Он чувствовал себя Данте, ведомым проводником по долине пыток проклятых душ. Эта картина, как ему показалось, по ужасу, если не по агонии, соперничала даже со сценами из дантовского «Ада». Он стиснул зубы и сжал руки; его дыхание было затрудненным, сердце замирало. Вероятно, он упал бы на землю, если бы Монелла не держал его за плечо.

В этот момент из крытого прохода вышли две фигуры; стоя на террасе, они пристально смотрели на происходящее, молчаливые и неподвижные. На них были ниспадающие одежды черного или какого-то другого темного цвета, украшенные на груди золотыми звездами.

Темные очертания этих мрачных, жутковатых фигур резко выделялись на фоне светлых скал позади них, в то время как они с жестоким спокойствием взирали на ужасную борьбу между отвратительными ящерами и деревом.

Когда все закончилось и звери исчезли со своей добычей в темных водах бассейна, одна из фигур на террасе поднесла ко рту свисток, и низкий вибрирующий звук достиг



слуха притаившихся наблюдателей.

Тотчас же послышался грохот, и одна из раздвижных решеток под террасой откатилась, открыв похожую на пещеру камеру, где на грубом столе стояла зажженная лампа. Человек, сидевший за столом, закрыв лицо руками, с громким криком вскочил и отступил в густой мрак у задней стены. Но ужасные свисающие ветви устремились за ним, обвились вокруг его ног и сбросили его на землю, а затем быстро вытащили ногами вперед. Тщетно он вскрикивал и хватался то за одно, то за другое — за стол, за край раздвижной двери; все было напрасно, и ветви, опрокинув лампу, тащили его безжалостно, неумолимо, пока он не оказался снаружи. Другие ветви обрушились на несчастного, обвиваясь вокруг него со всех сторон и заглушая его крики. Медленно, с ужасающей решительностью и без всякой спешки или даже видимого усилия, он был поднят высоко в воздух и исчез в отверстии рокового дерева. Огромные ветви безмолвно образовали напоминавший узел круг; при очередном негромком звуке свистка раздвижная решетка с угрюмым грохотом вернулась на свое место, и двое зрителей в темных одеждах повернулись и покинули террасу.

Бред М. Уайт

Фиолетовый ужас

Приказ, отданный лейтенанту Уиллу Скарлетту, на первый взгляд, не представлял никаких сложностей. Задача казалась предельно простой: передать письмо капитана Драйвера от американцев, разбивших лагерь неподалеку от пролива в Пуэрто-Рико, адмиралу Лейку на другой конец перешейка.

— Вам нужно всего лишь взять с собой на всякий случай еще трех-четырёх человек, пешком пересечь перешеек и отдать это письмо прямо в руки адмиралу Лейку, — сказал капитан. — Это даст нам еще как минимум четыре дня. Аборигены, судя по всему, не представляют для нас опасности.

Аборигенами он называл кубинских мятежников. Вдоль перешейка между Пуэрто-Рико и северным заливом, где располагался штаб адмирала Лейка, почти никогда не было беспорядков, хотя эта территория и принадлежала враждебно настроенным кубинцам.

— Придется идти пятьдесят миль по практически неизведанной местности, — ответил Скарлетт. — Испанцы нас ненавидят, да и кубинцы вряд ли обрадуются, заведя наши флаги.

О кубинцах капитан Драйвер был не лучшего мнения:

— Они воры и подлецы, все до единого, — сказал он. — Разумеется, вам предстоит не торжественное шествие через цветочные арки под звуки духового оркестра. Говорят, этот лес довольно опасен. Но вы в любом случае доберетесь до места. Вот письмо. Можете выдвигаться, как только будете готовы.

— Я могу взять своих людей, сэр?

— Да ради бога, берите, кого хотите. Если хотите, можете взять с собой еще и пса.

— Я бы не отказался, — ответил Скарлетт. — Я ему почти как хозяин. Так и знал, что вы не станете возражать.

Воображение Уилла Скарлетта рисовало ему заманчивую перспективу. Уилл был типичным франтом из морского флота Вест-Пойнта. Но за его приятной внешностью скры-

вался недюжинный ум. Он обладал обширными знаниями в области геологии и ботаники, которые непременно принесут пользу его благодарному отечеству, когда вышеупомянутое благодарное отечество оставит, наконец, позади этот начальный этап колонизации. Кроме того, Скарлетту можно было кое в чем позавидовать: многие его товарищи уже месяц безвылазно находились на корабле, будто в тюрьме, окруженной синим как сапфир морем.

Уорент-офицер по фамилии Таррер, еще двое матросов — одни мускулы и сухожилия. Всего четверо, не считая собаки. Таков был состав их разведывательного отряда. К тому времени, как солнце коснулось вершин холмов, они уже проделали путь в шесть миль. С самого начала Скарлетта удивило полное отсутствие каких-либо признаков ужасной, опустошающей войны. Похоже, до этой местности она еще не добралась: дома и хижины были невредимы, а в тени навесов стояли местные жители и с неким угрюмым любопытством рассматривали американцев.

— Лучше бы нам переночевать здесь, — сказал Скарлетт.

Наконец, они достигли деревни, на окраине которой возвышалась глинобитная часовня, а на другом конце, прямо напротив часовни, находилась винная лавка. Святой отец со сложенными на большом животе руками, одетый в длиннополую рясу из грубого сукна, с серьезным видом поклонился в ответ на приветствие Скарлетта. Последний, по словам Таррера, «сносно говорил по-испански».

— Мы пришли к вам в поисках ночлега, — сказал Скарлетт. — Разумеется, мы готовы заплатить.

Священник сонно кивнул в сторону винной лавки.

— Вы можете остановиться там, — сказал он. — Американцы — наши друзья.

Скарлетт сомневался на этот счет. Рассыпавшись в благодарностях, они пошли дальше. За все время он ни разу не наблюдал у кубинцев признаков дружелюбия. Холодность, подозрительность, проблески страха — все это было, но никак не дружелюбие.

Хозяин винной лавки не спешил впустить их. Он высказал опасения по поводу того, что у него слишком мало ме-

ста для таких важных гостей. В баре, развалившись, сидело десятка два человек с сигаретами во рту. Выглядели они все отъявленными головорезами. Но при виде золотых долларов трактирщик тут же пересмотрел свои взгляды по поводу вместительности дома.

— Я сделаю все, что в моих силах, сеньоры, — сказал он. — Прошу сюда.

Через час после наступления сумерек Таррер и Скарлетт сидели под открытым небом в окружении олеандров и поблескивающих в темноте светлячков, обсуждали не слишком хорошее качество здешних сигар и местное вино, которое они сочли очень даже неплохим. Длинное помещение бара в винной лавке было ярко освещено, изнутри доносились взрывы хохота, смешанные с бряцанием гитарных струн и быстрым щелканьем кастаньет.

— Кажется, они здесь счастливы, — заметил Таррер. — Может быть, в их многострадальной стране осталось место для чего-то еще, кроме резни.

Скарлетта охватило любопытство.

— Порядочный офицер, — сказал он, — не имеет права упускать хоть малейшую возможность получить полезную информацию. Пойдем, Таррер. Смешаемся с толпой.

Таррер с энтузиазмом поддерживал любые предложения о возможных развлечениях. Месяц скуки на корабле в открытом море заметно повышает интерес к таким вещам. Помещение бара было довольно уютным. Кубинцы, находившиеся внутри, не обращали никакого внимания на незваных гостей. Все они смотрели на сцену в дальнем конце бара, где кружилась в танце девушка. На шее у нее был венок, и она танцевала так быстро и грациозно, что цветы казались подрагивающими языками фиолетового пламени.

— Необычайно красивая девушка и необычайно красивый танец, — пробормотал Скарлетт, когда танец закончился, и девушка изящно прыгнула со сцены. — Думаю, нужно отблагодарить ее. Я дам ей четвертак.

Девушка подошла к ним, изящным движением протягивая пустую ракушку. Она чуть присела перед Скарлеттом и устремила на него взгляд своих черных блестящих глаз.

Когда он улыбнулся и уронил в ракушку монету, в этих бархатных глазах мелькнула искра кокетства. Стоящий неподалеку бандит что-то зловеще прорычал.



— Кажется, наш Отелло ревнует, — сказал Таррер. — Ты только посмотри на него.

— Не могу, я немного занят, — рассмеялся Скарлетт. — Ты изумительно танцевала, красавица. Надеюсь, скоро мы снова увидим твой танец...

Внезапно Скарлетт замолчал. Его взгляд упал на венок из фиолетовых цветов, лежащий на плечах у девушки. Скарлетт увлекался ботаникой и знал почти все драгоценные камни, украшающие корону Флоры; но таких ярких и пышных цветов он никогда раньше не видел.

Это были орхидеи, но орхидеи неизвестного ранее вида. В этом Скарлетт был уверен. В конце концов, эта часть света была исследована еще хуже, чем Новая Гвинея или остров Суматра, откуда происходили многие редкие виды.

Цветы были необыкновенно большие, намного больше, чем любые другие цветы, растущие в Европе или Америке. Лепестки их были насыщенного фиолетового цвета, а серединки — кроваво-красные. Глядя на эти цветы, Скарлетт от-

метил, что у них злые «лица». У большинства орхидей есть свое «лицо», и на «лицах» этих цветов он явно увидел жестокое и хитрое выражение. Кроме того, они источали какой-то странный, нездоровый аромат. Скарлетту был знаком этот запах, он встречал его задолго до этого дня, еще после битвы при Кавите. Это был запах разложения.

— Какие роскошные цветы, — сказал он. — Скажи, красавица, откуда ты их взяла?

Девушка явно была польщена вниманием со стороны молодого и миловидного американца. Но тут рядом с ней вырос вышеупомянутый бородатый Отелло.

— Сеньору лучше бы оставить девушку в покое, — сказал он надменно.

Скарлетт неосознанно сжал кулаки и смерил кубинца взглядом. Он помнил о письме адмиралу, которое лежало у него в нагрудном кармане, и рассудительность взяла верх над бесстрашием.

— Вы демонстрируете себя не с лучшей стороны, дорогой друг, — сказал он, — хотя я, надо сказать, уважаю ваш прекрасный выбор. Меня заинтересовали эти цветы.

Выражение лица незнакомца смягчилось. Он расплылся в улыбке:

— Сеньор хочет такие же цветы? — спросил он. — Это я подарил их малышке Заре. Я могу показать сеньору, где они растут.

Лица всех присутствующих обернулись к Скарлетту. На каждом из них, казалось, застыло выражение дьявольской злобы, на каждом темном лице, кроме личика девушки, которая так побледнела, что это было заметно даже на ее смуглой коже.

— Если сеньор умен, — начала она, — то он не станет...

— Слушать рассказы глупой девчонки, — грозно прервал ее Отелло. Он схватил девушку за руку, и ее лицо искалось от боли. — Там, где растут эти цветы, нет ничего опасного, если только быть осторожным. Я отведу вас туда, а потом провожу до места, куда вы направляетесь, всего за один золотой доллар.

Скарлетт был воодушевлен такой перспективой. Не каж-

дому улыбается такая удача: представить научному сообществу новый вид орхидеи. А этот экземпляр затмит красивейшие из известных растений.

— Договорились, — сказал он. — Мы выдвигаемся на рассвете. Я рассчитываю, что вы будете готовы к этому времени. Как ваше имя? Тито? Что ж, доброй ночи, Тито.

Не успели Скарлетт и Таррер развернуться к выходу, как девушка неожиданно бросилась к ним. Она успела прокричать лишь пару слов. Затем последовал звук удара, а за ним — приглушенный вскрик.

— Нет, нет! — твердо сказал Таррер Скарлетту, который уже хотел вернуться. — Не стоит. Их в десять раз больше, и настроены они далеко не дружелюбно. Никогда нельзя вмешиваться в семейные ссоры. Я уверен, если бы ты вмешался, девушка сама кинулась бы на тебя с ножом, как и ее ревнивый возлюбленный.

— Но он так сильно ударил ее, Таррер!

— Очень жаль, но мы ничем не сможем помочь. Наша задача — как можно быстрее доставить письмо адмиралу, а не ухаживать за дамами.

Скарлетту пришлось со вздохом признать, что Таррер был прав.

II

На рассвете Тито предстал перед ними совсем другим человеком. От его высокомерия не осталось и следа. Он был весел, собран и вел себя предельно учтиво и вежливо.

— Вы ведь понимаете, что нам нужно, — сказал Скарлетт. — Мы хотим как можно быстрее добраться до Порт-Анна. Вы знаете дорогу?

— Как свои пять пальцев, сеньор. Я много раз ходил этим путем. И я буду счастлив помочь вам добраться туда всего за три дня.

— Неужели это так далеко?

— Недалеко отсюда, но путь лежит через лес. А в этом

лесу много мест, где раньше не ступала нога человека.

— Только не забудьте про фиолетовые орхидеи.

В глазах Тито мелькнул странный огонек. Через мгновение его уже не было. Скарлетт припомнил этот взгляд позднее, но в тот момент он не придал ему значения.

— Сеньор увидит фиолетовые орхидеи, — сказал он, — тысячи цветов. Наш народ называет их нехорошим именем, но это чепуха. Они растут на высоких деревьях и держатся на длинных зеленых усиках. Эти усики ядовиты, если касаются плоти, и с ними нужно обращаться очень осторожно. Сами цветы вполне безвредны, хотя мы и называем их дьявольскими маками.

Скарлетт с интересом выслушал эту историю. Ему не терпелось воочию увидеть и потрогать эти загадочные цветы. Весь этот поход представлялся ему неожиданной удачей. В то же время он пытался держать себя в руках. Сегодня им все равно не видать фиолетовых орхидей.

Несколько часов они пробивались сквозь густые заросли. Жара, казалось, обволакивала всю землю — душная, изнуряющая жара в сочетании с высокой влажностью, и ни малейшего ветерка, который мог бы помочь справиться с ней. К тому времени, как солнце медленно начало клониться к закату, большинству отряда уже было совсем невмоготу.

Они миновали мелколесье и, поднявшись в гору, приблизились к большому скоплению деревьев на вершине хребта. С ветвей свисали зеленые стебли, а чуть выше Скарлетт увидел фиолетовую бахромку, и его сердце забилося чаще.

— Разве это не те самые фиолетовые орхидеи? — воскликнул он.

Тито презрительно дернул плечами:

— Какая-то пара цветов, — сказал он, — и все равно отсюда нам их не достать. Сеньор получит все, что он хочет, завтра.

— Но, кажется, — начал Скарлетт, — я мог бы...

Не закончив фразу, он запнулся. Солнце опустилось еще ниже и светило теперь сквозь ветки дерева, как огромный сверкающий щит. В его свете было видно каждый стебель, каждую лиану, опутавшую ветви дерева. Вглядевшись в пе-



реплетение зеленых стеблей, Скарлетт увидел в самом их центре что-то, похожее на муху, пойманную в паутину, сплетенную огромным пауком. Эта муха оказалась человеческим скелетом.

Руки и ноги были растянуты в стороны, будто жертву распяли на кресте. Зловещая паутина опутывала запястья и лодыжки. Подул слабый ветерок, и на ветках затрепетали обрывки одежды.

— Ужас! — вскрикнул Скарлетт. — Это же настоящий ужас!

— Еще бы! — воскликнул Таррер. — На фоне солнца выглядит, как муха посреди запеченного яблока. Вопрос в том, как он туда попал?

— Может быть, Тито сможет нам это объяснить? — предположил Скарлетт.

Казалось, Тито был чем-то очень взволнован и смущен. Он украдкой переводил взгляд с одного лица на другое, будто преступник, который чувствует, что его раскусили. Но на лицах не было подозрения, и к Тито вернулось самообладание.

— Я могу объяснить, — воскликнул он. При этом зубы его щелкнули, не то от страха, не то от чувства вины. — Я уже не в первый раз вижу здесь этот скелет. Несомненно, это какой-нибудь охотник до редких растений, который забрел сюда в одиночку. Он полез на дерево с ножом и запутался в тех зеленых стеблях, как ныряльщик в водорослях. И чем больше он дергался, тем крепче запутывался. Может быть, он пытался звать на помощь, но тщетно. Должно быть, так он здесь и умер.

Объяснение казалось правдоподобным, но оно никак не делало находку менее страшной. Некоторое время отряд пробирался дальше в сумерках, пока темнота окончательно не накрыла их плотной завесой.

— Мы разобьем лагерь здесь, — сказал Тито. — Местность высокая, земля сухая, а эти деревья обеспечат нам укрытие. На несколько миль вокруг лучшего места не найти. В долине останавливаться нельзя, там опасные испарения.

С этими словами Тито зажег спичку, тут же вспыхнул

факел. Они стояли на небольшом плато, окруженном деревьями. Земля действительно была сухая и твердая, и отряд Скарлетта с изумлением увидел разбросанные кругом кости. Среди них были черепа животных и человеческие черепа, скелетики птиц, большие и маленькие ребра. Пейзаж был донельзя странный и пугающий.



— Нет, здесь мы никак не можем остановиться! — объявил Скарлетт.

Тито пожал плечами:

— Больше нигде, — ответил он. — Внизу в долине очень опасно. А если пойдем вглубь леса, то столкнемся со змея-

ми и ягуарами. Не обращайтесь внимания на кости. Пфф! Да мы их запросто уберем.

Их действительно нужно было убрать. По большей части кости были белыми и сухими, такими их сделали воздух и солнце. Над кучей выжженных солнцем костей угрожающе нависали ветки огромных деревьев. Скарлетт вместе с остальными занялся раскидыванием издевательски белевших скелетов в разные стороны. Прямо у своих ног он увидел прекрасно сохранившийся человеческий скелет. На пальце у того блеснуло что-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось кольцом-печаткой. Скарлетт поднял это кольцо и вздрогнул.

— Я знаю это кольцо! — воскликнул он. — Оно принадлежало Пьеру Энтону, самому опытному и бесстрашному ботанику из когда-либо работавших в знаменитом парижском ботаническом саду. Я даже считал беднягу своим другом. Он всегда предвидел, что именно так и встретит свою смерть.

— Должно быть, здесь была редкостная бойня, — сказал Тарпер.

— Ничего не понимаю, — проговорил Скарлетт. К этому времени они уже расчистили большую площадь от останков людей и животных. В свете факела можно было разглядеть омерзительных насекомых, которые вертелись вокруг них. — Это выше моего понимания. Тито, ты можешь это как-то объяснить? Я бы еще понял, если бы здесь были только человеческие кости. Но здесь есть кости и птиц, и животных! Причем все скелеты лежат строго по кругу, границы которого определяются тем, где начинаются кроны деревьев. Что все это значит?

Тито заявил, что понятия не имеет, в чем тут дело. Несколько лет назад этот полуостров захватило небольшое племя, он понадобился им для каких-то религиозных целей. Они приплыли по реке издалека, и о них ходили жуткие легенды. Несомненно, они занимались и жертвоприношениями.

Скарлетт презрительно отмахнулся от этой истории. Его мучило любопытство. Должно быть какое-то другое объяснение, ведь люди часто видели Пьера Энтона за последние

десять лет.

— Что-то здесь не так, — сказал он Тарреру. — Я хочу знать, в чем тут дело, хочу добраться до сути.

— Что до меня, — сказал Таррер, широко зевая, — я хочу только одного: поужинать и лечь спать.

III

Лежа возле костра, Скарлетт осматривал местность. Он ощущал смутную тревогу, причину которой он и сам не мог бы объяснить. Прежде всего, его смущал странный звук, чуть слышимый в воздухе. Казалось, что среди ветвей деревьев, нависших над ним, что-то движется и шевелится. Уже не раз он различал в них нечто похожее на клубок зеленых извивающихся змей, но считал это игрой потревоженного воображения.

Тито спал за пределами расчищенного от скелетов круга, соорудив себе из костей что-то вроде пещеры. Еще секунду назад Скарлетт видел, как он украдкой поднял голову с темными блестящими волосами, и глаза его в свете костра сверкнули злобной хитростью. Но, встретившись взглядом со Скарлеттом, Тито махнул ему рукой и снова улегся.

— Да что значит вся эта чертовщина? — пробормотал Скарлетт. — Этот бандюга явно задумал что-то нехорошее. Все еще злится, что я разговаривал с его девушкой. Но вряд ли он сможет причинить нам вред. Да тихо ты!

Огромный мастиф зарычал, а затем тревожно взвыл. Казалось, даже пес чуял какую-то опасность. Он снова лег, подчиняясь приказу хозяина, но даже во сне продолжал покусывать.

— Кажется, поспать мне сегодня не удастся, — сказал Скарлетт сам себе.

Некоторое время он действительно лежал без сна. Наконец, он увидел себя, идущим по тропинке, заросшей маками. Он гулял по саду, полному скелетов, увитых фиолетовыми цветами. Затем появился Пьер Энтон, бледный и ре-

шительный, каким его всегда знал Скарлетт. Вдруг сон и явь странным образом переплелись, где-то взвыл от боли мастиф, и Скарлетт проснулся.

На лбу у него выступили капельки пота, он часто и прерывисто дышал, прислушиваясь к частым глухим ударам собственного сердца — он еще не отошел от кошмарного сна. И тут снова раздался вой мастифа, настоящий вой, полный настоящего ужаса, и только тогда Скарлетт сбросил остатки сна.

Вдруг произошло нечто странное. В тусклом свете огня Скарлетт увидел, как чья-то невидимая рука схватила мастифа, подняла его высоко вверх и изо всех сил швырнула оземь. Огромный пес замер и не шевелился.

Скарлетта охватило чувство страха, порожденное осознанием собственного бессилия. Что это за чертовщина? Он был ученым и не верил в сверхъестественные силы, но все-таки, что это за чертовщина?

Никто не шевельнулся. Спутники Скарлетта были слишком утомлены, их вряд ли разбудил бы даже грохот артиллерийских снарядов. Стуча зубами, Скарлетт пополз к собаке, пытаясь унять дрожь в коленях.

Огромный пес в черном наморднике был мертв. Из ран на груди животного сочилась кровь, на горле виднелся глубокий порез, сделанный, судя по всему, каким-то зазубренным лезвием, как у пилы. Но самым странным было то, что вокруг тела собаки рассыпались те самые великолепные фиолетовые орхидеи, сорванные почти у самого основания цветка. По спине Скарлетта, от самого позвоночника и до основания черепа, пробежали мурашки. Он почувствовал, что волосы у него встают дыбом.

Он был напуган. Еще никогда в жизни он не испытывал такого страха. Творилось что-то невероятное, жестокое и кровавое.

Но всему должно быть разумное объяснение. Каким-то образом здесь замешаны фиолетовые орхидеи. Недаром эти цветы пользуются дурной славой. Разве кубинцы не называют их «дьявольскими маками»?

Теперь Скарлетт отчетливо вспомнил выражение испу-

га на побледневшем лице Зары, когда Тито вызвался показать им, где растут эти великолепные цветы; он вспомнил, как девушка пыталась что-то прокричать им вслед, и какой удар за этим последовал. Теперь он все понял. Девушка хотела предупредить их о той непередаваемой опасности, которой Тито хотел подвергнуть их небольшой отряд. Такова была месть ревнивого кубинца.

Скарлетта охватило дикое желание отплатить ему тем же, он просто трясся от гнева. Ступая по пропитанной влажной траве, он прокрался к Тито и приставил к его лбу ствол револьвера. Тито слегка шевельнулся во сне.

— Ты животное! — взревел Скарлетт. — Я пристрелю тебя!

Тито лежал неподвижно. Дыхание его было спокойным и размеренным. Он мирно спал, в этом не могло быть сомнений. В конце концов, возможно, он ни в чем не виноват. Но с другой стороны, его спокойствие может говорить и о том, что он так уверен в успехе свершившейся мести, что может позволить себе спать и ни о чем не тревожиться.

Подтверждением последней теории выступал тот факт, что кубинец лег спать за пределами того круга, где были разбросаны иссушенные солнцем кости. Возможно, вне этого круга находится безопасно. В таком случае, можно просто разбудить всех остальных и тем самым избавить их от мучительной смерти, которая постигла мастифа. Эти деревья, несомненно, относятся к разновидности анчара, но даже это не объясняет того ужасного зрелища, которое он наблюдал.

— Пусть этот малый еще немного поспит, — пробормотал Скарлетт.

С опаской он пополз обратно в круг смерти. Он собиравался разбудить остальных и подождать, что будет дальше. К этому времени все его чувства обострились, как никогда раньше. Он соображал необычайно ясно и все прекрасно видел, несмотря на темноту. Продвигаясь вперед, он внезапно увидел, как сверху стремительно упало что-то вроде клубка зеленой веревки, которая распуталась и повисла, как натянутый изумрудный канат. По форме это напоминало треугольник, обращенный острым углом вверх. По всей длине

веревки виднелись крючковатые шипы. Вережка, похоже, свисала с самой верхушки дерева, а на конце ее виднелось что-то вроде присоски, которой она, по всей видимости, всасывала влагу.

«Похоже на какое-то неизвестное природное явление», — подумал Скарлетт. Раньше он не встречал подобных растений-паразитов, живущих на вершинах деревьев и поддерживающих жизнь при помощи таких зеленых стеблей, похожих на веревку, созданных природой специально для того, чтобы по ночам впитывать влагу.

На секунду Скарлетт успокоился, рассуждая над своей теорией, но только лишь на секунду, потому что через мгновение он заметил, что по всей длине зеленых веревок растут большие фиолетовые цветы, дьявольские маки.

На мгновение он опешил и остановился, тяжело дыша. За всем этим наверняка стоит какая-то дьявольщина. Он увидел, как веревка задрожала, натяжение ее ослабилось, она качнулась, будто маятник, и уже в следующую секунду обвивала плечи спящего матроса.

Зеленая веревка казалась щупальцем осьминога. Она дрожала по всей длине, будто нить паутины, сплетенной жестоким пауком, в которой запуталась оса. Стебель все туже сжимался вокруг плеч матроса, и вдруг, прямо на глазах перепуганного Скарлетта, спящий человек начал медленно подниматься в воздух.

Скарлетт ринулся к нему, подавив желание истерично закричать. Теперь, когда его товарищ подвергался опасности, от страха не осталось и следа. Он вытащил из кармана складной нож и бросился с ним на веревку. Он был готов, что она окажется прочной, как канат, но к его удивлению стебель легко поддался ножу, как морковка, и моряк с глухим стуком упал на землю.

Он сел, энергично протирая глаза.

— Это вы, сэр? — спросил он. — Что-то случилось?

— Ради всего святого, вставай и помоги мне разбудить остальных, — охрипшим голосом сказал Скарлетт. — Мы попали в мастерскую самого дьявола. Здесь он изобретает все ужасы ада.



Матрос быстро вскочил на ноги. Как только он встал, одежда соскользнула у него с пояса и упала к его ногам, разрезанная острыми зубами зеленого паразита. На коже виднелись следы от укусов, сочащиеся кровью.

Лишь немногие обладают мужеством в два часа пополудни. Матрос, который бесстрашно пошел бы против корабля-броненосца, теперь стоял и дрожал от страха и растерянности.

— Что это значит, сэр? — закричал он. — Я же...

— Разбуди остальных, — прикрикнул на него Скарлетт, — буди остальных!

На землю упали еще два или три клубка стеблей, которые тут же зашевелились. На них явственно виднелись фио-

летовые цветы. Скарлетт закричал как умалишенный и начал безжалостно пинать своих товарищей.

Наконец, все они проснулись и теперь ворчали и жаловались, что их так бесцеремонно разбудили. Тито за все это время ни разу не шевельнулся.

— Я ничего не понимаю, — сказал Таррер.

— Отойдите от деревьев, — сказал Скарлетт, — и я попытаюсь объяснить. Вряд ли вы мне сразу поверите. Никто не поверит в кошмар, о котором я собираюсь вам рассказать.

Скарлетт начал объяснять. Как он и ожидал, его историю выслушали с явным недоверием, все, кроме раненого моряка, у которого было достаточно доказательств его правоты.

— Я не верю, — сказал, наконец, Таррер. Они говорили шепотом, так, чтобы Тито, которого они по понятным причинам не хотели будить, не услышал их. — Это все кубинский бандит, он все это подстроил. Не может быть, чтобы эти зеленые стебли могли...

Скарлетт махнул рукой в сторону центра круга.

— Позови пса, — мрачно сказал он. — Посмотрим, откликнется ли он.

— В историю с бедным старым мастифом я верю. Но все равно я не могу... Хотя, я сам проверю.

К этому времени с деревьев свисало уже больше дюжины гибких зеленых стеблей. Казалось, будто их раскачивала чья-то невидимая рука, и стебли понемногу продвигались вперед. Покрытые сплошь фиолетовыми цветами, они не казались опасными никому, кроме Скарлетта, который видел в них только угрозу. С этими словами Таррер подошел к деревьям.

— Что ты собираешься делать? — спросил Скарлетт.

— Именно то, что я уже сказал. Я хочу лично проверить, в чем тут дело.

Скарлетт без лишних слов кинулся к нему. Ему было не до манер, принятых в избалованном цивилизованном мире. В подобных случаях существовал только один аргумент — сила, а Скарлетт был сильнее Таррера.

Таррер заметил это и моментально оценил ситуацию.

— Нет, нет! — воскликнул он. — Даже и не думай! Хотя уже поздно. — И он бросился вперед, пробираясь сквозь тонкие изумрудные колонны. Они медленно шевелились и не представляли никакой опасности для сильного и осторожного человека. Подойдя ближе, Скарлетт услышал хлюпающие звуки, будто что-то впитывало росу.

— Ради всего святого, уйди оттуда! — закричал он.

Но было слишком поздно. Сзади к Тарреру подобрался зеленый хлыст, и в свете молнии было ясно видно, что он уже попал в западню. Стебли, для которых было привычным тянуть все вверх, обладали большой силой. Очевидно, Таррер почувствовал это и начал задыхаться.

— Освободите меня! — проговорил он хриплым голосом. — Освободите меня! Меня что-то тащит вверх.

На секунду показалось, что он обречен. В действительности всех охватило тошнотворное, ужасное чувство. Таррера тянуло в разные стороны, но, несмотря на это, он ухитрялся держаться на ногах.

Забыв о том, что сам подвергает себя опасности, Скарлетт бросился вперед, крича товарищам, чтобы те помогли ему. В мгновение ока ножи уже размахивали во все стороны, кромсая стебли.

— Не все, — прошептал Скарлетт. Ситуация была настолько напряженной, что никто не поднимал голос выше шепота. — Вы двое следите за тем, не появятся ли новые стебли. А как только появятся, немедленно режьте их. Ну!

Все тело Таррера было обвито ужасными зелеными змееподобными стеблями. Лицо его побелело, его сдавило так, что дыхание давалось с трудом. Скарлетт видел только сплошную зеленую массу, скользкие стебли и увязшие во всем этом фиолетовые цветы. Вся земля была усыпана ими. Они были влажными и скользкими.

Таррер, теряя сознание, упал вперед. Теперь его держали только два стебля. Давление ослабло. Размахнувшись, Скарлетт перерезал оставшиеся стебли, и Таррер упал на землю. Он был без сознания. Как только Скарлетт, шатаясь, вышел из круга смерти, он почувствовал тошноту и головокружение. Он видел, как Таррера несут в безопасное место, а



затем все погрузилось в темноту.

— Я все еще чувствую слабость, — сказал Таррер спустя час. — Но, если не брать это во внимание, я абсолютно в норме. И я не прочь поквитаться с Тито, который втянул меня в это.

— Где бы достать кипящее масло, — мрачно сказал Скарлетт. — Бездушный мерзавец все это время крепко спал. Думаю, он не сомневается, что сумел прикончить нас.

— Честное слово, этого прохвоста надо пристрелить! — воскликнул Таррер.

— У меня есть небольшой план, — сказал Скарлетт, — который я хочу осуществить чуть позже. А пока нам надо готовить завтрак. Когда Тито проснется, его будет ждать маленький приятный сюрприз.

Через некоторое время Тито проснулся и огляделся по сторонам. Сначала в его взгляде читалось любопытство, а затем разочарование и, наконец, страх. На его лице отражались тысячи противоречивых эмоций. Скарлетт увидел это и подозвал кубинца.

— Я не собираюсь вдаваться в лишние подробности, — сказал он, — но нам стало известно, что ты решил поиграть с нами в предателя. Поэтому мы хотели бы продолжить наше путешествие без тебя. Теперь мы и сами легко найдем дорогу.

— Сеньор вправе поступать, как он хочет, — ответил он. — Дайте мне мой доллар, и я уйду.

Скарлетт сухо ответил, что он не станет делать ничего подобного. Скарлетт не собирался ставить на карту свою жизнь и жизни своих товарищей в обмен на мошенничество кубинского бандита.

— Мы собираемся оставить тебя здесь, — сказал он. — У тебя будет достаточно еды, и здесь ведь совершенно безопасно, под укрытием этих деревьев, и никто тебя не потревожит. Мы привяжем тебя к одному из деревьев и оставим на следующие двадцать четыре часа.

С лица Тито тут же исчезла вся дерзость. Его колени подогнулись, на позеленевшем лице выступили капли пота. Глядя на то, как дрожали его руки, можно было подумать,

что его пробирает ужаснейший озноб.

— Деревья! — запинаясь, говорил он. — Деревья, сеньор! На них водятся змеи, и... и еще разные опасные вещи. Есть и другие места...

— Если здесь было безопасно вчера вечером, то будет безопасно и сегодня, — зловеще проговорил Скарлетт. — Я уже принял решение.



Тито больше не сопротивлялся. Он упал на колени и молил о пощаде до тех пор, пока Скарлетт пинком не заставил его подняться.

— Признайся во всем, — сказал он, — или придется отвечать за последствия. Ты прекрасно знаешь, что мы обнаружили этой ночью, подлец!

Тито, запинаясь, все рассказал. Он хотел избавиться от американцев. Он испытывал ревность. Кроме того, разве Кубе будет лучше под властью американцев? Конечно, нет. Поэтому долг каждого честного кубинца — любыми средствами вредить американцам.

— Да уж, вам есть, за что бороться, — проворчал Скарлетт. — Ближе к делу.

Поторапливаемый сапогом из жесткой кожи, Тито окончательно во всем признался. Сеньор сам навел его на мысль об убийстве при помощи дьявольских маков. Уже не один охотник за хищными растениями встретил таким образом свою смерть. Скелет на дереве принадлежал голландцу, который случайно попал в ловушку фиолетовых орхидей. И с Пьером Энтоном произошло то же самое. Эти усики с присосками появляются только по ночам, чтобы впитывать влагу, а днем они складываются, как пружина. И они убивают все живое, до чего дотрагиваются. Тито не раз наблюдал за тем, как эти беспощадные стебли с фиолетовыми цветами могут задушить и растерзать птицу или животное.

— Как ты достаешь цветы? — спросил Скарлетт.

— Это просто, — ответил Тито. — Днем я поливаю землю возле дерева. После этого появляются усики, их влечет вода. Как только они разворачиваются, надо длинным ножом перерезать стебель. Конечно, это опасно, но если быть осторожным, то ничего не случится.

— Сейчас я не хочу утруждать себя этим, — сказал Скарлетт. — Но я хочу, чтобы ты пошел с нами в качестве пленного.

Глаза Тито расширились.

— Меня не пристрелят? — хрипло спросил он.

— Не знаю, — ответил Скарлетт. — Может быть, вместо этого тебя повесят. В любом случае, я буду крайне разочарован, если тебя не прикончат каким бы то ни было способом. Что бы они ни выбрали, я буду ждать этого с нетерпением. Твоя участь меня ничуть не волнует.

Иероним Ясинский

Деревя-вампирь

(Отрывок)

...Кладбищенские деревья — вы заметили? — особенно зелены. Каждый листочек их дрожит и трепещет, полный таинственного оживления. В общем же тени, бросаемые деревьями, так мрачны и так спокойны, и так прохладны, что кажется, будто там, вокруг их могучих, жизнерадостных стволов, толпятся бледные призраки покойников и как бы жалуются и шепчут своими бесплотными губами: «Вот на какую работу уходит наша энергия. Эти деревья высасывают соки из нас, и, чем старше они становятся, тем призрачнее мы, тем тоньше воспоминания о нас, тем отдаленнее звук нашего имени».

Деревья стоят и шумят, и угрюмо смотрят, как прожорливые великаны. И потому мне стало так жутко. Я шел под сводом, образуемым их толстыми ветвями, которыми они переплелись между собою в дружеском вековечном порыве, и почти знал, что они так же относятся ко мне, как гастроном, который проглотил еще не всех устриц и оставляет десяток-другой на будущее время, не вскрывая их ножом. Или, может быть, так повар, ошпаривший сегодня множество цыплят и зажаривший их на вертеле, посматривает на живых их товарищей, робко бегающих вокруг кухни, и думает: «Пусть еще подрастут. Все равно, от участи своей не уйдут».

И не только деревья плотоядно простирали надо мной свои ветви, не только каждый листочек их устремлял на меня свой зеленый глаз с тайным сластолюбием, но и одичалые цветы внизу, у их корней розы, тянувшиеся из сумрака на высоких иглистых стеблях, — мелкие, красные, как детские ротки, и ландыши, кожистые, напоминающие собою ряды белых зубов, и разные желтые, лиловые, и алые, как капли крови, цветочки, и пышно разрастающиеся кустарники, и тот страшный лопух, который пугал даже Евгения Базарова.

Обмен веществ, круговорот жизни. Кости акробата идут на образование твердых волокон акации, которая так ценится каретниками и употребляется на спицы.

Из мозга земских деятелей и отцов города произрастает каика и смолка. Врачи, вероятно, превращаются в зверобой;

барышни, разумеется, в розы; дети — в фиалки и незабудки. Кроме того, все эти деревья — продукты превращения.

Птицы, которые вьют в них гнезда, кажутся порхающими душами. Бабочки — в особенности и ночные мотыльки — по преимуществу. Сложив пестрые пушистые крылья и выдвинув вперед неподвижные нитеобразные усики, эти ночные создания притаились под листочками и от неосторожного прикосновения к веткам, протянувшимся через дорожку, просыпаются и с тревогой пролетают мимо меня. Да, круговорот жизни! Давно сказано, что мы прах и потому должны обратиться в прах. Но, однако, отчего же так жутко в этом чужадном лесу, в этом царстве тенистых, раскидистых, могучих растительных вампиров?

Самые роскошные надгробия, памятники, сделанные из гранита и чугуна, даже этот единственный мраморный мавзолей, в котором покоятся останки местных богатых купцов Пипочкиных, не говоря уж о бесчисленном множестве деревянных крестов, из которых немногие сохранили отвесное положение и чернеются направо и налево в зеленом полусвете кладбищенского дня под своими кровельками и навесиками, как грибы какой-то особой, странной породы — имеют такой приниженный, смиренный, беспомощно-жалкий вид. Холодом веет, ужасом. Я не мог бы улыбнуться в этом месте и, уж, конечно, не мог бы смеяться. Я поневоле становлюсь серьезен. Легкий воздушный призрак смерти вскарабкался мне на спину и шевелит на моем затылке волосы. Я иду. Мне мерещатся десятки, сотни тысяч жизней, поглощенных за много лет этой жирной, влажной, жадной землей, покрытой деревьями, цветами, слоем прошлогодних листьев. Уныло перекликаются птицы там и здесь. За ноги мои цепляются и не мешают мне идти — они бестелесны, они легче тех пушинок, которые носятся в воздухе после смерти одуванчика — милые бескровные тени малюток, погибших жертвою людской жестокости, людского эгоизма. Мне припоминаются самоубийцы, которых было в нашем городе несколько в течение трехлетнего моего служения в управе. Застрелился офицер, проигравшийся в карты; зарезался молодой человек, чиновник губернского правления,

от безнадежной любви к гувернантке вице-губернатора; отравился гимназист из-за двойки. Мне припоминается сиротский дом, в котором выживает только один из ста младенцев. На той лужайке, которая еще никем не занята и ждет покойников, светлая, как изумруд, и залитая лучами бледно-золотистого солнца — день все такой же перламутровый — не играют ли эти несчастные безымянные дети незримым сонмом, не резвятся ли их крошечные, оскорбленные еще в колыбели и сознательно загубленные души? Нет, это рой маленьких сереньких ничтожных мотыльков, кладбищенской моли, радующейся солнцу.

Георгий Северцев-Полунов

Кровавый цветок

— Из моих воспоминаний об old merry England (старой, доброй Англии), где мне пришлось четверть века тому назад прожить несколько лет, мало что осталось в моей памяти.

Так ответил Максим Ермолаевич, крупный финансовый деятель, на просьбу немногочисленного кружка его друзей, расположившихся после обеда в его кабинете за кофе с ликерами, рассказать что-нибудь об его жизни в Великобритании.

— Неужели этот период времени совершенно улетучился из ваших воспоминаний? — шутливо-насмешливо заметил один из собеседников, жизнерадостный блондин, бухгалтер того кредитного учреждения, где был директором хозяин.

— Известный промежуток времени сглаживает те особенности, ту рельефность впечатления, которые могли обратить внимание тогда, впрочем....

И Синев внезапно умолк...

Его крупная, чисто-русская, немного расплывчатая фигура, с большой темно-русой бородой, вдумчивыми серыми глазами, еще глубже ушла в кресло, на котором он сидел; левая рука нетерпеливо терла высокий лоб, тогда как правая лежала без движения на ручке кресла.

— Это небольшая история, впрочем, в то время меня очень интересовавшая, и если желаете — я вам ее расскажу.

В согласии слушателей нельзя было сомневаться.

— Посланный моим покойным отцом в Лондон, чтобы изучить условия иностранной торговли, я, благодаря привезенным с собою рекомендациям, скоро нашел себе место в одной из лондонских фирм. Изумлению моему не было предела, когда я узнал, что должен служить даром, только ради практики.

Долго думать мне было нельзя, и уже на другой день я сидел в темноватом бюро моих новых хозяев, усердно выписывая всевозможные коносаменты и счета.

К моему изумлению и, нужно прибавить, к нескрываемому удовольствию, в числе служащих фирмы Куксман и К^о я встретил моего соотечественника, Василия Венедиктова.

Кто из вас, господа, не знает, как приятно встретить на чужбине земляка? Одна возможность говорить на родном языке, после постоянных «oh yes! all right!» англичан, невольно заставляет сейчас же сойтись со своим соотечественником.

Это случилось и между нами. Не прошло и двух дней, как я и Вася стали неразлучными друзьями. Вы смеетесь, господа, но ведь четверть века отделяют вас от того времени, когда еще верили в дружбу, когда скептицизм далеко не так сильно владел сердцами людей.

Я жил на Chester-square, а мой приятель ютился где-то недалеко от самого City. В будни занятия в office (конторе) настолько утомляли нас, что о прогулках или развлечениях вечером не было и речи, — каждый из нас был вполне счастлив вернуться к себе домой, пообедать, выпить четверть пинты хорошего портера и взять какую-нибудь книгу с тем, чтобы сейчас же задремать, пока резкий голос служанки не разбудит к чаю. Но зато в субботу вечером и все воскресенье мы посвящали время увеселениям всякого рода, начиная от бесцельного шатания по Пикадилли и кончая поездками в Итон, Вульвич и прочие интересные по своему прошлому города и местечки. В одно из воскресений мы попали на скачки, в небольшой городок New-Market.

— Проклятый городишко! — ворчал мой приятель, раздосадованный проигрышем на скачках; большая часть наших скромных средств перешла в широкие карманы букмекеров.

Это было еще тем досаднее, что отыгаться не было возможности, стоял конец июля и сегодняшние скачки были последними. Июльское солнце палило немилосердно, когда нам удалось добраться до небольшой харчевни, чтобы скрыться от зноя и выпить прохладительного. Три с половиной часа, проведенные на ипподроме, все время на солнце, превратили нас в какой-то студень. Как приятно было опуститься на стулья после долгого стоянья на ногах. Кроме нас, в харчевне находилось еще несколько человек. Это тоже были счастливые или несчастливые участники минувших скачек. Среди шума и возгласов полупьяной толпы

вдруг послышался плаксивый голос продавца и исполнителя баллад, до сих пор находящих себе любителей и ценителей в Англии.

— Э-гей, Джим, что же ты раньше не приходил, — слышался хриплый голос молодого парня, — я бы тогда не проигрался. Куда это тебя носит только! — закончил говоривший недовольно.

— Ну, что за беда, ты проиграл, а я выиграл, — заметил другой из компании.

— Rascal! (разбойник), твой кошелек пополнен за счет моего, — ответил первый, — таким людям, как ты — счастье валит.

Ссора разгоралась.

Напрасно удерживали благоразумные из их компании двух противников; Билль ругал Джонни невозможным образом. Драка была недалеко; и действительно, не прошло и минуты, как оба парня схватились, осыпая лицо противника кулачными ударами по всем правилам бокса.

Исполнитель баллад, испитой, чахлый старик, лет пятидесяти, очутился во время драки около нас и, увлеченный, как истинный британец, исходом борьбы, держал пари с другими зрителями.

Борцы не удовлетвоались тесным помещением харчевни, выбежали на луг, лежащий перед домом, и там продолжали бой.

Подобно древним певцам и поэтам, воспевавшим героев, торговец балладами воодушевился и начал гнусавым голосом петь о битве, когда-то происшедшей между англо-саксами и норманнами в окрестностях New-Market'a.

Расквасив друг другу носы, боксеры прекратили свое достойное занятие и, минуту спустя, мирно беседовали за кружкою портера. Наш же исполнитель баллад продолжал машинально гнусавить слова баллады.

Меня все больше и больше интересовал сюжет ее. В нем рассказывалось, как осажденные в замке англо-саксы долго держались против врага, но когда все запасы были истощены, когда колодцы, снабжавшие замок водою, иссякли, осажденные предложили норманнам сразиться грудь с гру-

дью во рву замка. «Чем судьба решит, так и будет». Нормандцы согласились и враждующие сошлись. Бой длился долго, но в конце все же был неблагоприятен для осажденных, они все полегли во рву, — с ними вместе пало немало и норманнов.

«Века прошли, упали стены, травой заросли бойницы, паутина заволокла покои в башнях. Где был двор — там теперь стоит лес, где струился ручей — там прошла соха пахаря, — все запустело, все одичало. Люди, их злоба, ненависть, раздоры — все глубоко спит под землею. Все тихо вокруг, ничто не напоминает о минувшем, только один цветок, только один Bloody Flower (кровавый цветок) говорит людям о том, что здесь произошло. Он дает им счастье и горе».

Певец закончил свою балладу и хотел уже уходить, получив несколько пенсов за печатный текст исполненной им баллады.

Меня очень заинтересовала она, и я, толкнув товарища, последовал за старым Джимом.

День уже клонился к вечеру, солнце не так пекло, как раньше, утомленная природа сбрасывала с себя это томление, в которое была погружена целый день. Побуревшие кустики травы вдоль дороги беспомощно глядели из окутавшей их пыли. Золотившиеся под косыми лучами заходившего солнца поля спеющего ячменя, слегка волнуемые ветром, переливались, точно море. Кое-где светло-зеленым бордюром оттеняли их узкие полосы льна. Высохшие колосья пшеницы гармонично шептались друг с другом. Густой ковер клевера с малиновыми и белыми помпонами манил поваляться на нем... На скошенных уже лугах бродил скот, меланхолично позвякивая жестяными колокольцами. Высоко в воздухе звенел запоздавший невидимый жаворонок, кузнечики и стрекозы тянули свою однообразную песенку.

Общая гармония природы как-то восстанавливалась при полной безлюдности дороги. Из покинутой только что нами харчевни неся резкий гул голосов.

Старый балладчик, не торопясь, шагал по пыльной дороге. Его небольшой ящик с печатными экземплярами баллад висел у него за спиной. Вся бурая от непогод широко-

полая шляпа не мешала сильно вьющимся волосам Джима выбиваться из-под полей ее.

Догнать его не представляло труда. Он испуганно посмотрел на нас, когда мы поравнялись с ним и пошли рядом.

— Скажите, пожалуйста, Джим, — сказал я ему, — существует это место и до сих пор, о котором говорит ваша баллада?

Старик презрительно взглянул на меня и проговорил:

— Все, что старый Джим поет в своих балладах — все это правда.

— А вы можете показать нам это место?

— Показать я вам его покажу, только прошу вас, не рвите Bloody flower, он редко приносит счастье, чаще горе, несчастье!

Мы оба охотно дали Джиму обещание, что не тронем его «Кровавого цветка» и, успокоенный этим, он нас повел к месту знаменитой битвы.

Далеко за городом мы встретили жалкие развалины древних укреплений. Приближаясь ближе к месту битвы, мой товарищ вскрикнул от восхищения.

Все пространство лежащего под нашими ногами широкого рва было покрыто крупными, ярко-красными цветами. Толстые, с колючками, вроде кактуса, листья еле виднелись среди пятилистных красных цветов. Ров казался залитым кровью.

— Вот, видите эти цветы, — сказал наш проводник, — они выросли на костях и пролитой здесь крови. Нигде, кроме этого места, в нашей Англии вы не найдете подобных цветов, да и у нас они цветут только в июле. Из листьев, если их разрезать, течет сок, точно молоко. Много горя придется испытать тому человеку, кто сорвет хоть один цветок. Бывает, впрочем, и наоборот, но только очень редко. Когда же действительно цветок принесет счастье, то оно никогда уже не изменяет.

Старик с суеверным страхом глядел на цветы. Невольно под обаянием рассказа и мною овладело какое-то неприятное чувство, между тем, страстное желание сорвать хотя один из этих роскошных пятилистных цветов не оставляло меня в покое.

— Мало ли что брешет выживший из ума старик, — заметил Венедиктов по-русски, — сорвем по цветочку на память, да и поедem домой.

И, послушав его, я сорвал себе и ему по цветку. Когда вернулся взбиравшийся в руины Джим, я и Венедиктов спрятали сорванные цветы в шляпы; наш поступок был им не замечен.

— Если вы, молодые господа, желаете, можно посмотреть и руины, — заметил он и предложил подняться выше.

Мы охотно согласились и, карабкаясь по крутому скату, начали взбираться в старую крепость.

Первым наверху очутился я и с восхищением стал осматривать расстилавшиеся кругом меня живописные виды.

Глубокий ров, из которого я поднялся, сплошно усеянный красными цветами сверху, еще более казался наполненным кровью. Странное чувство отвращения при этом сходстве заставило меня обратить внимание на другую сторону холма.

Бесконечная панорама возделанных полей красивой лентой убегала вдаль.

Я невольно залюбовался ею, как вдруг внезапный крик проводника заставил меня быстро оглянуться назад.

Венедиктов, уже достигнувший вершины холма, оступившись, быстро катился книзу, тогда как продавец баллад, крича, звал меня на помощь.

Подобное падение не могло принести много вреда моему приятелю: густая трава ската смягчала падение его, и я не беспокоился о нем.

Он быстро скатился в ров и черным пятном выделялся на кровавом ковре.

— Ну, Вася, вставай, полно валяться! — крикнул я ему сверху. Но Венедиктов оставался неподвижным.

Видя, что мой приятель мне не отвечает, я быстро спустился из развалин в ров и бросился к нему.

Венедиктов, несмотря на мои толчки, не двигался. Предполагая, что он в обмороке, я старался привести его в чувство.

Увы, мои усилия были напрасны: Вася не подавал признаков жизни, и когда я с помощью проводника поднял его,

небольшая струйка крови, бежавшая из левого его виска, объяснила нам печальную истину.

Венедиктов был мертв.

При своем падении, он ударился во рву головой об лежащий там камень, последствием удара была смерть.

Кроме этого большого камня, во рву не было другого. Несчастный случай заставил его как будто нарочно упасть именно в этом месте.

При падении шляпа свалилась с его головы и роковой, сорванный им цветок валялся около него, своим завялым видом обращая на себя внимание проводника.

— Не послушал меня господин, сорвал цветок, — грустно проговорил старик, — несчастье его и постигло.

Все еще словно не веря тому, что за минуту перед этим полный сил юноша лежал перед нами холодным трупом, мы с проводником, осторожно подняв Венедиктова, понесли его в город в гостиницу.

Приглашенный врач подтвердил нам смерть моего приятеля.

Мне было жалко его, как постоянного спутника и товарища, но горе в молодые годы забывчиво и я скоро забыл о земляке, скрасившем первые месяцы моего скучного пребывания в Англии. Была ли здесь случайность, отомстил ли сорванный цветок за себя, — решить невозможно, это вне наших понятий, хотя вы, люди новейшей формации, несомненно улыбнетесь на это. Сохранившийся у меня цветок до сих пор приносил мне только счастье, вы это сами знаете, и горя мне приходилось испытывать мало.

— Вот, посмотрите, — продолжал хозяин, доставая из письменного стола коробку со стеклянной крышкой.

Совершенно высохший цветок лежал в коробке. Цвет его, цвет человеческой крови, — сохранился превосходно.

— Вот и вся моя история, — заключил хозяин, пряча снов в письменный стол коробку с цветком. — Рассказанный вам мною эпизод юных лет, хотя, может быть, и малоинтересен, но справедлив.

Гости прихлебнули из чашек ароматный кофе и молча согласились с Максимом Ермолаевичем.

Е. и Я. Герон

История Серого дома



Мистер Флаксман Лоу утверждает, что лишь в одном случае он без приглашения взялся за расследование психической тайны. Этот случай он всегда называет «делом Серого дома». В анналах не одного научного общества Серый дом носит иное название. Немало споров разгорелось по поводу странных деталей этой истории, которая, как кажется, открывает новую область фантастического ужаса. Ей были посвящены статьи и трактаты почти на всех европейских языках, и таким образом было выявлено множество пугающих фактов в чем-то аналогичного характера. Сначала имелись некоторые сомнения по поводу того, стоит ли излагать публичке данную историю — снабженную объяснением, которое, хотя и является ужасным, нельзя считать полностью необоснованным — но в конце концов было решено включить ее в настоящую серию.

Засушливым летом 1893 года мистеру Лоу случилось остановиться в уединенной деревне на побережье Девона. Он был глубоко погружен в какое-то антикварное исследование, связанное с древнескандинавскими календарями, и поэтому ограничил свое знакомство с соседями одним человеком, доктором Фримантлом, не только врачом, но и известным ботаником.

Однажды днем мистер Лоу и доктор Фримантл проезжали вместе через чашеобразную долину, расположенную на возвышенности в нескольких милях от берега. Очутив-

шись на низко лежащей крутой тропинке с нависающими живыми изгородями, они мельком увидели сквозь разрыв в листве серый фронтон, выглядывающий между горизонтальными ветвями кедра.



Флаксман Лоу указал на него своему спутнику.

— Это дом молодого Монтессона, — ответил Фримантл, — и у него очень зловещая репутация. Впрочем, это не по вашей части, — с улыбкой добавил он. — Никакой призрак не придаст бы дому такую жуткую ауру, как череда произошедших в нем загадочных убийств.

— Участок кажется заброшенным. Я не припомню, чтобы мне где-либо доводилось видеть такую богатую растительность.

— Уж точно не на Британских островах, — ответил Фримантл. — Поместье предоставлено само себе, отчасти потому, что Монтессон не хочет там жить, отчасти же потому, что не-

возможно найти работников, которые согласились бы подойти близко к дому. Наш теплый, влажный климат и защищенное положение имения способствуют необычайной пышности роста. По дну протекает ручей, и я думаю, что вся низменная местность, где вы видите этот пояс желтой африканской травы, сейчас немногим лучше болота.

Фримантл остановился, когда они добрались до вершины склона. Отсюда они могли любоваться зарослями, затененными поднимающимся туманом, который окружал и почти скрывал крышу Серого дома.

— Да, — сказал Фримантл в ответ на замечание мистера Лоу, — здесь жил опекун Монтессона. Он присматривал за собственностью вместо него, превратив это место в субтропический сад. Раньше бродить здесь было одним из моих главных удовольствий, но с тех пор, как я женился, моя жена возражает против этого, так как она слышала всевозможные рассказы об имении.

— И в чем же опасность?

— Смерть! — коротко ответил Фримантл.

— Какая разновидность смерти? Малярия?

— Никаких болезней, мой дорогой друг. Все умершие в Сером доме были повешены за шею, пока не умерли.

— Повешены? — удивленно переспросил Флакسمан Лоу.

— Да, повешены. Не просто задушены, но и подвешены, о чем свидетельствуют отметины на шеях. Будь в их гибели хоть какой-то намек на привидение, вы могли бы расследовать — Монтессон был бы только благодарен, если бы вы сумели разгадать тайну.

— Расскажите мне что-нибудь более определенное.

— Я расскажу вам все, что мне известно. Отец Монтессона умер около пятнадцати лет назад и оставил его на попечение двоюродного брата по имени Лампурт. Тот, как я уже говорил, был садоводом и превратил имение в замечательно разнообразную коллекцию привезенных издалека кустарников и цветов. Лампурт пользовался в округе дурной славой, и внешность определенно играла против него — это был косоглазый тип со свиным лицом, крался он бочком, как краб, и не осмеливался смотреть людям в глаза. Он умер первым.



— Был ли он повешен? Или повесился сам?

— В данном случае ни то, ни другое. Он упал в непонятном припадке прямо перед домом, когда был занят посадкой какого-то нового растения. Если бы не показания свидетелей, я бы сказал, что его смерть наступила в результате некоего сильного психического потрясения. Но садовник и его родственница, миссис Монтессон, сошлись во мнении, что он не слишком перетруждался и не имел причин беспокоиться о своем здоровье. Он был здоровым человеком, и я не видел достаточных резонов для смерти. Он просто работал в саду и, по-видимому, укололся о гвоздь, так как на указательном пальце у него было пятнышко крови.

После этого все было спокойно в течение нескольких лет, а затем во время летних каникул начались неприятности. Монтессону в то время было, должно быть, около шестнадцати, и с ним был воспитатель. Его мать и сестра — хорошенькая девушка, немного старше его самого, — тоже были здесь. Однажды утром девушку нашли лежащей на гравии под ее окном совершенно мертвой. За мной послали, и в ходе осмотра я обнаружил удивительный факт: она была повешена!

— Убийство?



— Несомненно, хотя мы не смогли найти никаких следов убийцы. Девушку вытащили из ее спальни и повесили. Затем веревку сняли, а тело бросили под окном. Это преступление вызвало огромную сенсацию в округе, и полиция долго возилась, но расследование ни к чему не привело.

Примерно две недели спустя Платт, наставник молодого Монтессона, сидел и курил у открытого окна кабинета. Утром его нашли лежащим на подоконнике. Не могло быть никакой ошибки в том, как он встретил свою смерть: в допол-

нение к глубокой борозде на горле, его шея была сломана аккуратно, как в Ньюгейте! Подобно другому случаю, ничто не указывало на то, как именно он умер: ни веревки, ни следов ног или признаков борьбы, которые заставили бы заподозрить присутствие другого человека или группы лиц. Однако, судя по фактам, это не могло быть самоубийством.

— Я вижу, у вас были свои подозрения, — заметил Флак-сман Лоу.

— Да, вы правы. Но время прошло, и теперь я думаю, что, должно быть, ошибался. Видите вон тот кедр? Ветви его находятся на расстоянии нескольких футов от окон комнат, занятых мисс Монтессон и Платтом в момент смерти. Как я упоминал, не было обнаружено никаких признаков того, что кто-либо приближался к дому. Поэтому мне пришлось в голову, что какой-нибудь физически сильный человек мог прыгнуть с кедра в открытое окно и сбежать таким же образом. Окна открываются вертикально, и когда обе створки распахиваются, образуется достаточно широкий проем. Но убийства были настолько бесцельными и случайными, что наводили на мысль о хаотических действиях. Затем я вспомнил рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг»: как вы помните, преступления в нем совершал орангутанг. Мне показалось возможным, что Лампурт, обладавший утрюмым и странным характером, мог, помимо всего прочего, тайно завезти обезьяну и выпустить ее на волю в лесу. Я провел тщательный обыск в парке и на прилегающей территории, но мы ничего не нашли, и я давным-давно отказался от этой теории.

Лоу некоторое время молча обдумывал услышанное, после чего спросил о датах трех смертей. Фримантл ответил без колебаний, и оказалось, что все несчастья произошли примерно в одно и то же время года — фактически летом. Тогда мистер Лоу предложил расследовать это дело с психической точки зрения, если Монтессон не будет против. В ответ на его сообщение Монтессон сел на ближайший поезд до Девона и попросил разрешения сопровождать мистера Лоу в его расследованиях.

Флаксман Лоу быстро понял, что Монтессон может оказаться очень полезным компаньоном. Это был светловолосый мужчина крепкого телосложения, явно обладавший сильной волей и характером. Лоу отложил свои книги и сразу же отправился с Монтессоном, чтобы поближе взглянуть на Серый дом, пока еще не стемнело.

Трудно передать словами картину буйства дикой и спутанной растительности, через которую им пришлось пробираться. Молодая, пышная, сочная листва покрывала и частично скрывала сырую гнилость более старой растительности под ней. Сплетенные заросли тростника поднимались выше груди, а дальше разлившийся ручей быстро превращал местность в болото. Продравшись сквозь тростник, они вышли на относительно открытое пространство, которое когда-то было лужайкой у дома.

Под неухоженными деревьями здесь теперь в изобилии росли ежевика и густые сорняки. Тут и там виднелись любопытные кустарники и растения. Мимо почерневших кустов вокруг дома вилась узкая тропинка, заросшая крапивой и покрытая коркой влажной грязи; когда они подошли ближе, по ней улизнул горноста́й. В остальном место было пустынным, ни один лист, казалось, не трепетал в безветренной полуденной жаре. Приземистый серый фасад дома был изрезан темнолистной лианой, увешанной цветами, похожими на орхидеи. Немного левее ее Лоу заметил кедр, упомянутый доктором Фримантлом.

Лоу остановился у заросшей сорняками, провалившейся в землю калитки, выходившей на лужайки, и впервые заговорил.

— Расскажите мне об этом, — и он кивнул в сторону дома.

Монтессон повторил уже известную историю, но добавил дополнительные детали.

— Отсюда, — сказал он, — вы можете видеть точное место, где все это происходило. Верхнее из этих двух окон, окруженное ползучими растениями и находящееся в тени кедра, принадлежало комнате моей сестры; нижнее — окно кабинета, где умер Платт. Посыпанная гравием дорожка вни-

зу тянется вдоль всего дома, но сейчас она заросла... Фримантл рассказывал вам о Лоуренсе?

Лоу покачал головой.

— Я ненавижу сам вид этого места! — хрипло сказал Монтессон. — Тайна и ужас случившегося, кажется, отравляют мне кровь. Я не могу забыть!

Моя мать уехала в день смерти Платта и с тех пор никогда здесь не бывала. Но я, достигнув совершеннолетия, решил снова попытаться пожить здесь, надеясь разобраться в прошлом, если у меня будет такая возможность. Я велел расчистить территорию вокруг дома и приехал сюда из Оксфорда с приятелем моего возраста по имени Лоуренс. Мы провели здесь пасхальные каникулы за чтением, и все прошло достаточно спокойно. Я осмотрел дом, полагая, что в нем может быть потайной вход или комната, но ничего подобного не нашел. В этом доме нет привидений. Никто и никогда не слышал о связанных с ним сверхъестественных явлениях. Нет ничего, кроме одного и того же ужасного повторения слепого убийства!

Через несколько секунд он продолжил.

— Следующим летом Лоуренс снова приехал ко мне. Однажды жарким вечером мы курили, прогуливаясь взад и вперед по гравии под окнами. Помню яркий лунный свет и тяжелый аромат тех красных цветов... — Монтессон как-то странно огляделся.

— Я зашел в дом за сигарой. Мне потребовалось несколько минут, чтобы найти нужную коробку и раскурить сигару. Когда я вышел, Лоуренс лежал, скорчившись, как будто он упал с высоты, и он был мертв. Его шею опоясывала та же синеватая полоска, которую я видел в двух других случаях. Поймите, каково это — оставить человека менее чем пятью минутами ранее здоровым и сильным, а вернувшись, обнаружить его мертвым — повешенным, судя по всему! Но, как обычно, никаких следов веревки, борьбы или убийцы!

Беседа продолжалась еще некоторое время. Затем мистер Лоу предложил пройти в дом. Очевидно, его покинули в спешке. В комнате, которую когда-то занимала мисс Мон-



тессон, до сих пор валялись ее девичьи сокровища, пыльные, изъеденные молью и обесцвеченные. Монтессон задержался на пороге.

— Бедная маленькая Фан! Комната в том же виде, в каком она ее оставила! — произнес он.

Кедр снаружи отбрасывал в комнату мрачную тень. Фантастические красные цветы неподвижно поникли в застоявшемся воздухе.

— Окно было открыто, когда нашли вашу сестру? — спросил Лоу после того, как осмотрел комнату.

— Да, стояла жаркая погода — начало августа. С тех пор в этой комнате никто не жил. После гибели Платта я всегда избегал этой части дома, так что мы с Лоуренсом оказались здесь на лужайке только случайно.

— Тогда мы можем предположить, что опасность, какая бы она ни была, угрожает только с этой стороны дома?

— Похоже на то, — ответил Монтессон.

— Вашу сестру в последний раз видели живой в этой комнате? Платта в комнате прямо под нами? а ваш друг — что с ним?

— Лоуренс лежал на посыпанной гравием дорожке прямо под окном кабинета. Все они умерли под сенью кедра. Фримантл поделился с вами своей идеей? Смерть бедняги Лоуренса опровергла его теорию. Ни одна крупная обезьяна не смогла бы прожить в Англии все эти пять лет на открытом воздухе, и в любом случае за это время ее должны были где-то увидеть.

— Думаю, да, — рассеянно ответил Лоу. — Теперь о том, что мы должны сделать, чтобы попытаться постичь смысл произошедшего. Чувствуете ли вы себя способным, учитывая все, через что вам пришлось пройти в этом доме... чувствуете ли вы себя в силах провести здесь со мной ночь или две?

Монтессон снова нервно оглянулся через плечо.

— Да, — сказал он. — Я знаю, что мои нервы не так крепки, как следовало бы, но я поддерживаю вас — тем более, что вы не найдете здесь другого мужчину, готового рискнуть. Вы сами видите, что это не призрак или иная потусторонняя сущность. Опасность реальна. Подумайте об этом, мистер Лоу, прежде чем предпринимать столь рискованную попытку.

Флакسمан Лоу посмотрел в голубые глаза Монтессона. Это были усталые, встревоженные глаза, и в сочетании со сжатыми губами и квадратным подбородком они говорили Лоу о постоянной борьбе между расшатанными нервами и сильной волей этого человека.

— Если вы поможете мне, я попытаюсь докопаться до сути, — сказал Лоу.

— Интересно, должен ли я позволить вам таким образом рисковать своей жизнью? — отозвался Монтессон, проводя рукой по своему покрытому преждевременными морщинами лбу.

— Почему бы и нет? Кроме того, это мое собственное желание. А если мы и будем рисковать жизнью, то на благо человечества.

— Не могу сказать, что вижу это в таком свете, — удивленно сказал Монтессон.

— Если мы расстанемся с жизнью, то в попытке сделать еще один уголок земли чистым, здоровым и безопасным для жизни людей. Наш долг перед обществом требует найти убийцу. Здесь мы имеем дело со смертоносной силой какой-то тонкой природы; разве мы не обязаны уничтожить ее, если сможем, даже с риском для себя?



Результатом этого разговора стала договоренность провести ночь в Сером доме. Около десяти часов Лоу и Монтессон отправились в путь, намереваясь следовать по тропинке, которую более или менее успешно расчистили днем. По

совету Флаксмана Лоу Монтессон взял с собой длинный нож. Ночь была необычайно жаркой и тихой; окрестности освещал лишь лунный серп, пока они пробирались вперед, спотыкаясь о спутанные сорняки и корни и буквально нащупывая тропинку. У маленькой калитки на лужайке они на мгновение остановились, чтобы посмотреть на дом, выделявшийся среди причудливого моря зарослей. Тусклая луна висела низко над горизонтом, бросая бледный свет на окна и вечно пустынную сельскую местность. Над лужайкой, ухая и хлопая крыльями, пронеслась ночная птица.

В любой момент они могли оказаться в руках таинственной смертоносной силы, преследовавшей это место. Теплый, благоухающий буйной растительностью воздух и мрачные тени, казалось, были заряжены каким-то зловещим влиянием. Когда они приблизились к дому, Лоу уловил сладкий, тяжелый запах.

— Что это? — спросил он.

— Запах исходит от тех алых цветов. Он прямо невыносим! Лампурт привез это растение из-за границы, — раздраженно ответил Монтессон.

— В какой комнате вы проведете ночь? — спросил Лоу, когда они вошли в вестибюль.

Монтессон колебался.

— Вы слышали выражение «поседеть от страха?» — засмеялся он в темноте. — Я уже поседел!

Лоу не понравился этот смех: от него был всего один, да и то очень маленький, шаг до истерики.

— Мы мало что узнаем, если каждый из нас не останется в одиночестве и с открытыми окнами, как было с погибшими, — сказал Лоу.

Монтессон встряхнулся.

— Да, я полагаю, это так. *Они* были одни, когда... Спокойной ночи, я позову вас, если что-нибудь случится, а вы в таком случае зовите меня. Ради всего святого, не засыпайте!

— Не забудьте вооружиться ножом и режьте все, что к вам прикоснется, — добавил Лоу.

Он постоял у двери кабинета, прислушиваясь к тяже-

лым шагам Монтессона, поднимавшегося по лестнице: владелец имения решил провести ночь в комнате своей сестры. Лоу слышал, как он прошел по комнате и широко распахнул окно.

Зайдя в кабинет и попытавшись открыть окно, мистер Лоу обнаружил, что сделать это невозможно: ползучее растение снаружи вцепилось в деревянную раму и намертво скрепило створки. Ему оставалось только одно — выйти на лужайку и встать там, где стоял в роковую ночь Лоуренс. Он тихонько вышел и обошел дом с южной стороны.

Там он расхаживал взад и вперед в тени около часа.

В обманчивом, переливающимся лунном свете чья-то бледная голова, казалось, кивала ему из мрака под кедром, но, двинувшись к дереву, он увидел только желтый цветок гигантской амброзии. Затем он остановился и посмотрел вверх, на ветви над головой, узловатые черные ветви с бахромой черных липких листьев. Теория Фримантла об обезьяне, прячущейся среди ветвей, чтобы наброситься на своих жертв, пробудила внезапный ужас в его сознании. Он представил себе, как девушка просыпается в жестоких лапах зверя...

Тихую задумчивость ночи нарушил крик — или, скорее, рев, резкий, обрывистый, пульсирующий рев, который прекратился так же внезапно, как и начался.

Не задумываясь ни на минуту, мистер Лоу схватился за ближайшую ветку и, вскарабкавшись на дерево, с отчаянным усилием поднялся к окну комнаты Монтессона, откуда, в чем он был почти уверен, донесся крик. Будучи необычайно крепким и атлетически сложенным человеком, он прыгнул с ветки к открытому окну и кубарем скатился на пол комнаты. В этот миг что-то, казалось, промелькнуло мимо него. Нечто быстрое и извивающееся, как змея, исчезло в окне.

Лоу вспомнил о свече на туалетном столике, зажег ее, поднялся на ноги и огляделся.

Монтессон, скорчившись, лежал на полу — так, по его рассказу, лежал некогда Лоуренс. Вспомнив об этом, Лоу с дурным предчувствием поспешил к нему. На щеке Монтессона виднелось темное пятно, похожее на кровь. Он потерял сознание, но был все еще жив. Лоу уложил его на кровать и бе-



зуспешно попытался привести его в чувство. Монтессон лежал неподвижно, в глубоком оцепенении, дыша медленно, почти незаметно.

Лоу уже собирался подойти к окну, когда свеча неожиданно погасла, и он остался в сгущающейся темноте, прак-

тически один, лицом к лицу с неизвестным, хотя и осязаемым противником.

Тишина снова опустилась на дом — тишина ночи, и лесов, и многообразной листвы, и всех ночных существ. Лоу стоял у окна и прислушивался. Его чувства были обострены до предела. Ему казалось, что он слышал все на многие мили вокруг. Аромат алых цветов окутал его разум, как удушающий дым. Он отошел от окна и, чувствуя странную усталость, бросился на кушетку. Затем он вытащил нож, висевший у него на поясе, и с усилием насторожился.

Он знал, что нападение, которого он ждал, скорее всего, последует со стороны окна. Слабый, мерцающий лунный свет, падавший сквозь листья и усики лианы, медленно угасал. Вероятно, на небе собирались тучи, и душная жара становилась все более невыносимой.

Низкий подоконник возвышался над полом едва ли более чем на фут, и вскоре Лоу показалось, что что-то движется по ковру среди переплетающихся теней листьев, но в сгустившейся темноте он не мог быть в этом уверен. Дыхание Монтессона стало тише. Был глухой час ночи: не было слышно почти ни звука.

Внезапно Лоу почувствовал мягкое прикосновение к своему колену. Все его сознание словно ушло в слух, и это неожиданное обращение к иному чувству поразило его. Быстрые, мягкие и легкие прикосновения то здесь, то там пробегали по его телу. Возможно, какое-то животное обнюхивало его в темноте. Затем нечто гладкое и холодное коснулось его щеки.

Лоу вскочил и в темноте вслепую замахал вокруг себя ножом.

В это мгновение существо сомкнулось вокруг него. Гибкое, змееобразное создание обвилось вокруг его конечностей и торса одним быстрым прыжком, как извивающийся хлыст!

Флакسمан Лоу ощущал себя беспомощным в объятиях... чего? — щупалец какого-то странного создания? или огромной змеи? Чем было это разумное существо, тянущееся к его горлу? Нельзя было терять ни мгновения. Нож был прижат к его телу; с неистовым усилием он резко выдернул его ост-

рием наружу, разрезая сжимающиеся кольца. Струя липкой жидкости брызнула ему на руку, враг оторвался от него и отступил в душный мрак.



Утром Монтессон пришел в себя в одной из нижних комнат на другой стороне дома. Рядом с его кроватью сидел Фримантл.

— В чем дело? — спросил Монтессон. — А, теперь я вспомнил. Вот и Лоу. Оно снова победило нас, Фримантл! Это безнадежно. Я не знаю, что произошло — я не спал, когда меня вдруг схватили, подняли, потащили к окну и стали душиť живыми веревками. Посмотрите, Лоу! — резко произнес он, приподнимаясь. — Да вы весь в крови!

Флаксман Лоу опустил взгляд на свои руки.

— Похоже, что так, — сказал он.

— Оно одолело даже вас, Лоу! — продолжал Монтессон. — В этом проклятом доме есть нечто гораздо более невероятное и осязаемое, чем призрак! Глядите!

Он опустил воротник, открыв на шее слабый голубоватый след с расплывчатыми точками.

— Это какой-то смертоносный вид змей, — воскликнул Фримантл.

Лоу задумчиво уселся верхом на стул.

— Мне жаль, но я не согласен с вами обоими. Я склонен думать, что это не змея. С другой стороны, это явление, я полагаю, имеет прямое отношение к тому, что мы можем грубо назвать призраком. Все улики указывают только в одном направлении.

— Вы не должны позволять своей предубежденности в пользу психических проблем одерживать верх над вашим разумом, — сухо заметил Фримантл. — Обладает ли призрак реальной, ощутимой силой? И если идти дальше, обладает ли он кровью?

Монтессон, рассматривавший свою шею в зеркале, быстро обернулся.

— Это какое-то ужасное животное! Что-то среднее между змеей и осьминогом! Что скажете, Лоу?

Лоу с серьезным видом поднял голову.

— Несмотря на возражения мистера Фримантла, все стадии от начала до конца предельно ясны.

Фримантл и Монтессон обменялись недоверчивыми взглядами.

— Мой дорогой друг, большая ученость повлияла на ваш разум, — сказал Фримантл со смущенным смешком.

— Прежде всего, — продолжал Лоу, — мы знаем, где про-

изошли все смертельные случаи.

— Если говорить точнее, все они произошли в разных местах, — вмешался Фримантл.

— Верно, но в строго ограниченной области. Небольшие различия оказали мне существенную помощь. Все они происходили вблизи одного предмета.

— Кедр! — с некоторым волнением воскликнул Монтессон.

— Это была моя первая идея, но сейчас я имею в виду стену. Не могли бы вы сообщить мне вероятный вес Лоуренса и Платта на момент смерти?

— Платт был невысоким человеком — возможно, меньше девяти стоунов. Лоуренс, хотя и был намного выше, отличался худощавостью и весил не больше одиннадцати. Что касается бедной маленькой Фан, то она была совсем хуленькой.

— Три человека были убиты — одному удалось спастись. Чем вы отличаетесь от других, Монтессон? — спросил Лоу.

— Если вы имеете в виду, что я тяжелее их, то это так. Во мне что-то около пятнадцати стоунов. Но какое отношение это имеет к делу?

— Самое непосредственное. Очевидно, что кольца не способны сжиматься с достаточной силой, чтобы убить человека путем одного удушения. Необходим также элемент подвешивания. Вы оказались слишком тяжелы, и кольца не смогли с вами справиться.

— Кольца чего?

— Вот этого.

Лоу поднял заостренный красновато-коричневый отросток или ветвь, на которой через равные промежутки были расположены красные изогнутые треугольные зубцы.

Его собеседники уставились на этот предмет, и Монтессон вдруг взорвался.

— Ползучее растение на стене! — сказал он разочарованным тоном. — Этого не может быть! Кроме того, бывает ли у растения кровь?

— Давайте пойдем и посмотрим, — сказал Лоу. — Эту лиану никогда не срезали, так как каждую зиму она засыхает до

самого корня и весной снова вырастает. Посмотрите!

Он достал нож и срезал кожистый побег. На его манжете расплылось багровое пятно.

— Насколько я могу судить, единственным человеком, который подрезал это растение, был мистер Лампурт, прибивший его гвоздями к стене. Он умер от шока, когда увидел красное пятно на своем пальце, поскольку кое-что знал о смертоносных свойствах «крови» растения. Но, хотя она и способна одурманить — как показало ваше состояние прошлой ночью, Монтессон, — она не смертельна. Даже для того, чтобы одурманить, яд должен проникнуть в человеческую кровь. Далее, все смертельные случаи произошли в пределах досягаемости усиков этого растения. И все они произошли в одно и то же время года, то есть в тот период, когда растение достигает своей полной годовой силы и роста. Еще одним обстоятельством, позволившим мистеру Монтессону спастись, была засушливая погода. Этим летом растение выглядит хуже обычного, не так ли?

— Да, усики тоньше — намного тоньше и мельче.

— Именно так. Поэтому ваш вес спас вас, хотя вы и были одурманены уколами шипов. Я боялся этого и предупредил вас, чтобы вы воспользовались своим ножом.

— Но где мозг? — вскричал Фримантл. — Неужели растение может обладать разумом, знаниями и злой волей?

— Не само по себе, я полагаю, — ответил Лоу. — Возможно, вы предпочтете многое приписать длинной цепочке совпадений, я же могу предложить объяснение, которого уже давно придерживаются оккультисты других стран. Пифагор и другие учили, что формы реинкарнации меняются в зависимости от того, возвышает или унижает себя душа в течение каждого периода жизни. Соедините с этим веру браминов и, я могу добавить, различных африканских племен в то, что привязанный к земле дух в момент преждевременной или внезапной смерти может вселяться в цветы или деревья определенных видов в силу присущего этим растениям притяжения к таким сущностям. Утверждается также, что эти деградировавшие души располагают промежутком времени, в течение которого они обладают способностью до-

бровольно творить добро или зло, и такие действия оказывают влияние на их будущие воплощения.

— Что вы имеете в виду? Во что мы должны поверить? — спросил Монтессон и замолчал.

— Трудно выразить это словами в наши дни неверия, — сказал Лоу, — но факты свидетельствуют о том, что вследствие внезапной смерти в растение вселился дух — предположительно, не очень хорошего человека — и теперь расправляется с окружающими, пользуясь ветвями и соком. Мистер Фримантл знает, что это растение — малайская лиана, принадлежащая к семейству, обладающему странной силой и свойствами. Я могу вспомнить старую историю об анчаре, или совсем недавнюю — о дереве убийц, обнаруженном герром Больце близ Кольве, в Восточной Африке. Есть и другие примеры.

— Это невероятно! — сердито сказал Фримантл.

— Я не прошу вас верить, — тихо отозвался Флаксман Лоу. — Я только говорю вам, что такие верования существуют. Мистер Монтессон может кое-что сделать для доказательства моей теории. Пусть он уничтожит растение и судит по результатам.

Усик лианы, оторванный мистером Лоу в ходе борьбы, был представлен им руководству Кью.

Мистер Монтессон действовал в соответствии с предложениями мистера Флаксмана Лоу. Серый дом ныне обитаем и безопасен; как ни странно, ни одно растение, даже выносливый плющ, не желает жить там, где когда-то росла лиана с красными цветами.

Грант Аллен

Лунный цветок

Я оторвался от своих жуков. Ночь была теплой. Обнаженная маленькая чернокожая девочка пересекала главную улицу деревни прямо перед моим домом, неся в руке то, что в сумерках показалось мне самым большим цветком, какой я когда-либо видел с тех пор, как приехал в Африку. Цветок походил на орхидею бледно-кремового оттенка и самой фантастической и причудливой формы. С первого же взгляда мое внимание особенно привлек странный эффект сияния и блеска — цветок был словно покрыт светящейся краской, заставлявшей его фосфоресцировать в сером полумраке, как волны тропических морей в спокойные летние вечера.

Для натуралиста, конечно, такое видение было сказочным.

— Привет, малышка! — крикнул я на фанти, на котором к тому времени научился довольно бегло говорить. — Дай мне взглянуть на твой цветок, ладно? Где, черт возьми, ты его нашла?

Но вместо того, чтобы ответить мне вежливо, как подобает христианскому ребенку, испуганная маленькая дикарка, встревоженная моим белым лицом, издала дикий вой ужаса и изумления и бросилась прочь по улице так быстро, как только могли нести ее маленькие кривые ножки.

Что ж, наука есть наука. Подобный трюк не должен был лишить меня уникального экземпляра для моей великолепной коллекции. Итак, отшвырнув сигарету и выскочив из дома, я без промедления пустился в погоню и со всех ног помчался по главной улице Туламы за девочкой, точно меня подгонял сам дьявол.

Но я не учел, что детки Габона способны поставить рекорд в забеге на четверть мили. Я был совершенно измотан и задыхался, прежде чем, наконец, нагнал девчущку у двери ее родного дома в дальнем конце деревни. Дюжина или больше негров, слонявшихся по пыльной улице, с большим удовольствием присоединились к погоне. Понятно, они не знали, в чем была суть всей этой суматохи, но видели белого человека — дарителя рома и денег — который гнался, как безумный, за бедной маленькой испуганной

чернокожей девочкой, в ужасе убегавшей изо всех сил. Вы не ошибетесь, заключив, что эти рыцари Габона автоматически встали на сторону сильного и умело загнали несчастного маленького ребенка в совершенно безнадежный угол.

Когда я, наконец, приблизился к объекту преследования, девочка была так встревожена и измождена после быстрого бега, что мне стало ужасно стыдно за себя. Откровенно признаюсь, даже научный интерес едва ли оправдывал погоню за этим испуганным маленьким созданием по улице Туламбы. Однако блестящая английская монета в шесть пенсов, дорогой шелковый платок и обещание купить коробку европейских сладостей в лавке старого португальского метиса в деревне вскоре вернули ей уверенность в себе. К несчастью, это не могло восстановить бесценную орхидею, теперь сломанную и растрепанную. В своем стремительном бегстве девочка сжала цветок в руке, так что он уже не поддавался научной классификации. Я мог лишь с уверенностью сказать, что орхидея принадлежала к новому и до сих пор не описанному виду, что она была крупной, яркой и чрезвычайно красивой и что, если бы я сумел раздобыть растение, моя репутация как исследователя была бы обеспечена.

Туземцы столпились вокруг, предлагая бескорыстные советы, и с опаской разглядывали смятый и растрепанный цветок.

— Это лунный цветок, — сказали они на своем диалекте. — Очень редкий. Трудно найти. Растет в глубоких тенях великого леса.

— Как попал к тебе цветок, дитя мое? — умоляюще спросила я всхлипывающую десятилетнюю малышку.

— Отец принес, — ответила девочка. — Он подарил его мне неделю назад. Он был в стране карликов, занимался торговлей. Он поехал за слоновьими бивнями и привез мне цветок.

— Ребята, — крикнул я толпившимся вокруг неграм, — вы знаете, где растет такой цветок? Мне нужно одно такое растение. Я подарю хорошее английское ружье любому мужчине в Туламбе, который приведет меня к месту, где я смогу сорвать живой лунный цветок.

Мужчины покачали головами и с сомнением пожали плечами.

— О, нет, — ответили они все в один голос, как хор в греческом театре. — Слишком далеко! Слишком опасно!

— Почему опасно? — воскликнул я, смеясь. — Лунный цветок не кусается. Кто сказал, что срывать цветок опасно?

Мой главный проводник и охотник вышел из толпы и с трепетом посмотрел на меня.

— О, ваше превосходительство, — сказал он приглушенным и испуганным голосом. — Лунный цветок редок. Его очень мало. Он растет только в темном лесу внутренних земель, где обитает нгина. Никто не осмелится сорвать его из-за страха перед нгиной.

— Ага! — сказал я. — Это так, мой друг? Тогда я не удивлен.

Нгина, как вы, несомненно, уже знаете, — это туземное западноафриканское наименование гориллы.

Что ж, я отнес бедный измятый цветок к себе в хижину, тщательно препарировал его и провел, насколько было возможно, научное исследование несчастных останков в их совершенно изодранном состоянии. Но в течение следующих десяти дней, как вы легко можете себе представить, я не мог думать, говорить и мечтать ни о чем, кроме лунных цветов. Вы и вообразить не сумеете, как очаровывает исследователя-натуралиста подобная новая орхидея, большая и круглая, как десертная тарелка, и отмеченная таким необычным и доселе неизвестным для растений свойством, как фосфоресценция — ибо лунный цветок был фосфоресцирующим. В этом я не имел ни малейшего сомнения. Его лепестки испускали в ночи слабое, призрачное свечение; вероятно, в густом и темном тропическом африканском лесу он действительно сиял, как луна.

Чем больше я расспрашивал туземцев о новом растении, тем сильнее разгоралось во мне желание обладать им. Мне очень хотелось привезти корень чудесного цветка в Европу, поскольку все местные жители говорили о нем с некоторым благоговением или суеверным уважением.

— Это цветок нгины, — говорили они. — Он растет в

темных местах — в садах нгины. Сорвать цветок — очень плохая примета. Нгина наверняка настигнет и растерзает виновника.

Этот суеверный трепет только разжег во мне желание за-получить корень. По рассказам негров, лунный цветок представлял собой самый уникальный вид. Как я понял, у цветков был очень длинный отросток или шпорец, у основания которого в больших количествах скапливался нектар. Оплотворяла растение огромная ночная бабочка, чей хоботок был точно приспособлен по длине к шпорцу и его хранилищу нектара. В серых сумеречных тенях кремово-белый окрас цветка привлекал внимание насекомых; по той же причине лепестки цветка были наделены странной способностью фосфоресцировать, до сих пор неизвестной в растительном царстве, в то время как ночью он источал восхитительный аромат, достаточно сильный, чтобы его можно было почувствовать на расстоянии примерно двадцати ярдов. Столь ценный приз для человека с моими вкусами был просто неотразим, и я решил, что непременно должен, могу и буду обладать образчиком лунного цветка.

На окончательную подготовку ушли две недели. Солидные взятки преодолели угрызения совести негров. Обещание хорошего ружья побудило нашедшего первый экземпляр отправиться со мной в качестве проводника. Полностью экипированный для недельного похода и вооруженный до зубов, я в сопровождении туземного отряда наконец отправился на родину лунного цветка.

О путешествии расскажу вкратце. Три дня мы углублялись в первозданную тень великого африканского экваториального леса. Густые кроны деревьев скрывали дневной свет. Земля под ногами была покрыта густым тропическим подлеском. Мы осторожно пробирались вперед; порой нам приходилось прорубать себе путь кустарниковыми ножами или проползать на четвереньках, как обезьяны, сквозь густые лабиринты ветвей. За все три дня мы так и не увидели ни одного лунного цветка. Как объяснил мне проводник на своем непринужденном фанти, теперь они стали очень редкими. Когда он был мальчишкой, его отец находил их дю-

жинами, но теперь — можно идти по лесной чаще милую за милей и ни разу не наткнуться ни на один экземпляр.

Наконец, около полудня четвертого дня пути, мы увидели поток, который несся с громадной быстротой среди гигантских валунов и обдавал деревья по соседству брызгами своих бурлящих порогов. Я присел отдохнуть, намереваясь смешать воду из прохладного, свежего ручья с одной-двумя каплями бренди из фляжки в кармане. Выпив, я запрокинул голову и посмотрел вверх. Что-то странное на одном из деревьев неподалеку привлекло мой взгляд. Паразит смело высовывался из развилки ветвей, неся длинную гибкую лозу, усеянную огромными светящимися цветами размером с десертную тарелку. Мое сердце бешено заколотилось. Приз был передо мной. Я молча указал пальцем на дерево. Все негры в один голос издали громкий торжествующий крик, сотрясая воздух:

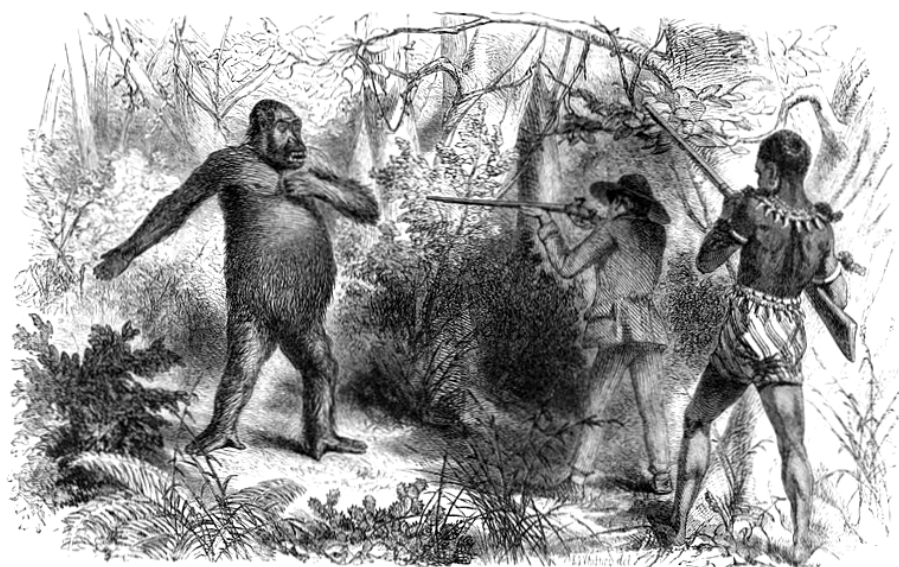
— Лунный цветок! Лунный цветок!

На мгновение я почувствовал себя воплощенным Стенли или дю Шайю. Я обнаружил самую удивительную и красивую орхидею, известную науке.

В мгновение ока я допил бренди, отложил ружье и, взобравшись на плечо одного из моих негров-носильщиков, ухватился на нижнюю ветку дерева, где мое новое сокровище сияло своим собственным тусклым свечением. Я бы не доверил ни одной руке, кроме своей, прикоснуться к этому великолепному растению; я собирался целиком срезать цветущее растение с коры и с триумфом отнести его на руках в Туламбу.

Я осторожно взобрался на дерево и уже протянул руки к добыче, когда внезапный крик внизу испугал и вывел меня из равновесия. Я помедлил и посмотрел вниз. Моя голова пошла кругом, я ощутил тошноту. Странное зрелище представало перед моими глазами. Там, на берегу ручья, мои негры, все до единого, на предельной скорости вскочили на ноги и самым единодушным и необъяснимым образом бросились врассыпную в направлении Туламы.

Сперва я не мог себе представить, что привело их в такое замешательство. Затем, случайно бросив взгляд на то



место, где я оставил свое ружье, я сразу понял причину переполоха. Их отступление было вполне своевременным. У покрытых мхом валунов, заполнявших русло потока, стоял кто-то с большим черным лицом и огромными оскаленными зубами. Этот кто-то, выпрямившись, смотрел на меня снизу вверх и смеялся. Я никогда раньше не видел таких ужасных черт, но тем не менее сразу понял, с кем имел дело. Я очутился лицом к лицу с живым самцом гориллы.

Мгновение или два он смотрел на меня снизу вверх и ухмылялся. Затем он взял мою ружье в руки, неуклюже выставил его перед собой и, к моему величайшему удивлению, очень плохо прицелившись, или, скорее, бесцельно направив ружье в воздух, нажал на оба спусковых крючка одной рукой и разрядил в меня оба ствола одновременно. Пули просвистели ярдах в десяти от меня и обломали ветки за моим драгоценным лунным цветком.

Не стану отрицать, что я был поражен и испуган. По правде говоря, я никогда в жизни не испытывал такого жуткого страха. Я дрожал, как желе — моя протоплазма свернулась. Не думаю, что это существо намеревалось стрелять или имело хоть малейшее представление о том, что означает стрельба. Без сомнения, он играл с неизвестным предметом из чистого обезьяньего любопытства. Должно быть, результат напугал его почти так же сильно, как и меня. Но это не имело значения. Было неловко оказаться лицом к лицу с гориллой в одиночку и без ружья — настолько неловко, что минуту или две я считал себя погибшим.

Я питал некую надежду, что самец бросит шумную винтовку и стремглав бросится в самую дальнюю чащу леса, но не тут-то было. Напротив, несколько секунд он стоял и смотрел на оружие в полном смятении; он нахмурил брови и в ярости заскрежетал своими огромными зубами. Он ревел, как водопад. Затем он неторопливо схватил ружье громадными волосатыми руками, согнул стволы почти вдвое с такой же легкостью, с какой человек согнул бы обычную свинцовую газовую трубку, и злобно швырнул ружье в сторону мшистых валунов. После он поднял голову и ухмыльнулся еще более дьявольски, показав свои огромные клыки в са-

мой что ни на есть отвратительной манере.

Что ж, я не отрицаю, как уже сказал, что был ошеломлен гигантской, почти сверхъестественной силой этого существа. Но все же на карту был поставлен лунный цветок, и я не был намерен отказываться от него. Я был ужасно испуган, и не думаю, что жена, ребенок, отечество или свобода заставили бы меня провести еще хотя бы минуту в этих жутких обстоятельствах. Но когда дело доходит до орхидей — я прежде всего становлюсь ученым, исследователем. У каждого из нас есть свои слабости, и моя — цветы. Они трогают мое сердце. Только ради них я могу дойти до предельной степени дерзости, мыслимой или возможной для меня.

Итак, я посмотрел на огромного грубияна, а затем на лунный цветок. Медленно и осторожно, все время поглядывая вниз на лицо существа, я прополз вдоль ветки, достал из кармана нож и принялся надрезать кору у места цветения великолепного паразита. Горилла стояла, наблюдая за мной, и рычала. Этот рык казался приглашением спуститься вниз и сразиться. Глубокие басовые раскаты звучали ужасно почеловечески; они напомнили мне самые низкие ноты сценических злодеев из итальянских опер, усиленные, так сказать, в двести раз.

Я продолжал яростно надрезать кору и высвобождать драгоценное растение, словно спасая свою жизнь; тем временем моя горилла, которая все еще оставалась неподвижной рядом с замшелым валуном, прекратила реветь и, казалось, заинтересовалась процессом. В ней произошла какая-то перемена. И вот самец поднял голову и уставился на меня со смутным грубым любопытством, не без примеси некоего странного оттенка низменной хитрости и интеллекта. Мне было совершенно ясно, что он говорил сам себе:

«Почему этот парень не бросился бежать, спасая свою жизнь? Неужели он думает, что я не сумею залезть на дерево? Неужели он воображает, что я не смог бы в мгновение ока оказаться рядом, если бы захотел, а затем придушить его или разорвать на части? Какого черта он продолжает так спокойно кромсать кору, когда ему следовало бы изо всех сил стараться спасти собственную шкуру?»

Я не надеялся объяснить такому грубому существу настоящую природу научных потребностей. Итак, следя одним глазом за орхидеей, а другим — за животным и рискуя на всю жизнь остаться косоглазым, я продолжал вырезать великолепный лунный цветок вместе с корнем, веткой и клубнем.

Чем дальше я продвигался в своем занятии, тем пристальнее и внимательнее горилла оценивала все мои действия и движения.

«Что ж, я заявляю, — говорил себе самец на горильем языке, широко раскрывая огромные глаза и удивленно приподнимая косматые коричневые брови, — что такого животного, как это, я еще никогда не встречал. По-видимому, оно ни капельки не боится меня, грозного и страшного царя великого габонского леса».

Я мог лишь притворяться, что ничего не замечаю, ибо ничто, кроме великолепного растения, не заставило бы меня бросить вызов огромному созданию.

Наконец я закончил работу и образец целиком оказался у меня в руках. Следующий вопрос заключался в том, что с ним делать.

Я стал медленно и осторожно двигаться по ветке. Самец, с любопытством глядя на лунный цветок, начал медленно переставлять волосатые ноги; ухмыляясь с каким-то дьявольским, звериным добродушием, он не менее осторожно, шаг за шагом продвигался по земле.

Я добрался до конца ветки и достиг места, где переплетение ветвей позволило мне перебраться на другое дерево. Маневр вышел несколько неуклюжим, так как мне мешал лунный цветок. Самец, все еще ухмыляясь, поднял голову и заметил на своем родном языке:

— Я мог бы проделать это, честно говоря, куда изящней, чем вы.

Когда он улыбнулся при этих словах, я потерял равновесие и, все еще удерживая лунный цветок и хватаясь другой рукой за ветки в надежде спасти свою жизнь, медленно сполз на землю перед ним.

С ужасающим ревом существо прыгнуло на меня и вце-

пилося в мой драгоценный лунный цветок. Моя человеческая научная натура не могла такого вынести. Я повернулся и бросился бежать, унося с собой образец. Преследователь был слишком быстр. Он догнал меня через мгновение. На его хмурое черное лицо было страшно смотреть; огромные белые зубы сверкали свирепо и отвратительно; грубые, толстые руки могли бы превратить меня в желе. Тяжело дышал, я остановился. Мое сердце учащенно забилося, а затем замерло вместе со мной. На секунду воцарилось напряженное ожидание. И наконец, к моему бесконечному ужасу, он схватил — не меня — о, нет, не меня! — с этим я мог бы смириться — но бесценный лунный цветок.

Я был бессилен защитить цветок — бессилен спрятать или уберечь свое сокровище. Он с ухмылкой отобрал его у меня. В этих запавших глазах я читал все, что происходило в тусклом и жестоком мозгу существа. Как человек, обладающий такой же примитивной хитростью, он говорил себе: «Если ему стоило столько усилий заполучить этот клубень, то мне, наверное, стоит сохранить его у себя. Так что, с твоего позволения, мой друг, ты уж меня прости, но я это заберу».

Я стоял и в ужасе пристально смотрел на него. Зверь схватил уникальный экземпляр вымирающего или почти вымершего вида своими смуглыми, волосатыми руками — неуклюжими, огромными руками — поднес его ко рту, на ходу сминая и разрывая прекрасные лепестки своей грубой хваткой, и медленно проглотил его целиком — клубень, стебель, ветвь, соцветие — проглотил сосредоточенно, с отвратительной гримасой, до последнего кусочка. Мне осталась лишь крупница мстительного утешения: было ясно, что растение обладало чрезвычайно противным вкусом.

Затем он посмотрел мне в лицо и разразился громким, неблагозвучным, отталкивающим смехом.

«Ага! — гласил этот смех. — Так вот что в конце концов тебе досталось, мой славный друг, за все твои старания, заботы и труды».

Я закрыл глаза и стал ждать. Пришла моя очередь. Я думал, что он разорвет меня в клочья в отместку за отвратительный вкус. Я стоял неподвижно и содрогался, но он хо-

тел всего лишь съесть лунный цветок.

Когда я снова открыл глаза, грубиян повернулся ко мне спиной, не произнеся ни слова извинения, и начал неторопливо удаляться с презрительным торжеством, на ходу пожимая плечами и тихо посмеиваясь про себя в вульгарной веселости и злобе собаки на сене.

Прошло четыре дня, прежде чем я в одиночку, полумертвый, добрался до Туламбы. Я никогда больше не встречал таких орхидей. Вот почему в Кью-Гарденс до сих пор нет лунного цветка.

КОММЕНТАРИИ

Настоящая антология представляет собой первый том издания, посвященного теме растений в фантастической и научно-фантастической литературе (хотя в эту первую книгу мы сочли нужным включить некоторые примеры литературных растений «натуралистического» или «декадентского» толка).

Вряд ли стоит упоминать о том, что указанная тема крайне обширна; нас интересовало в данном случае не столько бессмысленное стремление к полноте, сколько к представительности выборки. В ходе работы использовались различные литературоведческие и культурологические исследования, а также тематические антологии, из которых следует упомянуть *Roots Of Evil: Beyond The Secret Life Of Plants* К. Кассабы (1976), *Evil Roots: Killer Tales of the Botanical Gothic* Д. Бутчер (2019) и трехтомник Ч. Армента *Flora Curiosa: Cryptobotany, Mysterious Fungi, Sentient Trees, and Deadly Plants in Classic Science Fiction and Fantasy* (2008), *Botanica Delira: More Stories of Strange, Undiscovered, and Murderous Vegetation* (2010) и *Arboris Mysterius: Stories of the Uncanny and Undescribed from the Botanical Kingdom* (2014); не лишен полезности сетевой указатель Т. Миллера *Timeline of Botanical Fictions* и, разумеется, библиографические труды Э. Блейлера.

Включенные в антологию произведения, за немногими исключениями, расположены в хронологическом порядке. Для книги не отбирались произведения, посвященные грибам. Биографические сведения ограничены сравнительно малоизвестными авторами.

А. III.

Н. Готорн. Дочь Рапачини

Впервые: *The United States Magazine and Democratic Review*. 1844, декабрь. Пер. Р. Рыбаковой*.

С. 10. ...*Вертумна* — Вертумн — древнеиталийский бог времен года и их даров, чаще всего изображавшийся в виде садовника.

С. 15. ...*лакрима кристи* — букв. «Слеза Христа», старинное неаполитанское вино из сортов винограда, выращиваемых на склонах Везувия.

Х. К. Андерсен. Отпрыск райского растения

Впервые опубликовано в 1855 г. Пер. А. и П. Ганзен. Илл. В. Педерсена. Публ. по: Андерсен Х. К. *Сказки. Истории. Новые сказки и истории*. М., 1995 (Литературные памятники).

Л. М. Олкотт. Заблудившиеся в пирамиде, или Проклятие мумии

Впервые: *The New World*. 1869, № 1. Пер. В. Барсукова.

Луиза Мэй Олкотт (1832-1888) — американская писательница. Родилась в семье трансценденталистов, в детстве жила с родителями и тремя сестрами в утопической общине. Друзьями семьи были выдающиеся интеллектуалы эпохи: Р. У. Эмерсон, Г. Торо, Н. Готорн, М. Фуллер. В молодости Олкотт стала сторонницей аболиционизма и феминизма; в годы Гражданской войны в США некоторое время работала медсестрой в военном госпитале. Из-за бедственного положения семьи рано начала работать, была гувернанткой, учительницей, швеей, находя отдушину в литературном творчестве. Ее первой книгой стали письма к родным из военного госпиталя, затем последовал сборник детских рассказов. В 1860-х гг. Олкотт сочинила ряд сенсационных и полных страстей романов и рассказов; однако самой известной ее книгой стал роман «Маленькие женщины» (1868) о взрослении в обществе сестер и его продолжения — «Хорошие жены» (1869), «Маленькие мужчины» (1871) и «Ребята Джо» (1886). Умерла от последствий подхваченного в военном госпитале брюшного тифа, лечения каломелью (хлоридом ртути) и, видимо, волчанки.

С. 51. ...*светоча гарема* — «Светоч гарема» («Свет гарема») — неточный перевод имени Нур-Махал («Свет дворца»), главной жены могольского правителя XVII в. Джахангира. Это прозвище стало нарицательным после того, как было использовано Томасом

Муром в романтической повести в стихах и прозе «Лалла Рук» (1817).

Э. Золя. Из романа «Добыча»

Впервые полностью опубликовано в 1872 г. Пер. Т. Ирининой. Публ. по: Золя Э. *Собрание сочинений в 26 томах. Том 3.* М., 1962.

Э. Золя. Из романа «Проступок аббата Муре»

Впервые опубликовано в 1875 г. Пер. В. Пяста. Публ. по: Золя Э. *Собрание сочинений в 26 томах. Том 5.* М., 1962.

А. Конан Дойль. Рассказ американца

Впервые анонимно: *London Society*. 1880, декабрь. Пер. И. Мельницкой*. Илл. Ф. Ауэра взяты из франц. публикации в *Dimanche Illustré* (1926).

С. 76. ...компании Хадсон-Бэй — Британская (ныне канадская) компания, основанная в 1670 г.; в свое время контролировала большую часть торговли пушниной в Северной Америке.

С. 77. ...флибустьеров Уокера — Речь идет об У. Уолкере (1824-1860), американском медике, адвокате, журналисте и организаторе рейдов в Мексику и Центральную Америку в попытке организовать частные рабовладельческие колонии. В 1856-1857 гг. — самопровозглашенный президент Никарагуа. В 1860 г. был арестован англичанами, выдан правительству Гондураса и расстрелян.

С. 77. Дианеа мусципула — *Dionaëa muscipula* — латинское наименование венеериной мухоловки.

С. 78. ...чартистом — Чартизм — рабочее движение, выступавшее за политические реформы в Англии (1838-1857); в конечном

итоге было подавлено властями.

С. 81. ...*серане* — мужская длинная шаль или плащ-накидка в Латинской Америке.

Ф. Робинсон. Дерево-людоед

Рассказ вошел в авторский сб. *Under the Punkah* (London, 1881). Пер. В. Барсукова.

Филипп Стюарт Робинсон (1847-1902), публиковавшийся под именем «Фил Робинсон», натуралист, писатель, журналист и один из пионеров англо-индийской литературы, прожил довольно бурную жизнь. Он родился в Индии в многодетной семье военного священника и до 30 лет успел побывать редактором англоязычных изданий, цензором и профессором логики, литературы и философии в Аллахабадском колледже. С 1877 г. Робинсон жил в Англии, работал в газетах и освещал военные конфликты в Афганистане и Египте как корреспондент *Daily Telegraph*, *Daily Chronicle* и др. изданий. В качестве корреспондента *Pall Mall Gazette* и позднее *Associated Press* в 1898 г. побывал на Кубе во время испано-американской войны. Военные тяготы, включая лихорадку и пребывание в плену, подорвали здоровье Робинсона, и в последние годы жизни он писал довольно мало, хотя выпустил в общей сложности около двух десятков книг.

С. 89. ...*Синаххериба* — Синаххериб — царь Ассирии, правивший ок. 705-681 гг. д. н. э.; известен своим военными кампаниями против Вавилона и Иудеи и строительными начинаниями.

Э. П. Митчелл. Перелетное дерево

Впервые: *The Sun*. 1883, 25 февраля, под загл. «The Balloon Tree» (букв. «Дерево — воздушный шар»).

Э. П. Митчелл (1852-1927) — американский писатель, журналист. Выходец из богатой семьи. Публиковался с 14 лет. В молодости потерял глаз в результате железнодорожного инцидента.

Много десятилетий проработал во влиятельной нью-йоркской газеты *The Sun*, в 1903-1926 гг. на посту главного редактора. Благодаря ряду написанных в 1870-1880-х гг. рассказов считается важной фигурой в развитии американской научной фантастики: в частности, опередил Г. Уэллса в описании человека-невидимки и машины времени, описывал телепортацию, мыслящие компьютеры, киборгов и т. д. В его прозе также отразилось глубокое увлечение паранормальными и сверхъестественными явлениями, которые Митчелл пытался расследовать.

С. 99. ...профессора *Квакверзуха* — Рассказы Э. П. Митчелла публиковались в газетах в том же формате, что и новостные статьи, без имени автора или указания на их художественный характер. По мнению исследователей, подобные юмористические фамилии должны были сигнализировать читателю, что текст не следует воспринимать всерьез. Другим маркером, очевидно, служило использование знаменитых имен в вымышленном контексте: например, упомянутые в данном рассказе ботаник Янсениус и путешественник Шпор являлись, соответственно, голландским католическим теологом и немецким композитором.

С. 99. ...миссионера-иезуита... *Буте* — Митчелл дал своему герою фамилию реального французского иезуитского миссионера Ж. Буте (1600-1652), однако последний подвизался в Канаде, где был убит индейцами.

С. 101. ...Декандоль — О. П. Декандоль (1778-1841) — выдающийся швейцарский ботаник, систематик, один из крупнейших ботаников всех времен.

В. Гаршин. Красный цветок

Впервые: *Отечественные записки*. 1883, № 10.

С. 115. ...*далия* — латинское название георгины.

С. 115. ...*палладиумом* — В древнегреческой и римской мифологиях палладиум — священная статуя-оберег, изображавшая Палладу или ее сестру Афину.

С. 121. *О, щоб тобі!... розв'язавсь* — О, чтоб тебя! Какой тебе бес помогает! Грицко! Иван! Идите скорее, он развязался (укр.).

Ж. К. Гюисманс. Из романа «Наоборот»

Впервые опубликовано в 1884 г. Пер. И. Карабутенко*.

Л. Г. Хопер. Карниворина

Впервые: *Peterson's Magazine*. 1889. № 4. Пер. М. Фоменко.

Люси Гамильтон Хопер (девичья фам. Джонс, 1835-1893) — американская беллетристка, поэтесса, переводчица, драматург, журналистка. Родилась в Филадельфии в весьма состоятельной семье коммерсанта; еще на школьной скамье начала публиковать свои стихи. С 1854 г. в связи с финансовым кризисом, постигшим ее мужа, была вынуждена профессионально заниматься литературным трудом; напечатала в периодике большое количество рассказов, статей и стихов. С 1874 г. и до самой смерти жила в Париже, где ее муж получил место вице-консула, и являлась парижским корреспондентом многочисленных американских газет и журналов, в особенности *Philadelphia Evening Telegraph* и *St. Louis Post-Dispatch*. В конце 1880-х гг. ее драма «Наследство Элен» была поставлена в Париже и Нью-Йорке. Оставила несколько романов, рассказы, стихи, переводы с французского и немецкого языков.

С. 135. ...*Карниворина* — от лат. *carnivor*, букв. «Плотоядная».

С. 140. ...*Варминга* — Йоханнес Эугениус Варминг (1841-1924) — виднейший датский ботаник, один из основоположников экологии.

М. Хоу. Каспер Крей

Впервые: *The Story Teller: Number 1*. 1892. Пер. М. Фоменко.

М. Хоу (в замуж. Эллиот, 1854-1948) — американская писательница. Родилась в Бостоне в семье основателя школы для слепых; ее мать Джулия Хоу (1819-1910) была известной писательницей, поэтессой и феминисткой. Выйдя замуж за английского художника Д. Эллиота, в 1890-х — 1900-х гг. жила в Чикаго и в Италии, позднее обосновалась в Ньюпорте. В 1917 г. совместно с сестрами Лаурой и Флоренс была награждена Пулитцеровской премией за биографию матери. Помимо литературных трудов, была активна в суфражистском движении. Наследие Хоу включает рассказы, романы, биографии мужа и кузена, писателя Ф. Мариона Кроуфорда.

С. 149. ...лорда Биконсфильда — т. е. британского государственного деятеля и писателя Б. Дизраэли (1804-1881).

С. 156. ...Грей — Эйса Грей (1810-1888) — ведущий американский ботаник XIX в.; пытался дать религиозное толкование теории эволюции Дарвина.

Г. Уэллс. Странная орхидея

Впервые: *The Pall Mall Budget*, 1894, 27 дек., под назв. «The Strange Orchid». Публикуется по изд.: Уэллс Г. *Собрание сочинений в пятнадцати томах*. Том 2 (М., 1964). Пер. Н. Дехтеревой.

Г. Уэллс. Сокровище в лесу

Впервые: *The Pall Mall Budget*. 1894, 23 авг. Публикуется по изд.: Уэллс Г. *Собрание сочинений в пятнадцати томах*. Том 2 (М., 1964). Пер. Н. Семевской.

Э. Нольчини. Хранитель таинственного острова

Впервые: *The Black Cat*. 1896. № 12, сентябрь. Пер. М. Фоменко. Сведениями об авторе мы не располагаем. В переводе унифицировано имя старого рыбака, который в начале рассказа назван «Томом».

Ф. Обри. Из романа «Дьявольское дерево Эльдорадо»

Впервые: *Aubrey F. The Devil-Tree of El Dorado*. N. Y., 1897. Пер. М. Фоменко. Илл. Л. Эллиса и Ф. Хайленда.

«Ф. Обри» — первый и главный псевдоним британского инженера и писателя-фантаста Френсиса Генри Аткинса (1847-1927). В 1897-1903 гг. он опубликовал под этим псевдонимом три романа, относящихся к поджанру «затерянных миров». Биография Аткинса плохо изучена, однако известно, что в начале XX в. он был приговорен к девятимесячному тюремному заключению за незаконное получение средств, после чего начал публиковаться под псевдонимом «Фентон Эш», в основном в журналах для юношества. «Затерянные миры» Аткинса располагались теперь не только на Земле, но и на Марсе. Некоторые из этих произведений, видимо, были написаны в соавторстве с сыном, Френсисом Говардом Аткинсом-младшим (1883-1921). Считается успешным и влиятельным писателем в истории НФ.

«Дьявольское дерево» романа используется жрецом зловещего «Темного братства» Корионом для расправы с врагами; попавшие в «затерянный мир» плато Рораима путешественники в конце концов уничтожают его с помощью взрывчатки, а остатки дерева пожирают местные ящеры.

Ф. Уайт. Фиолетовый ужас

Впервые: *The Strand Magazine*. 1899. № 105, сентябрь. Русский пер. А. Домниной впервые: *Darker: Онлайн журнал ужасов и мистики*. 2014. № 6, июнь. Примечания принадлежат переводчице.

Фред М. Уайт (1859-1935) — плодовитый британский писатель, журналист. Родился в Вест Бромвиче под Бирмингемом в семье будущего преуспевающего солиситора Д. Уайта. На счету Уайта — десятки романов и повестей, циклы шпионских и детективных рассказов, приключенческие и НФ-произведения. В некоторых его вещах отразились переживания солдат Первой Мировой войны на фронте и их попытки вернуться к мирной жизни (два сына писателя

служили во время войны в армии). Основным вкладом Уайта в фантастику считается цикл из шести рассказов *Doom of London*, в каждом из которых Лондон подвергается различным бедствиям.

С. 224. ...*битвы при Кавите* — Битва при Кавите — морское сражение в ходе испано-американской войны. Состоялось 1 мая 1898 года на Филиппинах у Кавите близ Манилы. В американской историографии это сражение известно как Битва в Манильской бухте.

С. 230. ...*парижском ботаническом саду* — Сад растений Парижа (фр. Jardin des plantes de Paris) — открытый для публики ботанический сад в Париже, часть Национального музея естественной истории.

С. 233. ...*анчара* — Анчар — род вечнозеленых деревьев, все виды которого весьма ядовиты. Их яд использовался для отравления стрел. У коренных народов существовали поверья о ядовитости самого воздуха вблизи анчара; считалось, что его испарения убивают животных и людей, неосторожно приблизившихся к дереву.

С. 235. *Лишь немногие ... пополуночи* — «Очень редко встречается храбрость в два часа пополуночи, то есть храбрость врасплох». Наполеон Бонапарт, 1815.

И. Ясинский. Деревья-вампиры

Впервые: *Пушкинский сборник: (В память столетия дня рождения поэта)*. СПб.: тип. А. С. Суворина, 1899. Публикуется по указанному изд.

И. И. Ясинский (1850-1931) — чрезвычайно плодовитый прозаик, поэт, литературный критик, журналист и издатель. Выпустил десятки книг, широко публиковался в периодике, в 1890-х — 1910-х гг. редактировал газ. *Биржевые ведомости*, журн. *Новое слово*, собственные журн. *Ежемесячные сочинения* (позднее *Новые сочинения*), *Почтальон* (позднее *Беседа*) и др.

Г. Северцев-Полилов. Кровавый цветок

Публикуется по: *Пушкинский сборник: (В память столетия дня рождения поэта)* (СПб., 1899). Рассказ подписан в сб. «Г. Северцев».

Г. Т. Полилов (1839-1915) — беллетрист, драматург, переводчик, очеркист, мемуарист. Выступал под псевд. Северцев, Ю. Чаев. Неудачливый предприниматель и антрепренер, подвизался как оперный певец на сценах небольших театров Италии и Венесуэлы, пробовал себя и как танцор. С конца 1880-х гг. занялся литературным творчеством, широко публиковался в периодике (в т. ч. как газетный корреспондент), выпустил до 100 книг в различных жанрах. В некоторых произведениях Северцева-Полилова встречаются мистические и фантастические мотивы.

Е.и Х. Херон. История серого дома

Впервые: *Pearson's Magazine*, как часть цикла рассказов «Истинные истории о привидениях», собранных в 1899 г. в кн. *The Experiences of Flaxman Low*. Пер. В. Барсукова.

«Е. и Х. Херон» — псевд. Хескетта В. Причарда (1876-1922) и его матери Кейт О'Брайен Причард (1851-1935). Хескетт Причард, путешественник, искатель приключений, охотник, писатель, журналист и спортсмен, а также майор британской армии, реорганизовавший во время Первой мировой войны снайперское дело, достоин отдельной биографии. Здесь укажем, что совместно с матерью (сопровождавшей его в некоторых путешествиях) он написал несколько популярных в свое время книг. Созданного их воображением Флаксмана Лоу часто, хотя и ошибочно, называют первым в художественной литературе «окулътным детективом».

С. 260. ...*Ньюгейте* — Ньюгейт — знаменитая лондонская тюрьма, просуществовавшая более 700 лет до своего закрытия в 1902 г. С 1783 г. у стен Ньюгейта совершались публичные казни (с отменой публичных казней в 1868 г. преступников казнили только внутри тюрьмы).

С. 274. ...*дерево убийц*... *Больце* — В конце 1890-х гг. в газетах и журналах распространились сообщения о «дереве убийц», найденном в Африке неким Гуго Больце; согласно этой мистификации, прикосновение к растению вызывало у людей неутолимое желание убивать.

С. 274. ...*Кью* — Речь идет о Королевских ботанических садах Кью (Кью-Гарденс), ныне одном из крупнейших ботанических центров мира.

Г. Аллен. Лунный цветок

Впервые: *The Saturday Post* (Los-Angeles). 1900. № 15, 14 апреля, под загл. «*My One Gorilla*». Пер. М. Фоменко.

Грант Аллен (наст. имя Чарльз Грант Аллен, 1848-1899) — английский писатель, популяризатор науки, фантаст. Уроженец Канады; до 13 лет жил в Канаде, затем вместе с родителями переехал в США, Францию и наконец в Англию. Выпускник Оксфорда, преподавал в английской школе и позднее в Квинс-колледже на Ямайке. В 1876 г. вернулся в Англию. Первые литературные успехи Аллена связаны с научно-популярными книгами и статьями, в кот. он отстаивал теорию эволюции. С 1884 г. издал около 30 романов. Аллен считается одним из пионеров научной фантастики (так, в 1895 г., практически одновременно с Г. Уэллсом, он опубликовал роман о путешествии во времени — «Британские варвары») и инноватором детективного жанра.

С. 280. ...*Дю Шайю* — П. дю Шайю (1831/35-1903) — француско-американский путешественник, зоолог и антрополог. Прославился в 1860-х гг., став первым западным исследователем, подтвердившим существование горилл, а позднее пигмеев Центральной Африки. Рис. дю Шайю использован нами в качестве иллюстрации к рассказу.

С. 285. ...*Кью-Гарденс* — см. прим. к с. 274.

Оглавление

Н. Готорн. Дочь Рапачини	7
Х. К. Андерсен. Отпрыск райского растения	39
Л. М. Олкотт. Заблудившиеся в пирамиде	44
Э. Золя. Из романа «Добыча»	57
Э. Золя. Из романа «Проступок аббата Муре»	67
А. Конан Дойль. Рассказ американца	75
Ф. Робинсон. Дерево-людоед	86
Э. П. Митчелл. Перелетное дерево	96
В. Гаршин. Красный цветок	106
Ж. К. Гюисманс. Из романа «Наоборот»	124
Л. Г. Хопер. Карниворина	132
М. Хоу. Каспер Крейг	144
Г. Уэллс. Странная орхидея	164
Г. Уэллс. Сокровище в лесу	176
Э. Нольчини. Хранитель таинственного острова	187
Ф. Обри. Из романа «Дьявольское дерево Эльдорадо»	206
Ф. М. Уайт. Фиолетовый ужас	219
И. Ясинский. Деревья-вампиры	242

Г. Северцев-Полилов. Кровавый цветок	246
Е. и Х. Херон. История серого дома	254
Г. Аллен. Лунный цветок	275
Комментарии	286

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.